

К Станислову



Константин Михайлович Станюкович

Том 4. Повести и рассказы (Собрание сочинений в десяти томах #4)

Константин Михайлович Станюкович — талантливый и умный, хорошо знающий жизнь и удивительно работоспособный писатель, создал множество произведений, среди которых романы, повести и пьесы, очерки и новеллы. Произведения его отличаются высоким гражданским чувством, прямо и остро решают вопросы морали, порядочности, честности, принципиальности.

В четвертый том вошли рассказы и повести: «Вдали от берегов», «Женитьба Пинегина», «В море», «Светлый праздник», «Маленькие моряки», «Ужасный день».

<http://ruslit.traumlibrary.net>

Содержание

Вдали от берегов	0005
Женитьба Пинегина	0040
В море!	0158
Светлый праздник	0453
Маленькие моряки	0472
Ужасный день	0608

**Константин Михайлович
Станюкович
Собрание сочинений в
десяти томах
Том 4. Повести и рассказы**

Вдали от берегов

Посвящается Мане

I

Порто-Гранде, довольно скверный португальский городок и складочная угольная станция, находится на Сан-Винценте, одном из группы оголенных, скалистых островов Зеленого Мыса, которые лежат в области пассата, на большом морском тракте судов, идущих из Европы в Бразилию и Аргентину, на мыс Доброй Надежды и в Австралию. Прежде, до постройки Суэцкого канала, Порто-Гранде служил перепутьем и для кораблей, ходивших в Индию, Китай и Японию.

В этот-то маленький городок, приютившийся на песке у подножия голых гор, в глубине бухты, и сверкавший под лучами палящего тропического солнца своими белыми, напоминающими хохлацкие мазанки, домишками, — городок, населенный неграми-христианами да несколькими десятками разноплеменных европейцев, отечество которых там, где нажива, — был нашей последней

стоянкой перед длинным и долгим переходом в несколько тысяч миль.

Мы пополнили наш восьмидневный запас угля, налили цистерны привезенной с соседнего острова водой (порто-грандская была скверная), чтоб по возможности меньше пить в плавании опресненной океанской воды, очень безвкусной, и набрали всякой живности столько, сколько возможно было взять, не загромождая очень палубы.

Накануне ухода палуба нашего щегольского клипера, к ужасу старшего офицера, представляла собою необычайный вид, несколько напомилавший деревню и сильно оскорблявший его «морской глаз».

Пять рослых крупных быков, только что поднятых на таях, один за другим, с качавшейся у борта шаланды и водворенных в стойле, устроенном на баке, очевидно еще не успели прийти в себя после воздушного подъема и продолжали выражать свое неудовольствие беспокойным мычанием, несмотря на ласковые шутки и подачи матросов, которые уже успели дать клички всем пяти животным. Тут же, в загородке, топтались бара-

ны, беспечно пощипывая припасенную для них траву. Немного подалее, в сооруженном нашим стариком плотником ящике-хлеве, хрюкали свиньи, а в больших, принайтовленных у ростр клетках гоготали, крякали и кудахтали гуси, утки и куры. Повсюду были развешаны овощи, зелень и связки незрелых бананов, около которых вертелась «Сонька», маленькая забавная мартышка, купленная на Мадере одним из мичманов и с первого же дня сделавшаяся любимицей матросов.

Этот деревенский вид клипера возмущал старшего офицера. Он хмурил брови, ворчал, что «загадили» судно, и приказывал боцману смотреть, чтобы чаще вычищали палубу и чтобы везде были подстилки.

Все остальные офицеры, не чувствовавшие ни малейшего желания ради военно-морского великолепия клипера пробавляться на длинном переходе одними консервами да солониной, напротив, оглядывали палубу веселыми взглядами. Да и сам старший офицер, в качестве обязательного ревнителя умопомрачающей чистоты, кажется, больше кокетничал, преувеличивая свое негодование, тем бо-

лее что и он любил-таки покушать.

Но зато какое удовольствие испытывали матросы! Присутствие скотины и птицы, напомним здесь, далеко от родины, деревенскую обстановку и запах родного гнезда, действует оживляющим образом. Почти в каждом матросе, несмотря даже на долгую службу, пробуждается мужик, не забывший деревни и чувствующий над собой власть земли. Четыре матроса, назначенные ходить, по выражению боцмана, за «пассажирами», с видимой, чисто крестьянской любовью принялись за это дело, которое было гораздо ближе их душе, чем чуждая русскому крестьянину морская служба.

И на баке среди матросов говор, шутки и смех.

— А ты не ори, Васька! Нельзя, брат... военное судно! — смеется матрос, подавая белому, с темными метинами, быку размоченный в воде черный сухарь.

Испуганное животное продолжает мычать в унисон с другими.

— Черного хлебушка-то у вас и звания нет... А ты попробуй, вкусно! Нечего горло

драть...

— Тоже скотина, а небось понимает, зачем его к нам привезли! — замечает кто-то.

— Чует, что на убой!

— То-то он и кричит. По месту по своему родному тоскует! — уверенно произнес, выдвигаясь из толпы к стойлу, низенький рябоватый матрос, недавний вологодский мужик.

— В окоян, Арапка, пойдем! — шутит подбежавший вестовой, обращаясь к черному, самому большому быку. — Поди укачает?

— Привыкнет.

— А и здоровые же, братцы, быки! — восторженно продолжает рябоватый матрос-вологжанин. — Арапку бы в соху. Важный работник! — прибавляет он, любуясь своим знающим мужицким глазом красивым животным, которое мрачно озирало незнакомых людей и по временам яростно помахивало головой с большими загнутыми рогами, словно негодуя на веревку, которая держала его на привязи.

— Сердитый... Смотри, братцы, пырнет! — смеются матросы.

У бакового орудия, среди небольшой кучки

матросов, стоит матросский любимец и гость, порто-грандский негр Паоло. Он улыбается, скаля зубы ослепительной белизны, и что-то говорит, коверкая английские слова впере-мешку с португальскими и ласково глядя сво-ими большими черными навывкате глазами. Паоло приехал из города на утлой лодчонке, чтобы проститься и еще раз поблагодарить своих нежданно обретенных друзей за лю-бовь, ласку и гостеприимство. Десяток апель-синов и связка бананов были его прощаль-ным гостинцем.

Этот Паоло, юноша лет семнадцати, с необыкновенно кротким выражением черно-го лоснящегося лица, в день нашего прихода в Порто-Гранде явился на клипер в самых невозможных лохмотьях и вместе с другими любопытными неграми любовался щеголь-ским убранством клипера, восхищаясь ярко сверкавшею на солнце медью, орудиями, ма-шиной. Он с первого же раза понравился мат-росам своим добродушным видом и дет-ски-кроткой улыбкой и возбудил к себе уча-стие своим тряпьем. Матросы порешили, что «Павла» горемычный бедняк (он и в самом де-

ле был таким), и, когда просвистали обедать, одна из артелей очистила ему место у бака с жирными матросскими щами. Его пригласили знаками сесть в артель, дали ему ложку, и кто-то сказал:

— Машир, брат!

Удивленный этим приглашением, негр сперва стеснялся, но вскоре стал вместе с матросами хлебать щи из бака с видимым наслаждением проголодавшегося человека. Когда щи были опростаны и принялись за мясное крошево, негр опять было постеснялся есть, и матросы снова его заставили и весело глядели, как он уписывал за обе щеки и мясо, а затем и кашу.

— Ешь, Павла, на здоровье. Ешь с богом! — любезно приговаривали матросы, угощая гостя. — Харч, братец, бон. Понимаешь? Гут...

— Небось понял. Ишь ухмыляется, черномазый... сыт! Тоже, братцы, и здесь беднота у них.

— Хлебушка не родится... Камень!

— И жрут же они, сказывают, всякую нечисть... Ни крысой, ни собачиной, ничем не брезгают... Одно слово: арапы!

— А будут какие: нехристи? — любопытствовал молодой матросик.

— Хрещеные... Польской веры.

— Ишь ты! — почему-то удивился матросик.

После обеда один из матросов принес старенькую рубашку и дал ее негру. Пример подействовал заразительно, и скоро Паоло подарили целый гардероб. Один отдал штаны, другой портянки, третий старые, выслужившие уже срок башмаки, четвертый — еще рубаху...

Паоло совсем ошалел.

— Бери, Павла! Оденься, брат... Твоя одежда... того! — смеялись матросы.

Надо было видеть радость молодого негра, когда он разделся и, бросив свое отчаянное тряпье за борт, одел ситцевую рубашку, штаны, башмаки и старую матросскую фуражку и взглянул на себя в зеркальце, принесенное кем-то из матросов. Он чуть не прыгал от восторга и выражал свою благодарность и словами и красноречивыми пантомимами.

— Не за что, не за что, Павла! — ласково говорили матросы и, улыбаясь, хлопали негра

по спине.

— Одели дьявола? — проговорил, останавливаясь на ходу, старый боцман. Небось рад, чертова рожа.

Лицо боцмана на вид сурово; негр трусит и, словно виноватый, показывает на матросов: «Дескать, это они подарили».

— Бери, идол! — продолжает боцман и, в свою очередь, кладет ему на ладонь махорки. — Покури российского табачку!

С этого дня Паоло каждое утро являлся на клипер и проводил на нем целые дни; его всегда звали обедать, поили чаем, и вечером он уезжал, увозя с собой сухари, которыми надеялись его матросы. Он плел им корзины из какой-то травы, примостившись у баковой пушки, помогал грузить уголь и после обеда, отдохнув вместе с командой час-другой, плясал и пел свои песни, монотонные и заунывные, напоминающие наши, — одним словом, старался как-нибудь да отблагодарить за ласку и гостеприимство. И в течение пятидневной нашей стоянки в Порто-Гранде матросы так привыкли к Паоло, что очень удивились, не видя его на клипере накануне ухода. Некото-

рые даже подумали: «Не стянул ли негр чего-нибудь?»

— Вот он, Павла, едет! — весело крикнул кто-то, увидав под вечер лодчонку негра. — Ишь... гостинец везет.

Против обыкновения, Паоло пробыл на клипере час и стал собираться. Перед этим он быстро и оживленно что-то говорил на своем гортанном языке и с тревожным видом указывал рукой на берег.

— Домой, Павла, торопишься? Цу хаус? — спрашивает марсовой Иванов, видимо очень довольный, что умеет говорить «по-ихнему».

— Падре... падре... Но гуд... — торопливо поясняет Паоло.

— Неладно что-то у Павлы, видно, дома. А какая-токая «падра»? Пойми, что он лопочет?

Подошедший фельдшер, пользовавшийся у матросов репутацией человека, умеющего говорить «по-всякому»; и действительно знавший несколько десятков английских, французских и немецких слов, которыми действовал с уверенностью и необычайной отвагой, после объяснения с негром и, по-видимому, не вполне ясного для обоих, авторитетно

говорит:

— Отец у него заболел. Лежит в лихорадке! — прибавляет уже он свое собственное соображение и уходит.

Между тем Паоло снова горячо заговорил на своем языке и, прикладывая руку к сердцу, показывал другой на свое платье.

Его большие черные глаза были влажны от слез.

— Благодарит, значит...

— Ну, прощай, Павла!

— Дай тебе бог!

— Будь здоров, Павла!

И матросы приветно жали ему руку.

Паоло обошел чуть ли не всех бывших наверху матросов, прощался, что-то говорил, видимо взволнованный, и, быстро спустившись по черному трапу к своей шлюпчонке, отвязал ее, прыгнул, поставил опытной, привычной рукой парусок и понесся к городу.

— Адью, адью, Павла! — кричали ему с бака.

Павла часто кивал своей черной как смоль, курчавой головой и махал шапкой, подаренной матросами.

— Душевный парень! — произнес кто-то.

И все хвалили Павлу и смотрели, как маленькая его лодчонка, совсем накренившись, быстро удалялась от клипера, ныряя на океанской зыби.

Ранним, чудным утром следующего дня, когда солнце только что выплыло над горизонтом, заливая его ослепительным блеском золотистого огня, мы снялись с якоря и, поставив все паруса, с мягким, веявшим прохладой пассатом вышли из Порто-Грандской бухты на широкий простор океана, чтобы идти в долгое плавание: прямо в Зондский пролив, на остров Яву, не заходя ни в Рио-Жанейро, ни на мыс Доброй Надежды, если только на клипере будет все благополучно.

Через несколько времени остров Сан-Винцент окутался туманной дымкой, затем обратился в серое бесформенное пятно и, наконец, совсем скрылся от наших глаз, и с тех пор уж долго-долго не пришлось нам видеть берега.

II

После чудного плавания в тропиках с благодатным северо-восточным пассатом, который нес клипер под всеми парусами узлов по

семи-восьми в час, мы встретили у экватора проливные тропические дожди и пробежали штилевую экваториальную полосу, страшную для парусных судов, под парами.

Переход через экватор был отпразднован, согласно старинному морскому обычаю, традиционным обливанием тех, кто в первый раз попадал в нолевую широту. Облиты были, впрочем, только матросы, за исключением десяти человек, уже ходивших в «кругосветку» и, так сказать, «крещеных». Капитан и офицеры откупились от удовольствия быть охваченными широкой струей пожарного брандспойта бочкой рома, потребованной для всей команды стариком Нептуном.

В вывороченном тулупе, с длинной седой бородой из белой пакли, с картонной короной на голове и с трезубцем в руке, владыка морей, в лице бойкого матроса из кантонистов и лучшего на клипере «царя Максимилиана», важно восседал на пушечном станке, представлявшем колесницу, везомый четырьмя испачканными черной краской матросами. Предполагалось, что это морские кони. Несколько полуголых матросов, раскрашен-

ных суриком и охрой, с бумажными венками на головах и в туниках из простынь, составивших свиту, изображали собой, вероятно, наяд, тритонов и nereид, а один матрос, загримированный бабой, надо полагать, намекал на Амфитриду.

Колесница с бака подъехала на шканцы и остановилась против мостика, на котором стояли капитан и офицеры. Тогда Нептун сошел с пушечного станка, театрально отставил вперед босую ногу и, стукнув трезубцем, спросил:

— Какой державы вы люди? Откуда и куда идете и много ли вас на судне офицеров и команды?

Капитан отвечал:

— Мы русской державы люди. Идем из Кронштадта на Дальний Восток. Нас восемнадцать офицеров и сто шестьдесят человек команды.

Нептун несколько струсил играть свою роль перед такими зрителями его сценического искусства. Это ведь не то, что представлять на баке перед своей публикой. И он продолжал скороговоркой, словно бы стараясь

поскорей ответить вытверженный урок:

— Российские, значит, люди. Наслышаны и мы о них в подводном нашем царстве и готовы им помочь. Угодно ли вам, господин капитан российского корабля, попутных ветров? Ответствуйте!

Разумеется, капитан пожелал попутных ветров.

Тогда Нептун предложил на выбор: крещение водой или выкуп бочкой рома.

— Как будет угодно, — прибавил он.

— Разве Нептун пьет? — спросил, улыбаясь, капитан.

Эта реплика не входила в программу представления. Актер на мгновение опешил и, забыв свое достоинство владыки морей, по-матросски отвечал:

— Точно так, вашескобродие! Выпивает по малости!

Сделка состоялась к полному удовольствию и актеров и зрителей. И Нептун, снова входя в роль, произнес:

— Жалую вас, славные российские люди, попутным ветром и благополучным плаванием. Быть по сему. Ура!

Крик этот был подхвачен всей командой.

И, вновь ударив трезубцем по палубе, Нептун сел на колесницу. Процессия отправилась на бак. Затем, при общем смехе, началось оказывание из брандспойта, после чего вынесена была ендова рома, и все матросы получили за счет капитана по чарке.

Вечером, когда спал томительный зной и далекая высь почерневшего бархатного неба зажглась мириадами ярких звезд, запел хор песенников. И песни, то заунывные, то веселые, разносились среди штилевшего океана, который лениво шевелился своей громадной зыбью, раскачивая клипер.

Дня через два после перехода через экватор мы встретили юго-восточный пассат, поставили паруса, прошли южные тропики и спускались все ниже и ниже к югу, чтобы воспользоваться господствующим в южных широтах ветром и с этим «попутняком» подняться в Индийский океан.

Пришлось сказать «прости» безмятежному плаванию в тропиках Атлантического океана, снять летнее платье и облачиться в сукно. Относительная близость южного полюса да-

вала себя знать холодным резким ветром и изредка встречавшимися льдинами. Снова начались беспокойные вахты, снова приходилось быть всегда «начеку». Часто налетали грозные шквалы, ветер свежел до степени шторма, и громадные валы разбивались о борта нашего маленького клипера, рассыпаясь серебряной пылью своих седых вершушек.

Наконец мы вошли в Индийский океан.

Вступили мы в этот грозный океан ураганов, наводящий трепет на самых закаленных и поседевших в море моряков и поглощающий самое большое количество жертв, не без некоторой торжественности. Суеверные моряки-купцы, вступая в этот коварный океан, бросают, как говорят, золотые монеты для его умилоствления, а мы отслужили молебен.

Изнывавший от безделья и большую часть времени спавший в своей маленькой душной каютке, отец Дамаскин, иеромонах с Коневского монастыря, облачился в епитрахиль и в палубе, перед образом, едва стоя на ногах вследствие изрядной качки, стремительно бросавшей клипер, бледный, с вспухшим от спанья лицом, торопливо молил создателя о

благополучном плавании.

В палубе плотной стеной стояли матросы, не бывшие на вахте, расставив врозь свои крепкие, цепкие ноги и балансируя на них. Распоряжение капитана о молебне, видимо, отвечало их душевной потребности. Лица их были сосредоточенны и серьезны. Засмоленные, жилистые и мозольные руки то и дело поднимались и, складываясь в персты, осеняли себя истовым крестным знамением.

А из-за приподнятого машинного люка слышно было, как наверху «ревело». Индийский океан с первого же дня встретил нас не любезно: очень свежим порывистым ветром, который развел большое волнение.

Молебен окончен. Матросы благоговейно подходили к кресту и отходили с видом удовлетворения. Образной помог батюшке снять облачение, погасил лампаду и убрал евангелие и крест. Все разошлись и принялись за свои обычные дела, а отец Дамаскин опять скрылся в свою каюту.

— Спишь — меньше грешишь! — постоянно говорил он.

— Заболеете, батя! — пугали его, бывало,

мичманы.

— Все в руке божией! — неизменно отвечал своим низким баском отец Дамаскин.

— Так-то так, а все проветриваться надо. Спросите-ка у доктора.

— Пустое! — упорствовал батюшка и, не зная, что с собой делать, заваливался спать, выползая из своей каюты и появляясь в кают-компании только во время чая, обеда и ужина.

В кают-компании батюшка постоянно молчал. Изредка лишь, после усиленного угощения мичманов, он оживлялся и рассказывал пикантные иногда подробности о своей монастырской жизни.

Отчаянная скука одолевала бедного отца Дамаскина. Мещанин по происхождению, выучившийся грамоте в келье монастыря, он, разумеется, не читал «светских» книг, бывших у нас в библиотеке, и ни в одном из посещенных нами портов не съезжал на берег, найдя, что и «не любопытно», и что в портах один лишь «соблазн дьявола». Красоты тропической природы — да, по-видимому, и всякой — были ему чужды, и лучшим местом на

свете он считал свой Коневец. Там он «жил». Там, по его словам, он трудился, занимаясь огородами, а здесь он тосковал среди чуждой обстановки, без всякого дела. Он был охотник выпить, но в обществе офицеров стеснялся и редко-редко сдавался на предложение чокнуться стаканом красного вина, но, кажется, изрядно «заливал» у себя, по-фельдфебельски, в каюте[1].

III

Вот уже более месяца, как мы ушли из Порто-Гранде и плывем, ни разу не издавши даже издали берегов, а плыть еще далеко! Не менее трех недель, если только не будет никаких неприятных случайностей (вроде противных ветров или штормов), столь обычных на море. Еще не скоро увидим мы берег, всеми столь желанный берег.

И за все это время ничего, кроме неба да океана, то нежных и ласковых, то мрачных и грозных, которые составляют один и тот же фон картины, окаймленной со всех сторон далеким горизонтом. Подчас чувствуется гнетущее одиночество среди этой пустоты океана. Изредка лишь увидишь на широкой водяной

дороге белеющий парус встречного или попутного судна, мимо пронесется «купец», подняв при встрече свой флаг, и снова пусто кругом. Только высоко реют в воздухе вестники далекой земли — альбатросы и глупыши, да порой низко летают над волнами, словно скользя по ним, маленькие штормовки, предсказывающие, по словам моряков, бурю.

В центре видимого горизонта несется по Индийскому океану наш стройный, трехмачтовый клипер «Отважный» под гротом, фоком и марселями в два рифа, узлов по десяти — по одиннадцати в час, легко убегая от попутной волны. Слегка накренившись, покачиваясь и вздрагивая от быстрого хода, он легко и свободно вскакивает на волну, разрезая ее седую верхушку своим острым носом. Брызги воды попадают на бак, обдавая водяной пылью двух одетых в кожаны, с зюйдвестками на головах, матросов, которые смотрят вперед, обязанные тотчас же крикнуть, если что-либо заметят. Ветер их продувает, и вода пробирается за спины. Они добросовестно смотрят вперед и, нетерпеливо ожидая смены, перекидываются разговором насчет проклятой службы.

С высоты бирюзового неба, по которому бегут перистые облака, смотрит яркое солнце, прячется по временам за узорчатые белоснежные тучки и снова показывается, заливая блеском холмистую водяную поверхность. Барометр стоит хорошо, и капитан реже выходит наверх. Ветер дует ровный и свежий и радует моряков. Суточное плавание, значит, будет хорошее и подвинет нас вперед миль на двести пятьдесят.

Тридцать пять дней в море! Это начинает уже надоедать русским людям, не привыкшим к морю и сделавшимися моряками только потому, что малы ростом[2]. Среди матросов заметно нетерпение. Всем очертел длинный переход и хочется, как моряки говорят, «освежиться» — выпить и вообще погулять на берегу. И они все чаще и чаще спрашивают: долго ли еще идти. Дни тянутся теперь с томительным однообразием беспокойных вахт, уборки судна и не всегда покойного отдыха. Того и жди, что в палубу, словно полумный, сбежит боцман и разбудит своим бешеным окриком: «Пошел все наверх четвертый риф брать!», прибавляя, разумеется, к

этому призыву артистическую ругань.

Не поется по вечерам, как прежде, песен. Не говорится сказок за ночными вахтами, и не слышно обычных оживленных разговоров на баке. Матросы, видимо, «заскучили» и как будто апатичнее делают свое трудное и опасное матросское дело. Боцмана и унтер-офицеры от скуки словно озверели: она чаще и с большим раздражением ругаются и, несмотря на запрет капитана, чаще дерутся, придираясь к пустякам.

Берега всем хочется, берега!

«Пассажиров», за которыми с такой любовью ухаживали матросы, нет ни одного. Они все съедены. Палуба снова своей чистотой и своим великолепием ласкает взор старшего офицера, но зато в кают-компании сидят на консервах и часто за обедом ворчат на повара. Матросы давно не лакомились «свежинкой». Последнего быка Ваську убили недели две тому назад, и они едят щи из консервованного мяса, из солонины и горох.

Всех, решительно всех, берет одурь от этого долгого пребывания в море, без новых впечатлений, в одном и том же обществе, с од-

ним и тем же однообразием судовой жизни, и офицеров, пожалуй, еще сильнее, чем матросов.

Капитан, обреченный, ради престижа власти, суровыми правилами дисциплины на постоянное одиночество у себя на корабле, еще более чувствует его тягость на длинном переходе. Наверху он говорит с офицерами лишь по службе, и только за своим обедом, к которому обыкновенно, каждый день по очереди, приглашаются два офицера, он может забыть, что он неограниченный властелин судна, и вести неслужебные разговоры. Остальное время он один, постоянно один.

Обыкновенно спокойный и сдержанный, никогда не прибегавший к телесным наказаниям и ни разу не осквернивший своих рук зуботычинами (такие стыдливые капитаны появились в шестидесятых годах), — он стал нервнее и нетерпеливее и на днях даже был виновником безобразной сцены.

Это случилось во время налетевшего шквала.

Стоявший на вахте лейтенант Чебыкин, высокий, довольно красивый молодой чело-

век, карьерист, любивший лебезить пред начальством, злой с матросами, которых он так частенько бил, потихоньку от товарищей, спрятавшись за мачту (в те времена открыто бить стыдились), — только что скомандовал: «Марса-фалы отдать!»

Но матрос, стоявший у грот-марса-фала, хоть и слышал крикливый тенорок «пилы» (так звали матросы нелюбимого офицера), но замешкался и не мог отвязать снасти от кнехта. У него, как говорят моряки, «заело».

Шквал между тем приближался.

Капитан, стоявший на мостике, вышел из себя и крикнул:

— На марса-фале! Отдавай!.. Ты что же... Да ударьте этого осла, Николай Петрович!

В эту минуту марса-фал уже был отдан.

Но офицер не замедлил исполнить в точности сорвавшееся в пылу приказание. Он налетел на испуганного матроса и с ожесточением ударил его по зубам так, что полилась кровь, и, сияющий, возвратился на мостик.

Капитан уже пришел в себя и бросил взгляд, полный презрения, на своего исполнительного подчиненного. Видимо взволно-

ванный, он спустился к себе в каюту. С тех пор он стал еще холоднее с Чебыкиным и несколько месяцев спустя, когда мы встретились с эскадрой, Чебыкина перевели на другое судно.

В кают-компании нет прежнего оживления. Все уже успели порядочно надоесть друг другу. Постоянное общение с одними и теми же лицами, в тесной общей каюте, отравляет существование. Каждый знает вдоль к поперек другого, знает, у кого осталась в России хорошенькая жена, у кого невеста, кто за кем ухаживает в Кронштадте, знает, что старшего артиллериста, безобидного, маленького, лысого человечка, бьет супруга, а у механика жена удерживает все содержание, оставляя мужу самые пустяки, знает, кто сколько должен портному Задлеру, еврею, приезжавшему проводить своих кредиторов в день ухода клипера в плаванье, кто копит деньги и потихоньку у себя в каюте ест — чтоб не угощать других — сыр и пьет портер.

Недостатки и слабости каждого, терпимые в обыкновенное время, теперь преувеличиваются и злобно ставятся на счет. Является же-

вание покопаться в душе и сказать что-нибудь обидное. Чувствуется какое-то глухое взаимное раздражение, и необходимы большой такт и умение со стороны старшего офицера, чтоб уметь вовремя прекращать пикировки, грозящие обратиться в ссоры, которыми все чаще и чаще обмениваются между собою прежде дружно жившие люди. Книги все прочитаны. Разговоры и воспоминания все исчерпаны. Уйти друг от друга некуда. Один, другой спасаются от одуряющей скуки, занимаясь языками. Старший офицер выдумывает себе дело, донимая матросов чистотой. Остальные решительно не знают, как убить время, свободное от вахт и служебных занятий.

Полдень.

Вестовые накрывают на стол. Офицеры собираются к обеду и слушают лениво, как один из офицеров играет, несмотря на качку, «Травиату» на маленьком принайтовленном пианино.

— Бросьте, надоело! — говорит кто-то.

В это время торопливо входит старший штурман Аркадий Вадимыч, только что ло-

вивший полдень, и садится заканчивать вычисления. Он из так называемых «молодых» штурманов. Это не сухой, сморщенный, невзрачный и угрюмый пожилой капитан, какими обыкновенно бывают старшие штурмана, а бойкий, франтоватый поручик лет за тридцать, окончивший офицерские классы, щеголявший изысканностью манер и носивший на мизинце кольцо с бирюзой. Он не только не питает традиционной штурманской ненависти к флотским, но сам смеется над старыми штурманами, мечтает перейти во флот и старается быть в дружбе со всеми в кают-компании.

— Ну что, как, где мы, Аркадий Вади-мыч? — спрашивают его со всех сторон.

Он говорит широту и долготу, обращаясь к старшему офицеру.

— А миль сколько?

— Двести шестьдесят. Отличное плавание...

— А скоро ли придем в Батавию? — задают вопросы мичмана.

— Потерпите, господа, потерпите... Скоро муссон получим, а там уж недолго! — тороп-

ливо и любезно отвечает Аркадий Вадимыч и бежит к капитану, оправляя пред входом к нему в каюту сюртучок и принимая деловой серьезный вид.

— А ведь подлиза! — шепчет один мичман угрюмому долговязому гардемарину, только что отдолбившему сто английских слов.

— Не без того... вроде Чебыкина...

— Он нынче опять своего вестового Ворсуньку[3] отдул, Чебыкин-то!

— Скотина! Дантист! Он только клипер позорит! — негодует угрюмый гардемарин, и его бледно-зеленое лицо вспыхивает краской.

Чебыкин чувствует, что говорят про него, но делает вид, что не замечает, и дает себе слово сегодня же «разнести» угрюмого гардемарина, который у него под вахтой. Он его не любил, а теперь ненавидит.

Все садятся за стол. На одном конце стола, «на юте», старший офицер, по бокам его доктор и первый лейтенант, далее старший штурман, артиллерист, батюшка, механик, вахтенные начальники, а на другом конце, «на баке», мичмана и гардемарины.

Вестовые разносят тарелки с супом, пока

за столом каждый пьет по рюмке водки. Качка хоть и порядочная, но можно есть, не держа тарелок в руках, и крепкие графины с красным вином устойчиво стоят на столе. Все едят в молчании и словно бы чем-то недовольны. Два Аякса — два юнца гардемарина, еще недавно закадычные друзья, сидевшие всегда рядом, теперь сидят врозь и стараются не встречаться взглядами. Они на днях поссорились из-за пустяков и не говорят. Каждый считает бывшего друга беспримерным эгоистом, недостойным бывшей дружбы, но все-таки никому не жалуется, считая жалобы недостойным себя делом. Курчавый круглолицый мичман Сережкин, веселый малый, всегда жизнерадостный, несветимый враль и болтун, и тот присмирел, чувствуя, что его невозможное вранье не будет, как прежде, встречено веселым хохотом. Однако он не воздерживается и, окончивши суп, громко обращается к соседу:

— Это что наш переход... пустяки... А вот мне дядя рассказывал... про свой переход... вот так переход!.. Сто шестьдесят пять дней шел, никуда не заходя... Ей-богу... Так полови-

ну команды пришлось за борт выбросить...
Все от цинги...

Никто даже не улыбается, и Сережкин смолкает, сконфуженный не своим враньем, а общим невниманием.

Доктор было начал рассказывать об Японии, в которой он был три года тому назад, но никто не подавал реплики.

«Слышали, слышали!» — как будто говорили все лица.

Но он все-таки продолжает, пока кто-то не говорит:

— Нет ли у вас чего-либо поновее, доктор? Про Японию мы давно слышали...

Доктор обиженно умолкает.

Жаркое — мясные консервы — встречено кислыми минами.

— Ну уж и гадость! — замечает Сережкин.

— А вы не ешьте, коли гадость! — словно ужаленный, восклицает лейтенант, бывший очередным содержателем кают-компания и крайне щекотливый к замечаниям. — Чем я буду вас кормить здесь?. Бекасами, что ли? Должны бога молить, что солонину редко даю...

— Молю.

— И молитесь...

— Но это не мешает мне говорить, что консервы гадость, а бекасы вкусная вещь.

— Что вы хотите этим сказать?.

— То и хочу, что сказал...

Готова вспыхнуть ссора. Но старший офицер вмешивается:

— Полноте, господа... Полноте!

А угрюмый гардемарин уже обдумал каверзу и, когда Ворсунька подает ему блюдо, спрашивает у него нарочно громко:

— Это кто тебе глаз подбил?.

Ворсунька молчит.

Все взгляды устремляются на Чебыкина. Тот краснеет.

— Кто, — говорю, — глаз подбил?

— Зашибся... — отвечает, наконец, молодой чернявый вестовой.

Через минуту угрюмый гардемарин продолжает:

— Ведь вот капитан отдал приказ: не драться! А есть же дантисты!

— Не ваше дело об этом рассуждать! — вдруг крикнул Чебыкин, бледнея от злости.

— Полагаю, это дело каждого порядочного человека. А разве это вы своего вестового изукрасили? Я не предполагал... думал, боцман!

— Алексей Алексеич! Потрудитесь оградить меня от дерзостей гардемарина Петрова! — обращается Чебыкин к старшему офицеру.

Тот просит Петрова замолчать.

После пирожного все встают и расходятся по каютам озлобленные.

IV

Клипер точно ожил. У всех оживленные, веселые лица.

— Скоро, братцы, придем! — слышатся одни и те же слова среди матросов.

— Через два дня будем в Батавии! — говорят в кают-компании, и все смотрят друг на друга без озлобления. Все, точно по какому-то волшебству, снова становятся простыми, добрыми малыми и дружными товарищами. Аяксы, конечно, примирились.

Под палящими отвесными лучами солнца клипер прибирается после длинного перехода. Матросы весело скоблят, чистят, подкрашивают и трут судно и под нос мурлыкают

песни. Все предвкушают близость берега и гулянки. Уже достали якорную цепь, давно покоившуюся внизу, и приклепали ее.

На утро следующего дня ветер совсем стих, и мы развели пары. Близость экватора сказывалась нестерпимым зноем. Кочегаров без чувств выносили из машины и обливали водой. По расчету берег должен был открыться к пяти часам, но уже с трех часов охотники матросы с марсов сторожили берег. Первому, увидавшему землю, обещана была денежная награда.

И в пятом часу с фор-марса раздался веселый крик:

«Берег!» — крик, отозвавшийся во всех сердцах неопишуемой радостью.

К вечеру мы входили в Зондский пролив. Штиль был мертвый. Волшебная панорама открылась пред нами. Справа и слева темнели острова и островки, облитые чудным светом полной луны. Вода казалась какой-то серебристой гладью, таинственной и безмолвной, по которой шел наш клипер, оставляя за собой блестящую фосфорическую ленту.

К утру картина была не менее красива. Мы

шли, точно садом, между кудрявых зеленых островков, залитых ярким блеском солнца. Прозрачное изумрудное море точно лизало их.

Наконец мы вышли в открытое место и к сумеркам входили в Батавию. Когда якорь грохнул в воду, офицеры, радостные и примиренные, поздравляли друг друга с приходом, и скоро почти все уехали на берег, на который не вступали шестьдесят два дня.

Женитьба Пинегина

I

Александр Иванович Пинегин, статный, высокий молодой человек лет тридцати, не торопился в это утро на службу. Погруженный в думы, он ходил взад и вперед по своей комнате в четвертом этаже большого дома, убранной по обычному шаблону меблированных комнат средней руки. Подбор книг в большом шкафу, два журнала на письменном столе и фотографии некоторых писателей свидетельствовали об известных литературных симпатиях молодого человека.

Он ходил быстрой, нервной походкой, как ходят сильно взволнованные люди, опустив на грудь голову, покрытую белокурыми, слегка волнистыми густыми волосами. По временам он останавливался у письменного стола и рассеянно отхлебывал из стакана чай или подходил к окну и напряженно всматривался в серую дождливую мглу мрачного осеннего петербургского утра.

Глядя на молодого человека, никак нельзя было предположить, что он — жених, накану-

не сделавший предложение и получивший порывистое, радостное согласие горячо любящей его девушки. Его красивое и неглупое, с тонкими и мягкими чертами лицо вовсе не походило на влюбленное счастливое лицо жениха. Напротив. Оно было подавлено, серьезно и хмуро. Большие карие глаза глядели сосредоточенно и мрачно и порой зажигались недобрым огоньком. Казалось, он переживал минуты какой-то внутренней борьбы и не о невесте думал он, а о чем-то другом, более важном и, по-видимому, очень неприятном.

— Ну, да... подлость! — проговорил он вслух, точно подводя итоги своим размышлениям.

Вчера, когда было сделано предложение, он словно не вполне сознавал всей низости своего поступка и, обрадованный перспективой будущего благополучия, как будто и искренно уверял эту некрасивую, простодушную на вид девушку, с большими ясными доверчивыми глазами, в своей привязанности. И она, обрадованная и влюбленная, поверила, как раньше верила, и в серьезность его воз-

вышенных речей, нашедших отклик в ее горячем сердце...

Но сегодня, как только он проснулся, вся эта низость предстала перед ним во всей своей наготе... Он ведь украл любовь девушки, представляясь перед ней совсем не тем человеком, каким был... Он ведь лгал, уверяя в своей любви...

Какая любовь?!

Она ему нисколько не нравится, и если бы не ее миллионы, стал бы он с ней разговаривать! Она некрасива почти до уродливости: черты грубые, резкие, толстый нос, выдавшиеся скулы, обличавшие инородческую кровь, большие руки, грубоватые и красные, сложена отвратительно, маленькая, неуклюжая, одним словом внешность непривлекательная... Одни только глаза, кроткие, вдумчивые, большие темные глаза хороши у нее. И этот доверчивый взгляд...

— И все-таки я сделаю эту подлость, — проговорил Пинегин.

Тон его дрогнувшего голоса звучал вызовом, точно он подбадривал себя, как дети, когда желают побороть страх.

Да, он ее сделает... Богатство — сила и независимость. Неужели отказаться от этого из-за того только, что не любишь эту девушку. И ради чего? Чтоб остаться по-прежнему пролетарием, сидеть за дурацким делом в канцелярии, в свободное время строчить рассказы и статейки, выработать жалкие сто рублей и вечно считаться с грошами, утешаясь, что ты, в некотором роде, носитель идей, до которых никому нет дела, втайне завидовать обеспеченным людям и разыгрывать благородного аскета, живущего не так, как другие?.

И какой он, по правде-то говоря, носитель идеи? Так себе, один из охвостья. Юн был... увлекался, наконец и мода была, а потом, когда кончил университет, так более ради рисовки и в пику пошлякам щеголял крайними взглядами и болтал разный вздор о переустройстве мира. И за это терял места и пугал дураков. А в сущности-то до переустройства мира ведь ему мало дела, да и когда-то еще оно будет. А пока — жить хочется. Из-за чего же он должен прозябать в качестве бедного, но благородного человека принципа, не чувствуя в том ни малейшего удовольствия?.

Благодарю покорно! Нет... он не упустит редкого случая насладиться широко жизнью, хотя бы ценою подлости. Обманывать себя нечего. Подлость, которую никакими высшими соображениями не оправдаешь. Да и перед кем оправдываться? Все найдут, что он поступил умно, и позавидуют.

«Все ли?» — явился назойливый вопрос и вызвал краску на побледневшее лицо Пинегина.

Он вспомнил девушку, которая очень ему нравилась, эту милую умную и хорошенькую Ольгу Николаевну. Он был с нею дружен и часто виделся. И она, видимо, была расположена к нему. Как теперь он встретится с ней и что может сказать в свое оправдание? Не он ли так горячо порицал браки по расчету?. Каким презрением загорятся ее глаза, когда она узнает, почему он женится?. Нет, лучше не видеть этого взгляда и больше не ходить к ней. Миллионы тут недействительны. Пинегин должен был сознаться в этом.

Вспомнил он и небольшой кружок людей, которых считал безусловно хорошими людьми. Он бывал в этом кружке и гордился

знакомством с ним тем более, что в нем были два-три известных писателя.

И все эти люди тоже отнесутся с негодованием к его поступку и отвернутся. Наверное, отвернутся от него. — И черт с ними! — раздраженно воскликнул он.

Он стал перебирать этих самых людей, отыскивая в них теперь слабости или дурные стороны и раздувая эти недостатки с злорадством человека, сделавшего подлость и утешающего себя, что и другие, слывающие за честных и добродетельных, тоже способны на подлость. Он мысленно разбирал каждого по косточкам, стараясь найти что-нибудь гадкое если не в фактах, то хотя бы в возможности. В самом деле, так ли они безупречны и не надувают ли себя и других?.

И, злобно настроенный, Пинегин старался уверить себя, что многие из этих самых людей поступили бы точно так, как он, представься только случай да еще в виде двух миллионов. А если бы и отказались, то из трусости перед мнением других и носились бы со своим подвигом, сожалея в душе, что не хватило смелости.

Эти мысли несколько успокоили Пинегина, и он вышел из дома, чтоб сообщить новость матери и полюбоваться впечатлением, которое эта новость произведет на родных.

— То-то обрадуются, что я исправился да еще так радикально! — промолвил Пинегин с презрительной усмешкой.

II

Он шел по улицам в возбужденном настроении, несколько растерянный от сознания, что он скоро — обладатель миллионов, не считая еще приисков, которые дают огромный доход, и большого дома в Петербурге, и улыбался при мысли, что он, у которого в кармане всего пять рублей, через месяц-другой может сыпать деньги пригоршнями. И все это несметное богатство будет в полном его распоряжении. Она вчера прямо сказала: «Бери все, все твое. Ты, честный и добрый, лучше меня сумеешь сделать богатство источником добра». Конечно, он кое-что даст на добрые дела, но не раздаст всего, как бы хотела эта бессребреница, его невеста, готовая отказаться от богатства. Этого он не допустит. Не для того он женится. Да и к чему послужила бы

эта самоотверженная филантропия?. Капля в море...

Он взглядывал на рысаков, на блестящие экипажи, останавливался у витрин магазинов, бросал взгляды на роскошные дома-дворцы и думал: «Все это будет и у меня», и ему было приятно чувствовать эту власть денег. Теперь все блага жизни к его услугам, и он воспользуется ими не как пошляк, а как развитой человек изящных вкусов, с высшими духовными потребностями. У него будет превосходная библиотека, хорошие картины. У него будут досуг и независимость... Тогда он напишет действительно превосходную вещь, а не те скороспелые, непродуманные рассказы, которые писал он до сих пор ради денег. Разные неясные планы вихрем носились в голове Пинегина насчет будущей жизни. После свадьбы они тотчас же уедут за границу и пробудут там год по крайней мере, чтобы ознакомиться с лучшими местами Европы. Затем они поселятся в Петербурге в своем доме, уютном небольшом особняке, который он купит и сам отделает на английский манер. У него будет своя половина, где он может зани-

маться... На лето и осень они будут уезжать за границу... В этих планах не были забыты и добрые дела. Он улучшит положение рабочих на приисках жены, пошлет туда хорошего человека. Он даст в пользу голодающих... В первый момент Пинегин подумал о ста тысячах, но затем остановился на пятидесяти — довольно и этого. Он пожертвует литературному фонду двадцать пять, столько же в пользу высших женских курсов и ежегодно будет давать несколько стипендий студентам и курсисткам. Все-таки как будто совесть покойнее, когда что-нибудь уделишь из богатства. Психология трусости... Недаром люди, награвшие руки, любят жертвовать и читать потом комплименты в печати... Человек награл, бросил крохи, и его благодарят... Лестно!

Хорошенькая и стройная, изящно одетая дама, шедшая навстречу, обратила на себя внимание молодого человека и направила его мысли на будущую жену...

Он невольно сравнил ее и нахмурился...

«Ах, зачем она такая некрасивая!» — мысленно проговорил он.

«Стерпится — слюбится. Она добрая, чест-

ная, образованная», — пробовал утешать себя Пинегин, но утешение выходило слабое. Неподкупаемый инстинкт протестовал, и миллионы, казалось, покупались дорогой ценою. Придется лицемерить и лгать, скрывать брезгливое чувство, даря супружескими ласками эту некрасивую, желтолицую, с скуластым лицом, физически противную женщину, вдобавок влюбленную в него до безумия...

Но он решил поступать добросовестно. Он сумеет скрыть от этого доброго, доверчивого создания свою нелюбовь, будет с ней ласков и внимателен... Он не заставит ее раскаяться, не разобьет ее жизни, хотя бы из благодарности... Пусть она останется в неведении...

Так рассуждал он, а инстинкт подсказывал, что свои вкусы к женской красоте он может удовлетворять на стороне. И глаза его заискрились при мысли, что при богатстве ему предстоит широкий простор для любовных походов. Жена ничего не будет знать. И, наконец, можно будет по временам уезжать за границу одному, на воды, что ли...

Пинегин остановился на Большой Морской у витрины ювелирного магазина и, раз-

глядывая выставленные вещи, решил, что следует сделать невесте подарок, разумеется что-нибудь скромное: простенький браслет или кольцо — брильянтов у нее и так много. Недурно было бы и цветов принести. Она их так любит.

Но так как у будущего миллионера было всего пять рублей в кармане, то надо было достать денег. Теперь этот вопрос не удручал его, как прежде. Теперь он достанет сколько угодно. Дюфур не откажет!

И Пинегин отправился к Дюфuru, известному ростовщику, который жил поблизости. Этого Дюфура Пинегин знал давно, звал его в шутку «министром» и был должен ему триста рублей года два, довольно аккуратно уплачивая пять процентов в месяц.

Он поднялся во второй этаж и отворил матовые стеклянные двери. Раздался звонок, предупреждающий о посетителе. Высокий, здоровый лакей снял с Пинегина пальто и сказал, что придется немного подождать. Огромное зеркало в соседней небольшой приемной позволяло видеть сидевшего в глубине большой комнаты, лицом к дверям, за боль-

шим круглым столом Дюфура и спину одного из многочисленных его клиентов; Дюфур, в свою очередь, видел входившего.

Пинегин присел в маленькой приемной, где клиенты господина Дюфура могли в ожидании просматривать газеты и иллюстрированные журналы, разбросанные на столе. По счастью, в приемной больше никого не было, и ждать пришлось недолго. Минут через пять из залы вышел военный генерал, сопровождаемый низеньким кругленьким румяным пожилым господином с самым добродушным лицом.

— Чем могу служить вам, Александр Иванович? — проговорил с легким иностранным акцентом господин Дюфур, приветливо и ласково улыбаясь своему исправному плательщику процентов. — Давно не имел удовольствия вас видеть, — продолжал господин Дюфур, пожимая Пинегину руку и пропуская его в большую комнату.

Они присели за круглый стол, на котором лежали знакомые Пинегину толстые небольшие книги с именами клиентов и отметками сроков и платежей, два перечеркнутых вексе-

ля, несколько чистых бланков и небольшая пачка денег, вероятно только что полученных...

— Я к вам, Адольф Адольфович, с просьбой. Мне нужно денег, — проговорил Пинегин веселым, уверенным тоном, совсем не таким, каким говорил, бывало, прежде, обращаясь к Дюфуру за сотней рублей.

Лицо Дюфура тотчас же сделалось необыкновенно серьезным. Он поджал губы и мягким, почти нежным голосом ответил:

— Мне очень жаль, но в настоящее время я не могу исполнить вашего желания, Александр Иванович. Все деньги розданы, а получают очень трудно.

Пинегин хорошо знал эту манеру отказывать с первого раза, особенно клиентам, кредитоспособность которых, в глазах Дюфура, не велика, но Пинегин несколько не смутился и продолжал:

— Мне не сейчас. Сейчас я у вас попрошу пустяки: рублей двести, триста, а на днях мне нужно тысяч пять, десять, сколько можете дать, на самый короткий срок.

Пинегин выговорил эти цифры с такой

небрежностью, что благообразный, чистенький и необыкновенно вежливый швейцарец, спокойное лицо которого, казалось, ничему не удивлялось, на этот раз с удивлением взглянул на молодого человека.

— Не удивляйтесь, Адольф Адольфович, — произнес со смехом молодой человек. — Я женюсь и... беру за женой два миллиона и прииски...

— Два миллиона? Вы не шутите? — взволнованно воскликнул Дюфур.

— Какие шутки!

Гладко выбритое безусое лицо швейцарца отразило восторженное изумление. Цифра эта произвела чарующий эффект. Он поднялся с кресла, с чувством пожал руку своего клиента и торжественно поздравил с таким счастливым событием.

Затем он сел и в каком-то благоговейном раздумье прошептал:

— Два миллиона большие деньги...

И после паузы спросил:

— А дело это верное? Не расстроится?

— Будьте покойны, Адольф Адольфович. Я не дурак, чтоб лишиться двух миллионов...

Дело верное.

Кругленький и румяный швейцарец с невольным уважением взглянул на молодого человека, представившего такой веский довод и сумевшего отыскать жену с двумя миллионами. Хотя он и верил словам Пинегина, тем не менее «позволил себе» спросить, если это не секрет, фамилию невесты.

— Коновалова, Раиса Андреевна.

Оказалось, что господин Дюфур, знавший весь Петербург, слышал про эту девушку.

— Огромное состояние у вашей невесты, Александр Иванович, и, кажется, в полном ее распоряжении... Папенька ихний год тому назад умер.

— И маменька тоже умерла, — добавил Пинегин.

— Без мужчины как-то и страшно девушке с таким богатством, — сентенциозно промолвил господин Дюфур. — Ваша невеста, если не ошибаюсь, живет в своем доме, в Караванной? Славный домик! — прибавил Адольф Адольфович.

— Совершенно верно, в Караванной, номер четырнадцатый.

— Да, да... Господь награждает добрых людей... Я весьма рад счастливой перемене в вашей судьбе и всегда уважал вас: вы так аккуратно вносили проценты, а это такая редкость... Не смею не исполнить вашего желания и отдам вам триста рублей, приготовленные для другого лица... Вам — экстреннее... Такой случай.

С этими словами господин Дюфур, не спеша, выбрал из пачки вексельных бланков бланк «от 500 до 600» и подал его Пинегину, придвинув чернильницу и перо. Пинегин подписал бланк без проставленного текста, предоставив это сделать самому Дюфуру, зная, что Дюфур, соблюдая свою честность — честность ростовщика, никогда не злоупотребит доверием.

Посмотрев на подпись, Адольф Адольфович с обычной своей аккуратностью отметил карандашом на уголке векселя цифру 300, что значило, что в тексте будет поставлено 600 (он брал двойные векселя, но при расчетах получал что следует), затем записал по-французски выдачу в одну из своих книг и только тогда встал и отпер большой железный шкаф,

где хранились деньги и документы. Вынув оттуда две сотенные и пачку мелких бумажек, он подал их Пинегину и проговорил:

— Двести восемьдесят четыре рубля... Рубль за бланк. Будьте любезны, сосчитайте.

Пинегин сосчитал и, пряча деньги в бумажник, спросил:

— А когда прикажете, Адольф Адольфович, прийти за той суммой?. Я уверен, вы не откажете?. Предстоят большие расходы: подарки невесте, надо сшить себе платье, белье... А у невесты брать неловко, вы понимаете?

— Еще бы... Как можно! Надо подождать до свадьбы! — с благородным жаром согласился и господин Дюфур. — Отказать вам не могу... Ведь вы не на пустяки берете... Дня через два-три пожалуйста... Я постараюсь приготовить пять тысяч.

Пинегин стал прощаться и, довольный, благодарил Дюфура.

— О, помилуйте... я всегда готов помочь хорошему человеку! — патетически проговорил Дюфур и, провожая Пинегина до передней, еще раз выразил свое сочувствие, что капитал попадет в хорошие руки, и кстати осведо-

мился: «Скоро ли будет свадьба?»

— Не позже как через месяц.

— Это очень хорошо, что скоро, — одобрительно заметил со своей приветливой улыбкой швейцарец. — К чему откладывать в долгий ящик доброе дело... Так, следовательно, деньги вам на месяц или полтора?

— На месяц, Адольф Адольфович...

Пинегин сунул рубль лакею, весело опустился с лестницы и, кликнув извозчика, велел ехать в Измайловский полк, где жила его мать, вдова действительного статского советника, Олимпиада Васильевна Пинегина, с двумя младшими сыновьями и дочерью.

А мосье Дюфур приказывал своему лакею, жившему у него пятнадцать лет, вечером сходить в дом Коноваловой и осторожно узнать: правда ли, что Коновалова выходит за Пинегина.

III

Олимпиада Васильевна, высокая, худощавая и, несмотря на свои шестьдесят пять лет, бодрая и живая старушка с зоркими и пытливыми умными глазами резко очерченным острым подбородком и длинным, внушитель-

ным носом с бородавкой, — носом, который она по своей любознательности, любила всюду совать с умелой, впрочем, осторожно-стью, — эта почтенная дама, известная среди многочисленных родственников под кличкой «тети-дипломатки», окончила свои обычные утренние дела лишь к двенадцатому часу.

Дел было немало для такой неутомимой хозяйки, как Олимпиада Васильевна.

Вставши с неизменной аккуратностью в восемь часов утра и облачившись в вытертый старый фланелевый капот, простоволосая, с седоватыми жидкими прядками, наскоро причесанными, довольно непривлекательная и совсем не похожая на ту приодетую «генеральшу» с чепцом, какую являлась к завтраку, Олимпиада Васильевна напилась одна кофе, пока дети спали, и затем вся отдалась хозяйственным заботам и приведению своей небольшой квартиры в тот идеальный порядок, которым она по справедливости могла гордиться и поддержанию которого отдавала всю свою душу. Как всегда, она волновалась и суетилась все утро, донимая прислугу ядовитыми словами.

Толстой кухарке, при осмотре провизии, Олимпиада Васильевна подпустила несколько шпилек по поводу веса говядины и, понюхав рыбу, велела ее переменить.

— Или у вас насморк, или вас, милая, совсем обманули... Понюхайте-ка судачка! — говорила она язвительным тоном.

Она шла затем в комнаты, заглядывала во все углы и зудила горничную:

— Разве, Дуня, так пыль вытирают? Ах, какая вы рассеянная, голубушка! Опять влюбились, видно?

И, проведя своим длинным костлявым пальцем по столику или внутри какой-нибудь вазочки в гостиной, она подносила весь в пыли палец почти к самому носу горничной, наслаждаясь ее смущением. И нередко, вооружившись пуховкой, сама обметала сокровенные уголки.

Она затем поливала и мыла цветы, чистила клетки, в которых заливались канарейки, и, когда уборка была окончена, обошла все комнаты и с особенным чувством удовлетворения постояла минуту-другую в гостиной, любуясь этой комнатой с большим ковром,

полной мебели, цветов и разных безделок и убранной с большой претензией на подражание обстановкам богатых домов. Каждое кресло, каждая вещица, каждый столик были для Олимпиады Васильевны предметами восторженного культа. В них она чувствовала приличие своего благополучия, чувствовала, что живет, как живут люди, и может принять кого угодно, не смущаясь.

Передвинув чуть-чуть кресло, обитое шелком, и поправив кружевной абажур на лампе, Олимпиада Васильевна, окончательно убежденная, что все в полном порядке, все хорошо и вполне прилично, удалилась, наконец в свою спальню и занялась туалетом. Через несколько минут она преобразилась в приличную и благообразную генеральшу в черном платье, с накинутой мантилией, в чепце, прикрывшем ее жидкие волосы, и, в ожидании завтрака, присела в кресло и принялась за газету.

В газете Олимпиада Васильевна более всего любила читать описание разных празднеств, встреч и торжественных балов, на которых присутствовали высокопоставленные

лица. Подобные описания — особенно подробные — приводили почтенную старушку в восторг, и она потом пересказывала о разных блестящих туалетах и перечисляла разные громкие имена с увлечением, точно о чем-то необыкновенно ей близком, хотя сама никогда на таких балах не бывала и высокопоставленных лиц не знала и происходила из очень скромной чиновничьей среды. Тем не менее все, относящееся до таких лиц, ее очень интересовало и даже волновало. Она даже и фамилии их прочитывала не так, как имена простых смертных. Читая иногда вслух о каком-нибудь торжестве, Олимпиада Васильевна, с особенной интонацией, полной восторженной приподнятости, подобной той, какая бывает у плохих актеров, декламирующих стихи, произносила фамилию какого-нибудь генерал-адъютанта князя Скопина-Шуйского, и тон ее мгновенно падал, делаясь, так сказать, самым прозаическим, когда она прочитывала чин и фамилию какого-нибудь статского советника Иванова. Он словно бы оскорблял ее эстетическое чувство своей ординарной фамилией и возбуждал к себе даже

что-то неприязненное, этот «Иванов»!

Охотница была Олимпиада Васильевна и до происшествий и этот отдел читала обязательно, точно так, как и объявления об умерших. Фельетоны читала не все и к политике относилась довольно равнодушно; однако пробегала и иностранные известия, чтобы при случае в разговоре вставить свое слово. Нечего и прибавлять, что она была горячей патриоткой, порицала Запад и при случае жестоко бранила «жидов».

Вообще, Олимпиада Васильевна представляла собой характерный тип чиновничьего мещанства и самого искреннего, бескорыстного раболепия перед знатностью, богатством и перед ходячими правилами приличия. Всю свою жизнь она посвятила заботам об устройстве приличной жизни, с приличной обстановкой. Жить, как живут вполне порядочные люди, было ее идеалом, и на осуществление его она потратила немало ума, энергии и изворотливости. Покойный ее муж, сперва мелкий чиновник, потом получивший хлебное место и дослужившийся до штатского генерала, был всегда под башмаком у Олимпиады

Васильевны. Она, так сказать, вдохновляла его, поощряя к разным, не вполне законным действиям постоянными напоминаниями о детях, об их образовании, о будущем положении. И когда он умер, у вдовы осталось небольшое состояние, проценты с которого вместе с пенсией давали возможность Олимпиаде Васильевне жить прилично. Дети были на своих ногах и радовали сердце обожавшей их матери. Старшая дочь сделала недурную партию — вышла замуж за товарища прокурора, младшая — Женечка, только что окончившая гимназию, была хорошенькая, вполне благовоспитанная барышня, которая, конечно, не засидится в девушках; один сын служил чиновником, другой — офицером, и оба были добрые, почтительные сыновья, вполне свои, разделявшие взгляды матери. Один только Саша смущал Олимпиаду Васильевну. Он нигде основательно не устраивался, менял места, «воображал о себе», высказывая резкие, совсем дикие, по мнению Олимпиады Васильевны, взгляды, иронизировал, считая себя умником, и вообще держался особняком от семьи. И семья его считала ка-

ким-то «отщепенцем», могущим скомпрометировать фамилию Пинегиных. Олимпиада Васильевна любила его меньше других детей.

«Те люди как люди, а этот — совсем неладный какой-то... Что толку с его ума, когда денег не может заработать!» — не раз думала мать и молила господу, чтобы он вразумил сына. Однако дипломатическая Олимпиада Васильевна избегала давать сыну советы, тем более что он никогда денег у нее не просил, да, кроме того, она и побаивалась его языка, зная, что в ответ на ее наставления сын иронически усмехнется, а не то и вышутит ее же, старуху. И то случалось, что братьев он в глаза называл пошляками и по нескольким неделям после этого не показывался к матери.

Одним словом, этот Саша был больным местом Пинегиных и их многочисленных родных.

IV

— Ах, это вы, братец?. Даже испугали! — промолвила Олимпиада Васильевна, увидав на пороге комнаты своего брата, отставного полковника Василия Васильевича Козырева,

высокого, худощавого старика, с продолговатым, сморщенным лицом, напоминающим лисью мордочку, на котором бегали маленькие и лукавые, точно что-то высматривающие глазки.

Этот «братец», которого Олимпиада Васильевна не очень таки долюбливала за его коварство и ехидное сплетничество, вошел бесшумно, словно подкравшись. Он вообще имел привычку появляться у родных всегда как-то незаметно и умел все высмотреть и разузнать частью из любопытства, а частью чтобы иметь материал для разговора у родственников, которым можно сообщить что-нибудь новенькое о других.

— Гулял и зашел проведать тебя, сестра. Не звонил: думаю, зачем беспокоить, и прошел через кухню, — отвечал полковник тихим, вкрадчивым, тоненьким голоском и троекратно поцеловался с сестрой. — Ну, как живешь? Надеюсь, у вас все благополучно, сестра? — прибавил полковник.

— Ничего себе, слава богу, братец. Живем себе помаленьку... Да что ж мы здесь?. Пожалуйте, братец, в гостиную... А вы как пожива-

ете? — с приветливой улыбкой осведомилась Олимпиада Васильевна, выходя вслед за полковником из спальни.

— И я, родная, помаленьку... Что мне? Гуляю себе больше, пока ноги носят, да милых родных навещаю. Вот вчера у сестры Антонины был...

Войдя в гостиную, полковник воскликнул:

— И как же у тебя уютно здесь... прелесть!... Право, лучше, чем у Антонины... С большим вкусом убрано...

Олимпиада Васильевна, хотя и знала коварство братца, тем не менее приятно осклабилась.

— А эта хорошенькая вазочка, видно, новая? Я что-то ее не видал, — продолжал полковник, подходя к столу и разглядывая вазу.

— Да братец... Катенька недавно подарила...

— Похвально... Почтительная дочь твоя Катенька... И муж ее славный человек... Я думаю, дорогая? — осведомился полковник.

— Не могу вам сказать, братец... Вот сюда, в кресло присядьте... Антонина здорова?

— Слава богу, все там здоровы, — отвечал

полковник и после паузы прибавил: — А Леночке новую шубу сделали...

— Новую? Да у Леночки есть шубка и довольно приличная.

— Верно, Антонине показалось, что не хороша... Ты ведь знаешь Антонину? И какая, я тебе скажу, сестра, шуба!

Олимпиада Васильевна, завидовавшая младшей сестре Антонине, у которой и обстановка была красивая, и лакей был, и дочь говорила по-английски, с живостью спросила:

— Какая же, братец, шуба?

— В семьсот рублей, — медленно произнес полковник, глядя с самым невинным видом на сестру.

— В семьсот рублей! — ахнула Олимпиада Васильевна и на секунду замерла от изумления.

— При мне деньги платили.

— И что же, действительно красивая шуба?

— Шикарная... Знаешь ли, ротонда — кажется, так называется? — ротонда из чернобурых лисичек, легонькая такая. А покрыта темно-зеленым плюшем и с пелеринками... Гово-

рят, мода нынче — пелеринки... Прелестная шубка... Видно, у них лишние деньги-то есть!

— Откуда у них лишние деньги? — воскликнула волнуясь, Олимпиада Васильевна. — Положим, муж получает шесть тысяч.

— Семь, сестра...

— Хоть бы и семь. Так ведь на эти деньги не раскутишься, да еще с их привычками... За одну квартиру полторы тысячи платят... Антонина вечно жалуется, что им не хватает...

— Значит, заняли. Долги-то у них есть, я знаю, — конфиденциально, понижая голос, промолвил полковник. — Есть... Не по средствам живут... Любят форснуть. Вот хоть бы эта шуба? Ну к чему, скажи на милость, Леночке такая дорогая шуба? Положим, отец — тайный советник... Так ведь и ты, сестра, генеральша, однако и не подумаешь делать своей Женечке шубу в семьсот рублей... К чему?.

В эту минуту в гостиную вошли Женечка, недурная собой, полненькая, свеженькая брюнетка, и Володя, молодой, довольно пригожий офицер, остриженный под гребенку, высокий и стройный, с кольцом на мизинце и браслетом на руке. Он имел заspanный вид

и протира́л глаза.

— Вот и поздние птички явились, — ласково приветствовал молодых людей полковник. — Ну, здравствуй, милая племянница, здравствуй, мой друг Володя... Видно, вчера ужинал, а? — подмигнул глазом полковник.

— Было дело под Полтавой, дядюшка! — весело смеясь, отвечал Володя.

Дядя поцеловался с молодыми людьми, после чего они подошли к матери и поцеловали ее руку.

Мать с видимым восторгом любовалась своими птенцами.

— Про какую это вы шубку говорили, дядя? — спросила Женечка.

— Вообрази себе, Женечка, — сказала Олимпиада Васильевна. — Тетя Тоня сделала Леночке новую ротонду... Денег нет, а они ротонду...

— В семьсот рублей, Женечка, — досказал полковник.

— Ловко! — откликнулся Володя.

В Женечкиных глазах блеснул завистливый огонек, и она заметила:

— Тетя так любит Леночку... Недавно вот

новое бальное платье ей сшила... И прелестная, дядя, я думаю, ротонда?

— Разумеется. И деньги прелестные...

Олимпиада Васильевна бросила недовольный взгляд на полковника, что он своим разговором об этой «дурацкой ротонде» только смущает Женечку, и заметила:

— Это разве любовь настоящая!.. Просто пыль в глаза хотят бросить... Антонина воображает, что эти шубы да бальные платья помогут скорей найти Леночке жениха...

— А о женихах что-то не слышно! — вставил полковник.

— Еще бы... Леночка хоть и милая, а — сапог! — засмеялся Володя... — А кто на сапоге без хорошего приданого женится, а?

Олимпиада Васильевна бросила многозначительный взгляд на сына. «Дескать, не говори при дяде!» И то она уж пожалела, что сама дала волю языку из-за этой шубы. Братец ведь все передаст Антонине.

И Олимпиада Васильевна поспешила заметить сыну:

— Володя! Какие выражения! И ты неправду говоришь. Леночка хоть и не красавица, а

прехорошенькая. Очень миленькая, особенно глаза у нее прелестные. Ведь правда, братец?.

Горничная вошла и доложила, что подан завтрак. Олимпиада Васильевна с обычным своим радушием пригласила братца позавтракать чем бог послал.

— Посидеть с вами — посижу, а есть не стану... Боюсь, сестра... У тебя всегда все так вкусно, а у меня, сама знаешь, катар...

— Отличное средство есть против катара, дядюшка! — проговорил Володя.

— Какое, мой друг?

— Три рюмки перцовки перед каждой едой, вернейшее средство! — рассмеялся Володя.

— Шутник ты...

— Нет, в самом деле попробуйте... Мамаша, а разве водки не полагается сегодня?.

Олимпиада Васильевна достала из буфета графинчик, бросив меланхолический взгляд на Володю.

Завтрак был вкусен и обилен, и полковник, несмотря на катар, отведал и маринованной осетринки и телячьей котлетки, не переставая рассказывать о том, как он сего-

дня утром был на Сенной и приценивался к провизии, как потом встретил богатые похороны и узнал, что хоронили купца Отрепьева, оставившего пятьсот тысяч, как потом прошел на Большую Морскую...

— И знаешь, сестра, кого я встретил?

— Кого, братец?.

— Твоего Сашу... Стоит у витрины и брильянты рассматривает... — Что, он разве больше не служит?.

Олимпиада Васильевна встревожилась.

— Он, может быть, на службу шел...

— Едва ли... Служба его совсем в противоположном конце. Да и двенадцатый час был.

— Странно... разве дело какое, что он не пошел на службу...

— То-то и я подумал... Но ежели дело, к чему разглядывать брильянты?

— Покупать собирается... Женечке подарить, — иронически усмехнулся брат.

— Он брильянтов не признает, — насмешливо заметила Женечка.

В это время из прихожей раздался звонок, и через минуту в столовую вошел Саша Пинегин.

— Вот легко на помине. Только что о тебе говорили, мой друг! — поспешил сказать самым любезным тоном полковник.

Все притихли. Приход «отщепенца» встречен был сдержанно и молчаливо.

V

Пинегин поцеловал у матери руку, пожал руку дяде, брату, сестре и присел к столу.

— Завтракать будешь? — без особенной приветливости спросила Олимпиада Васильевна, бросая тревожный взгляд на несколько возбужденное лицо сына.

«Наверно, опять бросил место?» — подумала она.

— Пожалуй, что-нибудь съем...

— Сейчас разогреют котлетку, а то холодная.

Дуня, принеся прибор, хотела было унести блюдо, но Пинегин остановил ее.

— Не стоит... Так съем...

— Напрасно, Саша, горяченькая вкуснее, — заговорил своим мягким, ласковым голосом полковник и, подвигая к нему графин с водкой, прибавил: — Чудная, братец, осетринка для закуски.

— Он не пьет водки, — сказал Володя, заметно притихший при брате.

— Не пьет?. И без водки осетринка прелесть. И мастерица же ты, сестра!

Пинегин молча ел. Олимпиада Васильевна терзалась желанием скорей разрешить беспокоившее ее недоумение: отчего Саша не на службе и зачем он зашел? И она дипломатически спросила:

— Давно ты, Саша, у нас не был. Уж и записку хотела писать: здоров ли?

— Здоров, мамаша... Занят был это время...

— По службе?

— И по службе и так... дела были.

— То-то сегодня ты не на службе. Видно, заработался и отдохнуть денек собрался... Это ты умно придумал... Служба-то у вас тяжелая, а платят гроши... Везде протекция да протекция! — вздохнула Олимпиада Васильевна.

— Такому умнице, как Саша, давно бы тысяч пять получать, если бы у нас места по заслугам давали! — воскликнул не без пафоса полковник.

— Спасибо за комплимент, дядюшка, и за пять тысяч! — иронически промолвил Пине-

гин и, обращаясь к матери, прибавил. — Я больше, мамаша, совсем не пойду на службу... Довольно с меня!

— Бросаешь? — испуганно спросила Олимпиада Васильевна.

— Да, бросаю.

— Саша, верно, лучшее место получил. С его умом не сидеть же ему на пятидесяти рублях, кандидату естественных наук, — проговорил полковник с едва слышной иронической ноткой в своем вкрадчивом, тонком голоске.

— И лучшего места не получил, даже и с моим умом, дядюшка.

Все неодобрительно взглянули на этого «отщепенца», который бросает место и еще иронизирует.

— Думаешь одной литературой пробавляться? — насмешливо спросил Володя.

Пинегин только повел равнодушно-презрительным взглядом на брата, не удостоив его ответом, и сказал обращаясь к матери:

— Вы не волнуйтесь, мамаша... Теперь мне места не надо... Я женюсь, и на богатой девушке...

Брат и сестра иронически хихикнули, подтолкнув друг друга локтями. Полковник саркастически улыбался. Олимпиада Васильевна недоверчиво смотрела на сына, не зная — верить ему или нет. Он ведь любит иногда потешаться над родными. У него есть эта злая привычка. Да, наконец, какая богатая девушка пойдет за такого голыша, за человека без какого-нибудь определенного положения. Это что-то невероятное!

Пинегин между тем продолжал, и голос его слегка вздрагивал от нервного возбуждения:

— Очень милая и образованная девушка... Надеюсь, вам понравится... Дочь покойного золотопромышленника Коновалова...

Все восторженно вскрикнули при слове «золотопромышленника». Казалось, Саша не шутил.

— Коновалова?! — воскликнул в каком-то сладостном восторге полковник. — Эта та, у которой, говорят, несколько миллионов, прииски и громадный дом на Караванной?

— Она самая, дядюшка, — ответил Пинегин.

— И... ты... Саша, женишься... Ты не шутишь? — задыхаясь от волнения, спрашивала

Олимпиада Васильевна.

— Какие, мамаша, шутки. Завтра я привезу к вам свою невесту.

— И она... в самом деле... так богата?

— Богата: два миллиона, прииски и дом.

Миллионы и прииски произвели ошеломляющее впечатление. Все впились в Пинегина, глядя на него, как на сказочного принца, в безмолвном очаровании, проникнутые почтительным уважением. Этот Саша, отщепенец Саша, вдруг стал в глазах всех совсем другим человеком, словно свершившим необыкновенный подвиг и осененный лучезарным ореолом. У офицера Володи уже бродила мысль занять у брата крупный куш. «Вероятно, он не откажет на радостях!» И вместе с почетом он чувствовал невольную зависть.

Олимпиада Васильевна в умилении заплакала. Чувствуя прилив материнской нежности к сыну, она проговорила прерывистым голосом:

— Саша... Александр... Поздравляю тебя... Будь счастлив... Постой, тебе сейчас зажарят другую котлетку... Володя, достань вино... Там есть бутылка мадеры.

Пинегин подошел к матери. Растроганная, счастливая, она обняла его и благословила.

— Женья!.. Да скажи, чтоб Саше котлетку скорей...

— Да не надо, мамаша...

Розлили вино. Все чокались с Пинегиным, поздравляли и целовались. Полковник глядел с таким победоносным видом, точно сам он женился на миллионах, и восторженно повторял:

— Я ведь всегда говорил... всегда говорил, что Саша умница. Голова!

— А хорошенькая твоя невеста, Саша? — спрашивала Женечка.

— А вот увидишь... Предупреждаю: она далеко не красавица...

— Да разве красота все? — горячо подхватила Олимпиада Васильевна. — Ты лучше спроси: какого характера?

— Тихая, славная девушка, мамаша.

— Вот это-то главное!

— Я думаю, роскошно одевается? — опять спросила Женечка.

— Напротив, очень скромно...

— Должно быть, прелестная девушка! — с

пафосом воскликнула Олимпиада Васильевна.

— Да разве Саша женился бы на дурной! — вставил полковник.

Несколько времени шли расспросы. Олимпиада Васильевна очень ловко выпросила обо всем и отлично сообразила, что сын женится не по любви и что будущая жена не хороша собой. Она в душе вполне одобряла Сашу и искренно дивилась его уменью подцепить такую невесту. Она горделиво радовалась, что один из Пинегиных будет миллионер, и питала надежду, что Саша не забудет при таком богатстве о своих. «Ведь он добрый!» Мысль о том, как будет завидовать сестра Антонина, приятно щекотала ее нервы.

Решено было, что завтра Саша будет обедать с невестой у Олимпиады Васильевны и к обеду будут приглашены многие родственники, чтобы познакомиться с невестой. Олимпиаде Васильевне хотелось хвастнуть перед родными.

Она перечислила всех, кто будет приглашен, и спросила:

— Ты ничего не имеешь против, Саша?

— Делайте как хотите, мамаша.

— А мы в грязь не ударим, голубчик... Обед будет хороший...

И, оживленная и радостная, она объявила, что будет суп с пирожками, форель, рябчики, зелень и мороженое от Берена...

— Надеюсь, Раиса Андреевна не взыщет, Саша? — прибавила мать.

— Раиса неприхотлива...

— А вино, а шампанское, надеюсь, будет? — спросил Володя.

— Все будет, не беспокойся, дружок... Уж я не пожалею денег для такого случая...

Но сын не хотел, чтобы мать разорялась из-за него.

Он вынул бумажник, в который заглянули любопытные глаза всех присутствующих, и дал матери пятьдесят рублей.

Когда «счастливец» собрался уходить, все вышли провожать его в переднюю, и Олимпиада Васильевна еще раз горячо поцеловала на прощанье Сашу и просила расцеловать «милую Раису».

Весть о женитьбе Саши Пинегина на миллионерке произвела потрясающий эффект среди всех родственников. Их было бесчисленное множество в Петербурге. Почти все они принадлежали к небогатой чиновничьей среде и жили кланами на Петербургской стороне, в Измайловском полку и на Песках, исключая нескольких, побогаче, выселившихся в более фешенебельные части столицы.

Несмотря на горячие родственные чувства, выказываемые при встречах, они довольно-таки зло сплетничали друг про друга. Каждый клан зорко следил за тем, что делается в другом, и между ними шло постоянное соперничество; каждая семья старалась отличиться перед другой и обстановкой, и костюмами дочерей, и их талантами (почти в каждом семействе было, конечно, по «замечательной» певице — будущей Патти), и угощением на журфиксах, и служебным положением мужей и сыновей. Ехидному полковнику было раздолье травить родственников и ежедневно завтракать и обедать у кого-нибудь из них, являясь с какой-нибудь новостью. И значительная часть пенсии, получаемой полковником, пре-

вращалась в бумаги, которые полковник относил на хранение в государственный банк, гарантируя себе, таким образом, более или менее любезный прием у родственников, по счету которых у полковника лежало в банке тысяч до двадцати.

Нечего и говорить, что полковник не отказал себе в удовольствии, после завтрака у сестры Олимпиады, обойти многих братьев и сестер, племянниц и племянников, чтоб сообщить о Сашином счастье и о завтрашнем обеде и, разумеется, с самым серьезным видом прибавлял к состоянию невесты где один, а где и два-три лишних миллиона, возбуждая всюду взрывы изумления и плохо скрываемую зависть, что миллионы достаются Саше Пинегину.

Бывает же такое невероятное счастье людям! Чем мог пленить он Коновалову? Ведь со своими миллионами она могла сделаться графиней, княгиней, чем угодно, и вдруг... Однако молодец же этот Саша!

Только к вечеру полковник попал к сестре Антонине на Литейную. Он застал ее дома одну в ее маленькой голубой гостиной за вяза-

ньем какого-то сюрприза к именинам «Никса», как с некоторых пор она величала своего мужа, найдя, что «Никс» звучит гораздо аристократичнее, чем прежнее уменьшительное «Николаша».

Сестра Антонина была довольно еще молодая женщина, лет за сорок, с пышными формами внушительного бюста, щеголеватая одетая, благоухающая, с блестящими кольцами на своих не особенно изящных, красноватых толстых пальцах, со взбитыми каштановыми волосами, падавшими завитками на лоб, полноватая, румяная, с подведенными серыми глазами, втайне думавшая, что еще может нравиться мужчинам. Она считалась между родственниками аристократкой, так как была женой тайного советника, имела свой экипаж, щеголяла туалетами и вообще любила задать тону и похвастать своими знакомствами. Она щурила глаза и говорила немного в нос, растягивая слова, как и следовало, по ее мнению, говорить тонной даме, у которой, между прочим, бывают с визитами княгиня Подлигайлова и жена статс-секретаря Ардатова, урожденная баронесса фон-дер-

Шмецк. Этих дам знали все родственники со слов Антонины Васильевны и, разумеется, завидовали ей. Но самое большое впечатление производил ее рассказ о том, как два года тому назад, на каком-то парадном балу, к ней подошел сам его светлость князь Отрешков и говорил с ней четверть часа и как она спрашивала, когда он сжалится и вернет ей мужа из командировки. «И светлейший обещал и действительно вернул скоро Никса!» — прибавляла Антонина Васильевна, довольная, что могла поразить родственников вниманием его светлости и доставить несколько неприятных, завистливых минут старшей сестре, Олимпиаде Васильевне, постоянно грезившей о титулованных высоких особах...

— Я к тебе на минутку, сестра, — заговорил после родственного лобзания самым невинным тоном полковник, — Олимпиада просила передать записочку, зовет завтра обедать...

Антонина Васильевна прочла записку и довольно небрежно протянула:

— Вот как, Саша женится?. Какая это дура идет за него?

— Разве Олимпиада не пишет?

— Ни слова... Зовет только на родственный обед познакомиться с Сашинной невестой, точно в самом деле очень важное событие, что Саша женится... Верно, такая же сумасбродная и нищая, как и он сам.

— Видно, Олимпиада растерялась от радости и главного не написала... Знаешь ли ты, сестра, на какой дура Саша женится? — с таинственной торжественностью проговорил полковник.

— Не особенно интересно и знать... Этот Саша...

— Очень даже интересно! — перебил полковник. — Ты и вообразить себе не можешь, Антонина, как интересно! — еще значительно прибавил полковник, понижая голос почти до шепота.

Антонина Васильевна вся насторожилась, но в качестве светской дамы не выказала своего нетерпения.

«Подожди, сестрица, ахнешь!» — не без злорадства подумал полковник, задетый за живое кажущимся равнодушием сестры и почему-то считавший женитьбу племянника близким и кровным для себя делом, — так он

много сегодня о ней говорил.

И как опытный актер, подготовляющий зрителя к эффекту, он выдержал паузу и медленно проговорил своим тихоньким тенорком:

— На Ко-но-ва-ло-вой!

— А что такое эта Коновалова? — умышленно равнодушным тоном протянула Антонина Васильевна, втайне уже волнуемая и чувствующая по тону брата что-то значительное и важное.

— Не слыхала фамилии Коноваловой?. Удивительно!.. Не знаешь Ко-но-ва-ло-вой? Она дочь известного золотопромышленника. Прииски в Сибири, громадный дом на Караванной и пять миллионов наличными деньгами в государственном банке. Пять миллиончиков чистоганом. Вот на какой дуре женится Саша Пинегин, наш племянник!

У Антонины Васильевны при этом известии сперло в зобу и от волнения выступили на пухлых щеках красные пятна. Тем не менее она все-таки пыталась скрыть свои чувства, — нельзя же светской даме ахать как кухарке, — и, притворяясь спокойной, прогово-

рила дрогнувшим голосом:

— Пять миллионов?. Прииски?. Это точно волшебная сказка! Как сестра должна быть счастлива... А Саша?. Кто бы мог ожидать!!

— Я, сестра, всегда ожидал от Саши чего-нибудь необыкновенного, — внушительно проговорил полковник. — Саша — умница... Голова у него — золотая... Теперь он навек счастлив с таким богатством. У невесты ведь ни отца, ни матери.

— Ни отца, ни матери, скажите, пожалуйста-ста!! Бедная!!.. И миллионы у нее? Да, Саша умный и образованный, это и Никс всегда говорит, но он какой-то неродственный. А я его всегда очень любила и защищала... Воображаю, как Олимпиада рада!.. Саша ведь не забудет своих при таком громадном состоянии... Неужели пять миллионов?

— Говорят, пять... Саша, впрочем, кажется, сказал, что три... Ну, разумеется, не забудет матери, будет ей помогать... Теперь Олимпиада заживет. Еще бы!.. Тысяч десять, двадцать в год дать матери ничего не стоит при двухстах тысячах годового дохода. Уж он обещал! — присочинил полковник.

— Где он познакомился с этой Коноваловой?. Она хороша собой, образованна?. Как все это случилось? Расскажите все подробно, братец... Это так интересно. Она, разумеется, влюблена, иначе пошла ли бы она за Сашу?. Конечно, Саша недурен собой... Он в нас, в Козыревых, и может нравиться женщинам... ну, и умеет говорить... Кто был ее отец? Когда свадьба? — лихорадочно забрасывала вопросами Антонина Васильевна и, охваченная любопытством и завистью, забыла теперь даже растягивать слова и корчить из себя тонную даму. — Да не хотите ли, голубчик братец, чаю? Мы пьем в десять, но я велю сейчас подать. Напьемся вдвоем, Никс в клубе, а Леночка в опере... Княгиня Подлигайлова пригласила ее к себе в ложу.

Полковник отказался. Он только что пил у племянницы Катеньки... «Какая эта милая Катенька и как она прелестно поет... Зовут в оперу... И муж ее такой славный!» — не удержался полковник, чтобы не поддразнить сестру Антонину, дочь которой Леночка тоже была певицей и, по мнению матери, пела несравненно лучше дочери Олимпиады Васи-

льевны. «Какое сравнение! У Леночки не голос, а масло... Тембр, чувство, а Катенька визжит, как придавленная кошка... Правда, есть две-три сносные нотки, вот и все!» — говорила нередко за глаза сестра Антонина.

Однако на этот раз Антонина Васильевна не противоречила полковнику (и что он понимает в пении!) и жадно слушала его. Он, впрочем, далеко не удовлетворил любопытство сестры Антонины, хоть и подробно, не без собственных прибавлений, рассказал, как Саша за завтраком объявил о своей женитьбе, как расхваливал свою невесту, как сестра Олимпиада плакала и как все рады были за Сашу и пили за его здоровье...

— Завтра вот увидим невесту, — говорил полковник, поднимаясь с кресла. — Обед будет превосходный... Ты ведь знаешь, Олимпиада мастерица угостить... Ты, конечно, будешь, сестра?

— Еще бы... такое радостное событие... Мы все приедем... Да вы куда же, братец? посидите, расскажите, как все это случилось, что Саша говорил про свою невесту...

— Поздно сидеть, дорогая... Устал, пора ста-

рым костям на покой. С утра сегодня бродил, навещал милых родных... Что Саша про невесту говорил? Да говорил, что умная, образованная, добрая девушка.

— А про наружность что говорил?. Брюнетка, блондинка, хороша?

— Про наружность не говорил. Да и что говорить? С таким состоянием всякий урод красавица! — заметил полковник улыбаясь. — Ну, кланяйся своему милому Николаю Аркадьевичу да поцелуй красавицу Леночку. До завтра, мой друг.

Облобызавшись с сестрой, полковник ушел, оставив сестру Антонину в неопisanном волнении. Несмотря на усталость, он не взял извозчика и по своей скаредности даже не сел в конку, а тихо побрел на Васильевский остров, где жил в двух маленьких комнатках, нанимаемых от жильцов.

Когда Никс, высокий, плотный и довольно видный мужчина лет за пятьдесят, с роскошными черными бакенбардами, обрамлявшими моложавое, хорошо сохранившееся лицо, вернулся во втором часу домой из клуба, Антонина Васильевна еще не спала. Одета в

красивый капот с широким воротом, открывавшим пышную пожелтевшую шею, она пошла в кабинет, чтобы сообщить мужу об удивительной новости.

Никс, несколько румяный после ужина, выслушал жену и с тонкой улыбкой весело проговорил:

— Однако ловкая бестия этот Саша! Вот никак не думал! Такое урвал состояние!

И, словно озаренный счастливой мыслью, сказал:

— Надо теперь Сашу устроить при министерстве. Пусть числится и получает чины. Можно и камер-юнкером сделать... И знаешь ли что, Тонечка?

— Что, Никс?.

— Недурно было бы у него занять денег на уплату долгов. С рассрочкой, что ли... Ты бы это устроила, Тонечка, а? — промолвил Никс, нежно целуя жену и привлекая ее к себе... — И позовем их на днях обедать...

VII

Едва ли Наполеон перед Ватерлооской битвой был в таком возбужденном состоянии, в каком была на следующий день Олимпиада

Васильевна, вся поглощенная заботой, как бы не ударить лицом в грязь с парадным обедом. На обед, кроме невесты, было приглашено пятнадцать человек самых близких и избранных родственников и притом не состоящих друг с другом в открытой вражде. Пригласить большее число, при всем желании Олимпиады Васильевны показать всем невесту-миллионерку, было нельзя — места в столовой не хватало. И то будет тесновато.

В этот день Олимпиада Васильевна проснулась в шесть часов утра и тотчас же стала одеваться. После нового и продолжительного совещания с кухаркой она вместе с ней поехала закупать провизию в лучшие лавки столицы и на этот раз не жалела денег. Закуски, вина и фрукты поручено было купить Володе. Форель на садке была выбрана, после тщательного осмотра, громадная и великолепная. Рябчики и зелень взяты в известной лавке, где берут повара самых аристократических домов. Мороженое заказано у Берена.

Целый день Олимпиада Васильевна носилась по квартире как угорелая, не зная уста-

ли, сама все прибирая и подчищая, и сегодня не ссорилась с кухаркой, не шпыняла ее, как обыкновенно. Напротив, была с ней предупредительна, ласкова и даже заискивала в ней, умоляя «Аксиньюшку» постараться и ничего не испортить. Толстая, жирная Аксинья, сама проникнутая важностью предстоявшего обеда, успокоивала барыню. «Все будет хорошо. Не извольте беспокоиться, барыня!» И в сиявшей чистотой кухне, среди массы кастрюль и всякой посуды, Аксиния, не суетясь, сама несколько возбужденная, ловко управлялась со своим делом, по временам вызывая барыню для какого-нибудь совещания.

К четырем часам Дуня и приглашенная в помощь горничная дочери, обе прифранченные, шурша накрахмаленными ситцевыми платьями, уже накрыли на стол под наблюдением самой Олимпиады Васильевны. Сервиз был парадный, серебро новое — из будущего Женечкина приданого. Хрусталь так и сверкал. Обернутые в гофрированную бумагу горшки с розами и две, взятые напрокат, вазы для шампанского украшали стол вместе с рядом бутылок. А в углу столовой маленький

стол весь был уставлен закусками: целая ваза была полна свежей икрой. «Три с полтиной за фунт!» — не без горького чувства думала Олимпиада Васильевна, жалея, что сама не купила икру подешевле, а поручила Володе.

Олимпиада Васильевна несколько раз обошла вокруг стола, выровняла стаканы, бокалы и рюмки, поправила десертные ножички и наконец убедившись, что стол накрыт как следует, понеслась в своем парадном сером шелковом платье, с чепцом на голове, в кухню, и с тревожной боязливостью в голосе, полном нежности, спросила:

— Как рыба, Аксиньюшка?

Спокойно-уверенный вид раскрасневшейся Аксиньюшки успокоил барыню. Суп и пирожки она уже пробовала — отличные. Кухарка уверяла, что и рыба, и жаркое, и зелень — все будет хорошо. «Не осрамимся!»

И Аксинья подняла крышку длинной рыбной лохани и предложила барыне вилку. «Еще четверть часа — и готова!»

В это время в прихожей звякнул звонок. Олимпиада Васильевна бросилась в гостиную, проговорив умоляющим голосом:

— Уж вы, Аксиньюшка, пожалуйста... Форель не передержите да гарнир покрасивее...

На звонок в гостиную выпорхнула и Женечка, свежая, румяная, хорошенькая и нарядная. Вышли и братья: Володя и Петя — апатичный молодой человек, служивший в департаменте.

Через минуту показалась Катенька, молоденькая блондинка в интересном положении, с капризным и несколько болезненным выражением подурневшего миловидного лица, вместе с своим мужем, «Бобочкой», товарищем прокурора, свеженьким, чистеньким, изящным и необыкновенно вежливым и обходительным молодым человеком, очень любимым тещей. Катенька горячо обняла мать, расцеловалась с сестрой и братьями и лениво опустилась на диван. Бобочка нежно поцеловал руку у Олимпиады Васильевны и по-родственному поздоровался с остальными членами семьи.

Звонки раздавались все чаще и чаще. Собирались родственники. Сперва явился полковник, сияющий словно именинник в своем отставном мундире и в орденах. Затем прие-

хал брат Сергей, длинный и худой статский советник, похожий на задумчивую цаплю, с геморроидальным и несколько кислым лицом заматорелого «чинюги», обиженного, что его долго не производят в генералы, и с ним такая же худая и тоже словно чем-то обиженная жена и сын, молодой и серьезный путеец в очках, которого мать называла «Базилем». Шумно влетел потом племянник Жорж, краснощекий, бойкий и развязный бухгалтер железнодорожного правления, в щегольском рединготе и белом галстухе, получавший семь тысяч жалованья, вслед за женой, вертлявой, пикантной брюнеткой, пестро одетой и довольно умело подкрашенной, добродушной и глупой «Манечкой», которую «обиженная дама» оглядела с ног до головы злыми глазами и подавила вздох, словно бы желая сказать: «Бывают же на свете такие женщины!» Впрочем, «обиженная дама» или «тетя-уксус», как звали ее молодые Козыревы и Пинегины, вообще была строга и известна как самая ядовитая сплетница в Песковском клане.

После Жоржа с женой в гостиную вошла мелкими, быстрыми шажками, чуть-чуть по-

вливая бедрами и внося с собой душистую тонкую струйку, племянница Вавочка, довольно еще свежая женщина проблематических лет «около тридцати», жена капитана-морьяка, бывшего в дальнем плавании, полная, круглая, раскрасневшаяся от туги стянутой талии и избытка здоровья и ласково улыбающаяся своими большими темными глазами и от удовольствия видеть родных, и от удовольствия быть в изящном туалете на посрамление других. Вавочка среди родных считалась элегантной женщиной, умеющей одеваться со вкусом, и она, разумеется, поддерживала эту репутацию, считая себя вдобавок и неотразимой. И хотя она была непреклонной добродетели, тем не менее подводи-ла брови и не прочь была вести теоретические разговоры о чувствах и хвалилась, что за ней очень ухаживают мужчины, к которым она совершенно равнодушна. Она любит одного Гогу, своего мужа, а остальные мужчины для нее не существуют.

Родственники сегодня с какою-то особенной нежностью целовались с Олимпиадой Васильевной и с большой горячностью уверяли,

скрывая зависть, как были рады узнать, что Саша — жених. Олимпиада Васильевна благодарила, утирала набегавшую слезу и, вдруг вспомнив, что форель может перевариться, исчезала из гостиной, летела на кухню, смотрела рыбу и жаркое и с облегченным сердцем возвращалась к гостям. Слава богу, все, кажется, будет хорошо!

За четверть часа до пяти приехали сестра Антонина, Леночка и тайный советник Никс. Приезд «аристократов» возбудил некоторую сенсацию и еще более нахмурил чело брата Сергея. Его превосходительство, свежий и веселый, с благоухающими расчесанными великолепными своими бакенбардами, был очень представительен во фраке с двумя звездами. На жене и дочери Леночке были блестящие туалеты. Толстеньякая Вавочка и «вертлявая брюнетка» так и впились глазами. Этих шикарных платьев они не видали. Верно, недавно сделаны, и, главное, что несколько смутило Вавочку, совсем новый фасон!

Его превосходительство с обычной своей приветливой любезностью, втайне слегка презирая жениных родственников, здоровал-

ся с ними, поздравил Олимпиаду Васильевну, сказал Вавочке комплимент и подсел к вертявой брюнетке, с которой любезничал Володя, уже успевший выпить начерно с Жоржем рюмки три водки...

Антонина Васильевна, с черепаховым длинным лорнетом в руке, порывисто и горячо обняла сестру Олимпиаду и нежно шепнула о своем радостном участии. После родственных приветствий она заняла место на диване около Катеньки и заговорила с ней, снова растягивая слова и щуря глаза. Не очень громко, но так, чтобы слышали другие, она рассказывала, в каком восхищении осталась вчера Леночка от оперы. Леночка была с княгиней Подлигайловой.

— Ты, Катя, кажется, видела у меня княгиню Подлигайлову?

Все сидели вокруг стола, перекидываясь вопросами о здоровье, замечаниями о погоде, о театре, и с нетерпением ожидали появления невесты-миллионерки. Все приглашенные были в сборе. Недоставало только жениха и невесты.

Полковник волновался, подходил к окнам

и взглядывал на часы.

Наконец раздалось ровное звяканье копыт по мостовой, без шума колес, и замерло у подъезда.

Володя и Женечка бросились к окну.

— Они! — крикнули оба.

— Какие чудные лошади! — восторженно прибавила Женечка.

Многие подбежали к окнам и увидели маленькую каретку с парой красивых вороных лошадей в английской упряжи. Бритый рыжий кучер в черной ливрее и в цилиндре, с невозмутимым видом поддельного англичанина, сидел на козлах. Из кареты торопливо вышла маленькая женская фигурка и Саша Пинегин.

— Аккуратны! Ровно пять часов! — заметил полковник, отходя от окна, и, обращаясь к Антонине Васильевне, прибавил: — Ну и кони, сестра! Тысячные!

Раздался звонок. Олимпиада Васильевна с Володей и Женечкой вышли в прихожую. Все родственники невольно притихли, ожидая появления невесты. Тетя-уксус вся насторожилась, вытянув свою длинную шею. Вавоч-

ка управляла прическу. Антонина Васильевна с напускным равнодушием рассматривала альбом. Его превосходительство с едва заметной насмешливой улыбкой переглянулся с молодым прокурором.

VIII

Под руку с сиявшей и умиленной Олимпиадой Васильевной в гостиную вошла, смущенно и ласково улыбаясь, некрасивая молодая девушка лет двадцати пяти на вид, маленького роста, плохо сложенная, плотная и коренастая брюнетка, с крупными и резкими чертами смуглого, отливавшего желтизной лица, с выдающимися скулами, широким носом и крупными губами.

Но зато глаза у этой девушки были прелестны и значительно смягчали некрасивость ее физиономии: большие серьезные и вдумчивые черные глаза с ясным и необыкновенно кротким взглядом, какой бывает у детей или у очень добрых и хороших людей.

Скромность туалета миллионерки даже удивила многих родственников, ожидавших блеска и кричащей роскоши. Она была одета, правда, с изящной простотой, свидетельство-

вавшей об ее тонком вкусе и привычке одеваться хорошо, и жадный взгляд Вавочки оценил по достоинству и прелесть нежной, дорогой ткани, и изящество отделки, и мастерство артиста, сшившего это ловко сидевшее светлое платье модного цвета гелиотроп, но костюм ее не бил в глаза. И на этой владелице миллионов не было ни дорогих брильянтов, ни других богатых украшений. Только красивые крупные жемчужины белели в ушах. На руке был скромный port-bonheur[4], а у шеи простенькая брошка. Прическа у нее была самая простая и не модная. Черные, гладко причесанные по-старинному волосы, с пробором посредине, обрамляли ее высокий лоб, а сзади были собраны в косы. И держалась она скромно и просто, несколько застенчиво среди незнакомых людей.

Олимпиада Васильевна, успевшая еще в прихожей очаровать приемом свою будущую невестку, знакомила Раису Николаевну с родственниками.

— Раиса Николаевна Коновалова... Сестра Антонина... дочь Катенька... брат Сергей... племянница Вавочка, — говорила она неж-

ным голосом, подводя Раису Николаевну то к одному, то к другой... — Здесь все наши близкие милые родные, — прибавляла она, ласково взглядывая на Раису.

Все отнеслись к гостье необыкновенно приветливо и сердечно, чувствуя невольный прилив почтительной нежности к этой скромной некрасивой девушке, обладавшей миллионами. Все как-то значительно и крепко жали ей руку, и дамы горячо целовали ее крупные губы, как бы приветствуя в ней будущую родную и близкого человека. Сестра Антонина, помня совет Никса, с нежной порывистостью протянула обе свои руки, потом привлекла Раису к себе и поцеловала, а затем, когда Раиса попала в родственные объятия Вавочки, Антонина Васильевна в избытке чувств прошептала, но так, однако, что Раиса могла слышать:

— Ах, что за милая девушка! Не правда ли, Катенька?

Тетя-уксус, уже шепнувшая изнемогавшему от зависти путейцу Базилю, что невеста «урод и кривобока», сохраняя все тот же обиженный вид страдальцы, так впиалась своими

тонкими губами в губы Раисы и так крепко сжала ей руку, что бедная Раиса чуть-чуть поморщилась от боли. Полковник почтительно поцеловал лайковую перчатку на ее руке.

Видимо, тронутая общим дружеским отношением, молодая девушка с искренней горячностью отвечала на все эти ласки родных любимого человека, перенося на них частицу любви, которую питала к Пинегину.

Несколько бледный, стараясь скрыть под маской спокойствия свое волнение, свежий и красивый, казавшийся красавцем в сравнении со своей невестой, он весело здоровался с родными и глядел им прямо и смело в глаза, словно бы заранее предупреждая какие-нибудь щекотливые вопросы. Но, разумеется, никаких щекотливых вопросов не было. Все с какою-то особенной почтительной приветливостью здоровались с бывшим «отщепенцем». Его превосходительство, относившийся прежде к своему родственнику с холодной, не допускающей фамильярности вежливостью, сегодня как-то особенно ласково, с фамильярностью доброго товарища, пожал ему руку и поздравил его. И дядя Сергей, особенно не

любивший племянника и считавший его неосновательным и зловредным человеком, по недоразумению не попавшим в Сибирь за свои возмутительные мнения, приветствовал племянника с непривычной ласковостью и почему-то поцеловал его, словно желая почтить его возрождение. Одним словом, все родственники видимо одобряли поступок Саши, и ни одна пара глаз не взглянула на него с презрением. Все хвалили его невесту. «Она такая милая, такая симпатичная...»

Только подросток Люба, гимназистка пятнадцати лет, гостившая по случаю кори у них в семье, у своей двоюродной бабушки, — горячая поклонница «дяди Саши» за его радикальный образ мыслей и за то, что он «умный», — как-то недоумевающе смотрела, сидя где-то в углу, своими умными серыми глазенками, и грустная усмешка по временам скользила по ее худенькому, бледному личику. Но, разумеется, никто не обращал на нее внимания...

Олимпиада Васильевна слетала на кухню и, убедившись, что все готово и можно подавать, вернулась в гостиную и проговорила:

— Милости просим... Пожалуйста... Сестра

Антонина... Николай Петрович... Раиса Николаевна... Брат Сергей... Вавочка...

Все двинулись в столовую.

Антонина Васильевна, любезно обхватив рукой за талию Раису, увлекла ее за собой и пошла первой. За ними пошли тетя-уксус с супругом.

Дорогой она шепнула мужу, указывая глазами на Антонину Васильевну:

— Ухаживает за миллионеркой... Видно, и у них хотят занять?.

Обиженный статский советник только мрачно вздохнул в ответ.

Никс вел под руку Вавочку и, пользуясь отсутствием контроля своей ревнивой Тонечки, взглядывал загоравшимися глазами на пышный бюст Вавочки и говорил ей, благоразумно понижая голос, что она сегодня очаровательна, эта несравненная Вавочка, как фамильярно называл его превосходительство, человек очень женолюбивый и большой ловец, племянницу своей жены. Вавочка делала вид, что недовольна, просила не говорить ей, «почти старухе», глупостей и, сознавая свою неотразимость, еще более рдела и самодо-

вольно улыбалась, отдергивая, однако, руку, которую игривый тайный советник слишком сильно прижимал к себе. Володя смешил вертлявую Манечку, жену двоюродного брата Жоржа, и просил ее сесть за обедом рядом с ним. Манечка хихикала, кокетничала и спросила:

— Понравилась невеста?

— Сапог!

— Но ты бы на ней женился?

— Хоть сейчас! — весело отвечал офицер.

Катенька переваливалась сзади всех. Она чувствовала себя нездоровой и капризничала. Прокурор Бобочка, всего два года женатый, желая угодить жене, сказал ей на ухо:

— А ведь очень дурна, не правда ли?

Катенька строго взглянула на Бобочку.

— Вам, мужчинам, нужна одна красота...

Она очень симпатична...

И вдруг с каким-то внезапным раздражением спросила:

— Признавайся... Ты очень завидуешь Саше?

Бобочка презрительно усмехнулся.

— Есть чему завидовать?!

А в голове его пробежала мысль:

«Если б эти миллионы да мне!..»

За обильной закуской мужчины выпили по несколько рюмок водки. Сегодня и Саша Пинегин разрешил себе выпить и чокался со всеми. Волнение его прошло; он чувствовал себя хорошо и весело. После трех рюмок водки он несколько размяк; в его отношениях к родственникам проявилась какая-то мягкость, и они стали казаться ему уж не такими пошляками, какими считал он их прежде. И это видимое сочувствие и уважение, проявившиеся внезапно к нему, хотя он и понимал отлично причину их, — тем не менее приятно щекотали нервы и точно оправдывали его в собственных глазах.

Стали садиться за стол. Сестра Антонина села около хозяйки. По другую сторону усадили Раису. Около нее сел Саша Пинегин. Остальные разместились кто как хотел, и его превосходительство очутился на конце стола, среди молодежи, подле Вавочки. Антонина Васильевна, заметивши соседство мужа с этой «жирной перепелкой», как она презрительно называла за глаза свежую толстушку

Вавочку, только недовольно сверкнула глазами, но не сказала ни слова. Но тетя-уксус, зорко наблюдавшая за всем, не удержалась-таки и, словно обиженная, что такой важный родственник и вдруг сидит на конце стола, а не на более почетном месте, сказала Олимпиаде Васильевне:

— А Николая Петровича что ж так далеко усадили, сестрица?

— Что ж это в самом деле я и недосмотрела, — заволновалась Олимпиада Васильевна. — Николай Петрович, куда ж это вы сели? Не угодно ли сюда, поближе?

— Не беспокойтесь. Олимпиада Васильевна... Не все ли равно?. Не место красит человека, а человек место! — отшутился он.

— Впрочем, и то, с молодыми-то веселей! — ехидно шепнула тетя-уксус и стала с обиженным видом кушать суп.

Антонина Васильевна между тем занимала Раису, рассказывая ей о прошлогодней своей поездке за границу... «Что за прелесть эта очаровательная Ницца».

— И вообще весь Corniche...[5] С каким удовольствием я опять уехала бы за границу...

— Там хорошо, но под конец надоедает, — заметила Раиса.

— Раиса пять лет прожила за границей. Она там воспитывалась, — вставил Саша Пинегин.

— Но осталась совсем русской, — прибавила с улыбкой Раиса.

— Вы воспитывались за границей, родная? — нарочно громко, чтобы слышали решительно все, переспросила Олимпиада Васильевна и, обращаясь к Катеньке, еще раз повторила:

— Катенька, слышишь, Раиса Николаевна воспитывалась за границей!

И тотчас же взволнованно вперила глаза на двери, в которых появилась Дуня с громадным блюдом. На нем красовалась великолепная, больших размеров форель, превосходно убранная гарниром.

Торжествующая улыбка сияла на лице тети-дипломатки и от того, что около нее сидит будущая невестка-миллионерка и все это видят и чувствуют, и от того, что она воспитывалась за границей, и от того, что форель, видимо, произвела впечатление.

В эту минуту Олимпиада Васильевна была бесконечно счастлива, а впереди еще сколько счастья?!

— Ну уж и рыбина, сестра! — восторженно воскликнул полковник.

— Вы прежде попробуйте, а потом хвалите, братец, — скромно заметила Олимпиада Васильевна.

На время наступило затишье. Все ели с видимым удовольствием рыбу и запивали ее белым хорошим вином. И Володя и Петя то и дело наполняли рюмки гостям, не забывая и своих. Многие хвалили и рыбу и подливку, и даже его превосходительство, большой обжора и знаток в еде, высказал одобрение, чем привел в большой восторг радушную хозяйку. После рыбы разговор сделался громче и оживленнее. И его превосходительство, и обиженный брат Сергей, и полковник, не говоря уже о молодежи, все немножко подпили, покраснелись и были в веселом, добродушном настроении. Никс уже уверял Вавочку, что она красавица и свела его с ума, и не обращал ни малейшего внимания на строгие взоры Тонечки, точно и не ждал вечером доб-

рой порции сцен. Полковник с пафосом говорил брату Сергею, как он любит милых родных, и утешал брата, что он, наверное, к Новому году будет генералом.

— Правда, брат, свое возьмет... Будь покоен!

У многих дам, после рюмки-другой вина, алели щеки и блестели глаза. И Саша Пинегин был в радостно-возбужденном настроении и ласково и нежно разговаривал с Раисой. Женечка и Леночка весело болтали о нарядах, театре и мужчинах. Володя рассказывал глупые анекдоты, и Манечка заливалась, приводя в негодование тетю-уксус, которая, несмотря на несколько рюмок вина, имела все-таки обиженный вид и не без зависти высчитывала, во сколько мог обойтись такой обед и что стоят такие вина. Одна только Катенька капризно молчала, думая о близком ужасе родов, да гимназистка Люба сидела дичком, о чем-то задумавшись, на дальнем конце стола.

Когда после жаркого подали шампанское и разлили по бокалам, разговоры мгновенно смолкли, и в столовой наступила торжествен-

ная тишина. Все взоры невольно устремились на Раису и Сашу Пинегина. И оба они несколько смутились, особенно Раиса, точно в ожидании чего-то мучительного.

Но для чего же и был этот обед?

И Олимпиада Васильевна, торжественная, радостная и взволнованная, поднялась и дрогнувшим голосом произнесла:

— За здоровье невесты и жениха!

Умиленная, со слезами на глазах, Олимпиада Васильевна обняла невесту, осторожно отводя руку с бокалом, чтоб не облить ее платья. Она крепко поцеловала ее, осенила крестом и, отхлебнув шампанского, шепнула:

— Милая... дорогая... Мой Саша так вас любит. Любите и вы моего голубчика!

И она снова притянула к себе Раису и снова трижды поцеловала.

Подошел сын, и повторилась та же трогательная сцена.

Затем все шумно поднялись с мест и поздравляли жениха, невесту и мать. Пили много шампанского и провозглашали тосты. Полковник крикнул: «Горько, горько!» — и Пинегин поцеловал некрасивую, стыдливо зарде-

шуюся девушку при общих радостных восклицаниях. Под конец обеда его превосходительство произнес маленький спич, в котором, между прочим, сказал, какой честный, славный и добрый Саша Пинегин. Говорил и полковник, говорил и Жорж, говорил и Володя. Во всех этих речах было много самых горячих пожеланий.

Саша Пинегин, несколько опьяневший, слушал все это, благодарил и чувствовал, что где-то, в глубине его души, снова поднимается презрение и к самому себе, и к этим излишням. И ему показалось, что его заживо хоронят во всей этой атмосфере лицемерия и пошлости... Он взглянул на кроткие, любовно глядевшие на него глаза некрасивой девушки, и в голове пробежала мысль: «Еще не поздно... Можно отказаться!»

Но он решительно отогнал от себя шальную мысль, налил шампанского и, обратившись к невесте, сказал:

— За наше счастье, Раиса!

И выпил залпом бокал.

— А где же Люба? Отчего ее нет? — спросил он.

Кто-то сказал, что она не совсем здорова и вышла из-за обеда.

Наконец обед был кончен, и все перешли в гостиную. По просьбе Олимпиады Васильевны, слышавшей от сына, что Раиса хорошая музыкантша, она села за фортепиано и стала играть.

Пинегин незаметно вышел из гостиной, прошел в комнату матери, думая, что Люба там. Но ее там не было, а был полковник. Он был сильно навеселе.

— Ну, голубчик Саша, и умница же ты, — заговорил он слегка заплетающимся голосом, — я всегда говорил, что ты умен, но все-таки не ожидал этого... Не ожидал. Гениально! И как это ты, шельмец, обработал такую богачку... Небось заговорил ее... Ловко!.. Ай да молодчина!

И, хитро подмигивая глазом, полковник продолжал:

— А все-таки, милый, послушай моего совета... Неровен час... Мало ли, друг, что может быть в будущем... ты ведь красивый... и все такое... одним словом, мужчина...

— Какой же совет вы хотите дать, дядя?

— Переведи-ка на свое имя половину состояния. Она, голубушка, добрая... Сейчас видно, на все пойдет... простыня... Я ведь любя, по-родственному советую... Право, переведи... Так-то будет спокойнее... Впрочем, я, быть может, напрасно советую... Ты ведь и сам смекнул, а?

Пинегин выбежал из комнаты, оставив полковника в недоумении. В коридоре его встретила Люба и, стремительно подбежав к нему, проговорила негодующим голосом:

— Дядя Саша, и вам не стыдно?

И, заглушая рыдания, убежала в комнаты.

IX

В одиннадцатом часу жених и невеста уехали от Олимпиады Васильевны после самых ласковых проводов и сердечных пожеланий. Все родственники наперерыв звали их к себе. Тетушка Антонина Васильевна взяла слово, что они приедут к ней обедать во вторник. Дядя Сергей и тетя-уксус выразили надежду, что Саша и Раиса Николаевна навестят и их, и с обычным своим обиженным видом звали в среду вечером на чашку чая в их «скромной обители». А Вавочка объявила, что

рассердится, если милая Рая, как уж она по-родственному называла Раису, не приедет с женихом к ней на пирог в пятницу.

— Мой голубчик Гога именинник, — пояснила она. — Вы не знаете, Рая, кто такой Гога? Это мой милый муж, который плавает и скушает без своей Вавочки.

В прихожей подвыпивший полковник с особенной нежностью облобызал племянника и шепнул ему на ухо:

— Не забудь, Саша, что я тебе говорил, родной. Так-то оно лучше!

И, обратившись затем к Раисе, восторженно шепнул ей, подмигивая осоловевшими глазками на Пинегина:

— Добруша ваш Саша, милая Раиса Николаевна! Ах, какой добруша! Простыня человек!

Пинегин молча сидел в карете с Раисой в мрачном и подавленном настроении человека, еще не справившегося окончательно с совестью. Несмотря на доводы услужливого ума, она все-таки давала о себе знать.

Все эти любезности родственников, которые видимо приветствовали его подлость,

как возрождение, этот наивный восторг захмелевшего дяди-полковника перед умом и ловкостью племянника вместе с откровенным советом ограбить Раису, — еще с большей наглядностью оттеняли его позор. А этот резкий, вырвавшийся из глубины возмущенного сердца упрек, это подавленное рыдание оскорбленной души еще стояли в его ушах. Во всей компании родственников только одна пятнадцатилетняя Любочка отнеслась с негодованием к его женитьбе, и, однако, этот единственный протест испортил Пинегину весь вечер и теперь еще вызывает краску стыда на его лице, напоминая снова то, что он хотел бы забыть: тот обман, каким он приобрел сперва доверие и потом любовь невесты.

И он все это проделал в течение трех месяцев с начала их знакомства, когда с мастерством охотника затравливал кроткое, доверчивое создание, играя на струнах ее отзывчивого, благородного сердца и будя в страстной девушке чувственные инстинкты. Все это было. И эти горячие речи об идеалах, о служении ближним. И это возмущение людской

подлостью и игра в благородство. И эти чтения вдвоем... Это тонкое, ловкое ухаживанье, разговоры о сродстве душ! Сколько лжи и лицемерия, чтобы влюбить в себя эту некрасивую миллионерку и сделаться ее идолом!

Такие, не особенно приятные, воспоминания опять пронеслись в голове молодого человека и омрачили его лицо, но не поколебали принятого решения. Миллионы манили своей обаятельной силой и обещанием счастья, являясь сами по себе красноречивым оправданием подлости. Из-за них стоит ее сделать. Не он, так другой подберется к этим миллионам. И, наконец, мало ли людей жмутся так, как он.

«Во Франции это — обычное явление», — почему-то вспомнил Пинегин и по какой-то странной ассоциации идей вдруг подумал, что Бэкон был взяточник...

Да, наконец, ведь он и привязан к Раисе.

Эта мысль внезапно обрадовала молодого человека. Он старался теперь даже убедить себя, что любит эту «милую, кроткую девушку» и что она вовсе уж не так дурна собой, как ему казалось раньше. И все сегодня находили

ее симпатичной и восхищались ее глазами. Действительно, прелестные глаза!.. Да, он будет ее любить и сделает ее счастливой, хотя бы из чувства благодарности и за ее любовь и за ее миллионы, благодаря которым он станет независим.

«А какой, однако, мерзавец этот полковник! Что советует? Перевести половину состояния!» — подумал в ту же минуту Пинегин.

И, незаметно для него самого, мысли его остановились на предложении «мерзавца» и на мгновение овладели им. С чувством отвращения поймал он себя на этих мыслях и взглянул на невесту. Молчать счастливому жениху было неудобно. Надо заговорить.

Раиса сидела, прижавшись в углу кареты, с закрытыми глазами, тоже безмолвная, но безмолвная от полноты счастья, влюбленная и уверенная во взаимности, тронутая ласками родных любимого человека. Добрый! Верно, он хвалил ее им всем!

И она мечтала о близком счастье быть женой и другом этого чудного, благородного Саша, делиться с ним мыслями, жить для добра, для ближних...

— О чем ты задумалась, Раиса? — нежно окликнул ее Пинегин, всматриваясь в ее лицо и пожимая ее руку.

Молодая девушка встрепенулась, точно пробужденная от грез.

— Я думала, как я бесконечно счастлива, — промолвила она взволнованным, бесконечно нежным голосом, крепко сжимая руку Пинегина... — И какие твои родные все добрые... И как жизнь хороша!

При этих словах Пинегина охватило чувство смущения и жалости, той мучительной жалости, какая бывает иногда у палача к своей жертве. Охваченный этим чувством, он привлек к себе молодую девушку и стал целовать ее лицо. Вся трепещущая, прижимаясь к Пинегину, Раиса отвечала горячими, страстными поцелуями.

— Милый!

И, порывисто охватив его голову, она крепко прижала ее к своей груди.

— Милый... желанный... Если б ты только знал, как я тебя люблю! — шептала она страстным шепотом, и слезы катились из ее глаз.

Хорошо, что молодая девушка не видала в эту минуту лица Пинегина, а то сердце ее забило бы тревогу, — до того физиономия его мало походила на счастливое лицо жениха. Он, правда, добросовестно осыпал поцелуями невесту, но эти поцелуи не возбуждали в нем страсти, не зажигали огня в крови. Он даже морщился, целуя некрасивую девушку, и, найдя, что поцелуев довольно, скоро выпустил ее из своих объятий.

— Так тебе понравились мои родственники? — спросил он минуту спустя, отодвигаясь от Раисы.

— Понравились... Они, верно, добрые.

— Всекие есть между ними, — неопределенно заметил Пинегин.

— Твоя мать — прелесть, сестры — милые, — восторженно говорила Раиса.

— А братья?

— И братья славные.

— У тебя, кажется, все люди — славные, — смеясь сказал Пинегин.

— А разве твои братья не хорошие? — испуганно спросила молодая девушка.

— Самые обыкновенные экземпляры чело-

веческого рода, да я не про них. Я — вообще. Ты обо всех людях судишь по себе. Золотое у тебя сердце, Раиса! — горячо прибавил Пинегин и подумал: «И совсем ты проста!»

— Какое же тогда оно у тебя? — переспросила Раиса.

— Далеко не такое хорошее, — усмехнулся Пинегин.

— Не клевети на себя, Саша! — горячо воскликнула девушка. — Разве я не вижу, какой ты мягкий и добрый?. Разве я не читала твоих произведений? Разве я не понимаю твоей правдивости? А вся твоя прошлая жизнь? Твое страдание за правду?

И про это «страдание за правду», в действительности мало похожее на серьезное страдание, рассказывал девушке Пинегин, представляя злоключения свои в значительно преувеличенном виде, чтобы показаться в глазах Раисы страдальцем. И молодая девушка, совсем мало знавшая людей, конечно всему верила.

Надо сказать правду: Пинегин не испытывал приятных чувств от этих восторженных похвал невесты. В самом деле, не особенно ве-

село слушать дифирамбы человека, которого вы собираетесь зарезать. К тому же теперь, когда эта девушка была совсем в его власти, следовало несколько отрезвить ее и от восторгов к нему и от многих странных идей.

Не для того же женится он, чтобы в самом деле раздать богатство и жить в шалаше с немилрой женой. А она как будто на что-то подобное надеялась.

— Ты, Раиса, заблуждаешься насчет меня, — начал серьезно Пинегин.

Вместо ответа молодая девушка весело усмехнулась.

— Право, заблуждаешься, и это меня тревожит.

— Тревожит? — с испугом спросила она.

— Да, ты по своей доброте считаешь меня гораздо лучшим, чем я есть.

— Положим даже, что это так. В чем же тут тревога?

— За твое разочарование. Ты убедишься, что я не такое совершенство, каким создали твое воображение и твоя любовь, и...

— Что? — перебила Раиса.

— И разлюбишь меня.

— Я? Тебя разлюбить! Никогда! — воскликнула горячо Раиса. — И ты не совсем знаешь меня: я из тех натур, которые любят раз в жизни, но уж зато навсегда! — прибавила она с какой-то торжественной серьезностью... — Но к чему ты все это говоришь! Разве я не знаю, какой ты хороший? Разве ты способен когда-нибудь обмануть?

Пришлось замолчать. Для нее, влюбленной, этот красивый, кудрявый Пинегин был лучшим человеком в подлунной...

Разговор перешел на другие предметы. Они говорили о будущей жизни, о планах, о том, как они поедут после свадьбы за границу и устроятся потом в Петербурге. Рассказывая о будущих планах, Пинегин, между прочим, заметил, что «богатство обязывает...»

— И стесняет, не правда ли?

— Если не уметь им пользоваться... Раздать все не трудно, но что в том толку? Всякие миллионы — капля в море и серьезно всем не помогут. Надо, следовательно, помочь хоть немногим, но зато существенно...

Пинегин развивал в этом направлении свои взгляды и говорил на этот раз не только

красноречиво, но и искренно, и когда кончил, то спросил:

— Разве ты со мной не согласна, Раиса?

Напрасный вопрос! Она на все была согласна и ответила:

— Ты лучше меня знаешь, как надо поступить. К чему ты спрашиваешь?

Пинегин облегченно вздохнул.

— А твоя мать и сестры были за границей? — спросила Раиса.

— Нет.

— Так ты их, Саша, отправь. И вообще... я надеюсь, ты не будешь стесняться... Все, что у меня есть, твое. Не правда ли?. И ты поможешь своим и кому только захочешь... Помнишь, ты говорил, сколько бедной молодежи... У нас ведь денег много, слишком даже много... Не жалея их... Теперь же возьми сколько нужно... Я тебе дам чековую книжку... Прошу тебя...

— Экая ты добрая, Раиса... Спасибо тебе... В самом деле, матери надо отдохнуть...

— Смешной ты, Саша, — благодаришь. Ведь это обидно. Разве может быть иначе? И, знаешь, я все собиралась тебя просить и боя-

лась... Эти денежные дела всегда неприятны.

— О чем просить?

— Чтобы ты поскорей взял на себя управление делами. И тетя об этом говорила. Добрая старушка всем заведует и всего боится. А ты — мужчина. Она говорит, что надо тебе доверенность. Так уж ты сделай все это и распорядись всем как знаешь...

— После, после, еще успеем! — отвечал Пинегин, невольно чувствуя смущение.

Карета остановилась у подъезда. Пинегин вышел проводить невесту.

— Зайдешь? — спросила Раиса.

— Прости, голова болит... Этот обед...

— Ну так выпишись хорошенько, Саша.

Они поднялись во второй этаж.

— До завтра? — спросила Раиса, останавливаясь у дверей и протягивая Пинегину руку.

— До завтра.

— Любишь меня, дурнушку? — шепнула Раиса.

— А ты сомневаешься?

— Нет, нет, — радостно проговорила девушка. — Разве ты мог бы обманывать? Господь с тобой!

Пинегин крепко поцеловал невесту и спустился вниз. Швейцар подобострастно распахнул двери и крикнул:

— Подавай!

Пинегин вскочил в карету и велел отвезти его домой.

— Шишгола... а поди ты теперь! — проговорил старик швейцар, захлопнув дверцы, и направился в швейцарскую.

Х

Благодаря знакомому репортеру одной маленькой газетки слух о женитьбе «г. Пинегина, нашего молодого и даровитого беллетриста, на г-же Коноваловой, владеющей несметными богатствами», попал на столбцы газет, и в скором времени Пинегин стал получать ежедневно массу писем от совершенно незнакомых ему людей с поздравлениями, пожеланиями, просьбами о деньгах и с самыми разнообразными деловыми предложениями поместить выгодно капитал. Чего только не предлагали ему! И эксплуатацию плитной ломки в Шлиссельбургском уезде, и участие в мыловаренном заводе, и устройство пароходства, и дешевую покупку имений. Предлагали

сделаться пайщиком в различных предприятиях, приобрести виллу в Италии и внести посильную лепту в женский кармелитский монастырь в Бретани. Каких только красноречивых писем не получал Пинегин в течение этих нескольких недель перед свадьбой!

Родственники и знакомые хорошо знали, что после свадьбы Пинегин останется в Петербурге на самое короткое время, чтобы только принять дела от старухи тетки, и затем уедет с женой за границу, и потому многие из них спешили «воспользоваться случаем» и «урвать» с счастливого человека на первых же порах, пока он еще не опомнился от радости. Окончательно было выяснено, что у невесты три миллиона в благонадежных бумагах на хранении в государственном банке, о чем бухгалтер Жорж навел точные справки в государственном банке через приятеля своего чиновника и сообщил родным. Узнали также, что прииски на Олекме идут отлично и дают до ста тысяч чистого ежегодного дохода, и наконец, дом очищает пятнадцать тысяч. Шутка ли! Такое громадное состояние и в полном распоряжении Пинегина. Есть от чего

закружиться голове!!

Володя «урвал» первым. Через два дня после помолвки он зашел утром к брату и после нескольких минут незначащего разговора попросил денег, объясняя, что его донимают долги и что он надеется, что брат выручит его из беды.

— Сколько тебе нужно? — спросил Пинегин.

Володя был в некотором затруднении: сколько спросить? Во-первых, он не знал, есть ли у брата теперь деньги и даст ли он сейчас, или только пообещает. В его голове мелькала цифра пятьсот и несколько пугала своей величиной. «Пожалуй, не даст!» — подумал он, жалея теперь, что прежде относился к брату недружелюбно, и ответил тем неуверенным, робким и несколько униженным голосом, каким обыкновенно люди просят денег:

— Нужно мне, если тебя не затруднит только, рублей триста... Очень нужно! — прибавил Володя, глядя на брата несколько жалобным и растерянным взглядом.

— Об этих пустяках и говорить не стоит. Это я могу сейчас же дать.

Пинегин достал из кармана бумажник и раскрыл его, и Володя тотчас же мысленно пожалел, что «свалял дурака» и спросил так мало. Не без тайной зависти увидал он, что бумажник был туго набит сторублевыми бумажками, только что привезенными самим господином Дюфуром, в знак особого почтения к своему клиенту.

— Вот, возьми пока пятьсот, — проговорил Пинегин, подавая брату пять радужных бумажек, — а потом я еще дам.

Просиявший Володя был решительно тронут великодушием брата. Он крепко пожал ему руку и благодарил его.

И эта благодарность, и несколько умиленное лицо брата приятно щекотали нервы Пинегина.

— Не за что благодарить, Володя... Пустяки... Передай вот и Пете и Женечке от меня по сто рублей... После я больше дам, а пока у меня денег немного... Занял... Понимаешь: расходы большие...

— Еще бы... Вполне понимаю...

— А мамаше скажи, что она может быть спокойна: и приданое Женечке будет, и сама

она ни в чем не будет нуждаться... Раиса про-
сила меня об этом... На днях я буду у вас и сам
подробно все расскажу мамаше...

Обрадованный Володя спустился впри-
прыжку по лестнице, напевая опереточный
мотив. Он, не торгуясь, сел на извозчика и
первым делом поехал на Большую Морскую к
модному ювелиру и купил у него бирюзовое
кольцо с маленькими брильянтами себе на
мизинец. Это было, по его мнению, шикарно.
После того он заехал в фруктовую лавку, вы-
брал корзинку лучших и дорогих фруктов и
велел послать своей кухне — вертлявой брю-
нетке, Манечке. Тут же на Большой Морской
он встретил товарища и позвал его завтра-
кать к Кюба. Завтрак был тонкий, и выпито
было порядочно. Кутили они весь день и всю
ночь, ужинали в загородном ресторане, слу-
шали цыганок, и Володя не жалел денег.
Только к двенадцати часам следующего дня
он явился домой с измятым лицом, красными
глазами и с значительно опустошенным бу-
мажником.

Олимпиада Васильевна пришла в ужас
при виде своего любимца.

— Господи!.. Опять?. Полюбуйся, на кого ты похож! — воскликнула она.

— Не сердитесь, мамаша, — говорил, улыбаясь, Володя, целуя матери руку. — Не на свои кутил, а на Сашины... Добрый Саша... Вот не ожидал, что он настоящий брат...

И он рассказал, как Саша подарил ему пятьсот рублей, «пока только, мамаша», и как велел передать ей, что она не будет ни в чем нуждаться...

— А вот и вам по «Катеньке», тоже пока, — говорил со смехом Володя, передавая деньги брату и сестре. — И приданое обещал тебе, Женечка... У него бумажник полный... Говорит, занял... расходы... А как женится, все закутим на Сашины деньги.

Это сообщение привело Олимпиаду Васильевну в отличное расположение духа. Добрый Саша. Он не забыл мать. И она заставила Володю, еще не совсем отрезвившегося, несколько раз повторить Сашины слова.

— Он не говорил, сколько именно даст мне?

— Не говорил, но сказал: пусть мамаша не беспокоится... Она ни в чем не будет нуждаться...

ся... Будьте покойны, мамаша... Саша — добрый сын... отличный сын... По всему видно...

XI

Благодаря полковнику весть о подарке и об обещаниях Саши разнеслась по всем кланам, и везде хвалили Сашу. «Он поступает благородно и по-родственному, — говорили родные, надеясь, что никому из своих он не откажет помочь. — Еще бы. Такие миллионы! Кому уж и помочь, как не своим?»

Вскоре после этого известия тетя-уксус говорила после обеда своему мужу:

— Ты сходи к Саше и попроси у него... Ты — родной дядя.

Дядя Сергей мрачно вздохнул.

— Так-таки прямо и проси...

— Ох, откажет, — уныло протянул дядя Сергей.

— Не смеет отказать. Такие деньги сграбастал и — отказать! Не чужой ты ему. Сходи, Сергей Васильич.

— Сходить-то отчего не сходить, только вряд ли...

— Требууй, объясни, что мы — бедные люди. Не бесчувственный же он в самом деле!..

Антонина, твоя выжига сестрица, уж, верно, у него просила займы без отдачи. Ты-то чего зевать будешь?.

— Не лучше ли попросить брата Николая поговорить с Сашей, а? За глаза как-то деликатней и можно круглее сумму спросить. Что ты на это скажешь, Феоза?

— Что ж, настрой полковника...

— А сколько, ты думаешь, спросить?. Тысячонки две, три?

Феоза Андреевна презрительно поджала губы и с укором покачала головой.

— Ну пять, что ли?

— Как вы глупы, Сергей Васильич, и как мало думаете о будущем, — вспыхнула Феоза Андреевна. — По крайней мере десять! Надо быть подлецом, чтобы не дать нам десяти тысяч при его миллионах! — мрачно прибавила тетя-уксус.

Супруги стали мечтать об этих десяти тысячах. Если они их получают, то можно отдать их под вторую закладную дома и иметь двенадцать процентов. Это тысяча двести рублей лишнего дохода к двум тысячам жалованья.

— Тогда можно и дачку лучше нанять, и

обстановку подновить, а то просто срам, какая у нас обивка в гостиной.

— Д-д-да, хорошо бы, — согласился дядя Сергей и прибавил: — Бывает же людям счастье!

— Да еще каким... Твой-то племянник, если говорить правду, дрянь-то порядочная. Недаром в Архангельскую губернию туряли... Даром не турнут...

— А ты как думаешь, Феоза, он даст?

— Не смеет не дать! — с каким-то закипающим озлоблением прошипела тетя-уксус. — Женится на уроде с миллионами да не дать честным, порядочным близким людям десяти тысяч?!.. Можно, наконец, и припугнуть голубчика, если он окажется подлецом.

Дядя Сергей удивительно посмотрел на жену.

— Не понимаешь?. Все вам объясни и в рот положи?. А вот как припугнуть: дать понять, что можно и свадьбу расстроить...

— Это как же?

— А так же... Написать анонимное письмо Раисе этой, что жених-то ее обманывает, на деньгах женится... Разве это не правда?

— Положим, и правда, только ты, Феоза, того... далеко хватила... И не поверит она анонимным письмам: говорят, влюблена, как кошка... А если Саша догадается, кто сочинял, тогда и копейки от него не получишь... Нет, уж ты чересчур проникательна, Феоза... Завралась, матушка!

Подобный же разговор шел и у Бобочки с Катенькой. Начал его чистенький, румяный и милovidный Бобочка, находившийся в весьма меланхолическом расположения духа за десять дней перед двадцатым числом.

— Верно, Саша и тебя не забудет, Катенька? Уж если он Володе дал пятьсот рублей на рестораны, так тебе не грех помочь... Как ты думаешь? Оно было бы недурно иметь кое-что про черный день... Очень бы недурно.

— Предложит, не откажусь, но сама просить ни за что не стану, — решительно заявила Катенька и вся даже покраснела.

— Боже сохрани, просить, унижаться, — поспешил, по обыкновению, вильнуть Бобочка. — Можно бы, знаешь ли, Катенька, как-нибудь в разговоре, при случае, намекнуть о нашем положении. Что стоит помочь сестре

при его богатстве...

— Но ведь богатство не его.

— Не все ли равно жены или мужа? Да и он будет полным распорядителем, и, конечно, Раиса Николаевна не пожалеет для сестры любимого человека. Было бы очень странно, если бы он ничего тебе не дал. И вдобавок он, кажется, к тебе более всех был всегда расположен?

— А мы-то все как к нему относились?. И ты сам как его всегда бранил?

— Я не бранил, душа моя, а находил, что он делал большие глупости, не умея нигде пристроиться...

— А теперь поумнел, пристроившись к богатой невесте? — насмешливо кинула Катенька.

— Ты опять не поняла меня, мой друг... Я не стану разбирать, почему он женится — по расчету или нет, — я хочу только сказать, что так или иначе, а у него громадное состояние — вот и все... И помочь сестре он мог бы... А впрочем, если ты находишь в этом что-либо неловкое, я, конечно, с тобой согласен... Дейлай как знаешь!

Бобочка отлично знал, что слова его произведут надлежащее действие и что Катеньку и без его напоминаний несколько беспокоило то обстоятельство, что Женечке, Володе и Пете он уже дал денег и обещал давать вперед, а о ней даже и не вспомнил в разговоре с братом. Она считала себя оскорбленной тем более, что она одна из всей семьи всегда заступалась за Сашу, когда его начинали бранить. Вероятно, вследствие этого Катенька с сердцем сказала мужу:

— И намекать не буду... И ни малейшего шага не сделаю... И к ним ездить не стану... А то в самом деле подумают, что я их денег хочу. Ничего я не хочу. Оставьте, пожалуйста, меня в покое! — раздраженно прибавила Катенька, готовая плакать от обиды.

Но через два дня горькая обида сменилась радостью. Утром, когда Бобочка был на службе, заехал Саша и сам заговорил, что поможет ей. Раиса настаивает, чтобы он сделал что-нибудь для своих, и он, разумеется, очень рад быть полезным Кате. Он положит на ее имя сорок тысяч в банк и, кроме того, будет давать некоторую сумму ежегодно. Он всегда

любил Катю. Катенька расплакалась, обняла брата, горячо благодарила его и Раису и тут же попросила Сашу быть крестным отцом будущего ребенка. Брат с удовольствием согласился. Он чувствовал, что сестра любит его и что миллионы его не играют в глазах ее существенной важности, и это было необыкновенно приятно после всего того, что он видел в эти дни. Они прежде были дружны до выхода ее замуж. Но с мужем они не сошлись и не могли терпеть друг друга, и брат с сестрой виделись редко. Тем не менее он знал, что сестра, несмотря на скверное отношение к нему Бобочки, тепло и участливо относилась к «отцепенцу» и всегда защищала его.

Они задушевно болтали, вспоминали прошлое, прежних общих знакомых. О настоящим оба избегали говорить. Но под конец Пинегин не выдержал и спросил, глядя в упор на сестру:

— А ты, Катя, как относишься к моей женьитьбе?

Катенька, не ожидавшая такого вопроса, сконфузилась и молчала.

— Ведь ты, Саша, все-таки привязан к Раи-

се, — проговорила наконец она.

— Пожалуй, привязан, как к кроткой, хорошей девушке, но — ты сама знаешь — не люблю ее как женщину...

— Тяжело тебе будет, Саша, — с чувством вымолвила сестра.

Пинегин молча кивнул головой.

— И не разбей ты ее жизни. Раиса тебя боготворит и верит в тебя...

— Постараюсь, — отвечал брат и совсем тихо прибавил: — соблазн был велик, Катя, для подлости... Не устоял... Жить хочется.

Оба примолкли. Да и что было говорить?

XII

За это время у Пинегина перебивало столько посетителей, сколько не бывает, пожалуй, и у министров, и все посетители непременно желали его видеть по важному делу. Молодая, шустрая Анята, горничная меблированных комнат, в которых жил Пинегин, зарабатывала хорошие деньги. К ней в руки так и сыпались деньги. Ее упрашивали доложить и обещали хорошо поблагодарить, если она скажет, когда Пинегин бывает дома и когда удобнее его застать одного.

Почти все представители многочисленных семей Козыревых и Пинегиных считали долгом посетить теперь человека, который еще недавно считался чуть ли не отверженным. И Никс, и Бобочка, и дяди, и кузены были у него с визитами. Никс предлагал причислить Сашу и манил камер-юнкерством, и несколько раз завтракал с Пинегиным у Кюба, заказывая тонкие блюда. Бобочка, проникнутый чувством благодарности за то, что брат не забыл любимой сестры, старался восстановить с Пинегиным добрые, родственные отношения, и как-то за ужином в ресторане предлагал выпить на брудершафт и, подвыпивший, стал объясняться в любви, объясняя причину прежних «недоразумений». Объявлялись к Пинегину даже, самые отдаленные родственники и родственницы, с которыми он впервые знакомился, и поздравляли его с счастливым событием. Все, словно вороны, слетались на добычу с какой-то наглой и наивной бесцеремонностью. Приходили знакомые, которых Пинегин давно не видал, бывшие сослуживцы, и, наконец, являлись совсем незнакомые люди — и не нищие, нет! — а прилично оде-

тые люди. И все эти посетители большею частью намекали о деньгах или прямо просили их под теми или иными благовидными предложениями. И сколько было унижения! И Пинегин, сознававший свою подлость, имел утешение видеть ее и в других... Встречаясь с кем-нибудь на улице, он так и ждал, что после первых приветствий у него попросят денег.

Тетя Антонина приезжала занять денег сама. Никс предоставил ей роль просительницы и не желал путаться в эти родственные дела. Он был слишком джентльмен, чтобы ни с того ни с сего обращаться к Пинегину, и «поджентльменски» только занял у него пятьсот рублей за завтраком, причем так внезапно и небрежно спросил «этот пустяк», что Пинегин торопливо и с любезной готовностью, точно чем-то польщенный, вынул из бумажника и подал Никсу деньги, которые тот положил к себе с таким видом, точно сделал одолжение, что взял их.

Ранним утром явилась однажды тетя Антонина к племяннику и, взволнованная, со слезами на глазах, заговорила о своем положении.

нии. У них долги и долги, по которым приходится платить сумасшедшие проценты, и потому тех семи тысяч, которые получает Никс, не хватает. Она обращается к великодушному Саше. Она всегда относилась к нему хорошо и любила его... Она надеется, что он не откажет в просьбе и даст десять тысяч в займы, на долгий срок... «Не правда ли?. Ты ведь, Саша, добрый?»

Эти излияния в чувствах возбуждали в Пинегине невольное презрение и в то же время гаденькое чувство злорадства при виде унижения этой тети-аристократки, которая всегда относилась к нему с презрительной небрежностью. И он, разумеется, не отказал ей, а с изысканной любезностью обещал через неделю доставить эту сумму... Напрасно тетя так волновалась... И пусть она не беспокоится... этим долгом...

Тетя Антонина, с мастерством опытной актрисы, проделала трогательную сцену благодарности, заключив «доброего Сашу» в объятия, и скоро уехала, попросив на прощанье никому не говорить об ее просьбе...

— А то ты ведь знаешь, Саша, пойдут

сплетни, пересуды... А я их так боюсь... Ну, до свиданья... Поцелуй за меня милую Раису... Еще раз благодарю тебя...

Вслед за тетей Антониной, по обыкновению бесшумно и незаметно, вошел в комнату Пинегина полковник, заходивший довольно часто в это время к племяннику «на несколько минут», как он говорил, и предлагавший исполнять всякие Сашины поручения. Он же, случалось, и выпроваживал просителей, терпеливо ожидавших в прихожей, и искренно возмущался, что Саша не приказывает их всех гнать в шею, а напротив, принимает и выслушивает их просьбы. Сам он ничего не просил у племянника и, питая теперь к нему необыкновенное уважение, и любовь, самым бескорыстным образом защищал его интересы, советуя не очень-то раздавать деньги. Одному дашь, — все пристанут.

— Нет ли каких поручений, Саша? — весело спросил он, поздоровавшись с племянником.

— Никаких нет, дядя.

— Ну, а вчерашние я все исполнил: к портному твоему заходил — обещал завтра прине-

сти три пары... Сапожника торопил, чтобы поскорей. Был и у священника — условился насчет венчания... И с певчими торговался... Дерут, живодеды.

— Спасибо вам, дядя.

— Рад Саша, для тебя похлопотать. Стоишь того! — значительно проговорил он. — А я сейчас Антонину у подъезда встретил. Рассказывает, что заезжала звать тебя обедать. Так я и поверил! Что, сколько она у тебя просила?

— Ничего не просила.

Полковник хитро подмигнул глазом: «Дескать, меня не обморочишь!» — и проговорил:

— Секрет так секрет... А только много ты им не давай — все они бездонные бочки: и генерал, и сестра-генеральша, и Леночка... Им что ни дай, все мало... Любят пустить пыль в глаза и аристократов корчить... Дескать, мы — сенаторы и носим двойную фамилию: Кучук-Огановские! Особенно сам он... Воображает, что какой-то там татарин Кучук — очень важное кушанье, а Козыревы и Пинегинны — мелюзга! — не без раздражения говорил полковник, весьма щекотливо оберегавший

честь фамилии Козыревых...

И, помолчав с минуту, сказал:

— Вот что, Саша. Был я вчера у брата Сергея. Просит он замолвить перед тобою словечко. Сам не решается. «Саша, говорит, нас не очень-то любит...» Положим, что и так, да разве ты обязан всех любить? — вставил полковник... — Ну, оба они, и брат и Феоза, на судьбу роптали. Жалованье, говорят, небольшое, всего две тысячи, сын пока без места... А если, говорят, уволят в отставку, то пенсия маленькая... Только брат врет, не уволят его в отставку, — я знаю... А все-таки, Саша, он дядя родной, брат твоей матери.

— Сколько же дядя Сергей просит?

— Ну, признаться, Феоза заломила: ежели бы, говорит, Саша дал нам десять тысяч, то мы никогда бы больше не беспокоили его, спокойно прожили бы старость и молили бы за него господа бога...

— Ну, тетя-уксус не очень-то любит бога, — засмеялся Пинегин, — и всегда лазаря поет... Верно, дядя кой-что и припас на черный день?.

— Очень может быть. Они — аккуратные

люди... А все дал бы что-нибудь, а то тетя-укусус... сам знаешь, какая дама, — усмехнулся полковник...

— Передайте дяде, что я дам ему три тысячи. Черт с ним!

— И за глаза довольно. С какой стати больше давать? — одобрил полковник. — Матери, сестрам, я понимаю... И в каком же восторге твоя мать, Саша!.. Вот уж истинно сын наградил мать по-царски!.. Шутка ли: пятьдесят тысяч, да еще за границу посылает! Теперь Олимпиада как сыр в масле катайся... И Катенька в восторге... все тебя благословляют и твою милую Раису Николаевну... А сколько думаешь братьям давать? Много не давай, Саша, все равно в рестораны снесут... Шампанское да лихачи... И то Володя уж без денег... Пятьсот, что ты дал, уж ухнул... Рублей по пятидесяти в месяц если будешь им давать, то за глаза...

Полковник просидел с четверть часа и, пока племянник одевался, рассказал несколько сплетен. Жорж собирается «обломать ноги» Володе за то, что он уж слишком нахально ухаживает за Манечкой. «Недавно она с

Володей на тройке ездил. Ловко! А Антонина вчера приехала к Вавочке и закатила ей сцену!»

— При мне дело было. Знатно, брат, поругались! — прибавил полковник с нескрываемым удовольствием.

— За что? — полюбопытствовал Пинегин.

— А все из-за благоверного. Он ведь, знаешь, охотник поферлакурить... Словно петух за дамами бегаёт. «Го-го!» да «го-го!» Ну, и разлетелся третьего дня к Вавочке; конфет три фунта, букет цветов и билет в оперу привез... «Не откажите, говорит, принять, обворожительная Вавочка!» А сам, знаешь ли, шельма, по-родственному ей ручки целует и все норovit повыше пульсика, петух-то наш... Хе-хе-хе! А Антонина узнала как-то (тут полковник умолчал, что он же сообщил ей об этом по секрету) и на следующий день к Вавочке... А я у нее кофе пил... Ну, сперва шпильки, знаешь ли, шпильки, — Антонина на это мастерица, — а потом так и бухнула: «Ты, говорит, кокетка и напрасно святошей представляешься, чужих мужей завлекаешь!» Вавочка, разумеется, в слезы. А Антонина забрала ходу и по-

шла, и пошла... «Напрасно, говорит, ты воображаешь, что можешь прельстить и что Никс в тебя влюблен. Ты, говорит, жирная перепелка и больше ничего!» Тут уж и Вавочка не выдержала. Слезы вытерла и давай тетку отчитывать с Никсом вместе. «Я, говорит, вашего престарелого супруга не завлекаю и завлекать не желаю... Вовсе и не интересен он для меня со своим большим животом... У меня мой Гога есть, покрасивее вашего влюбчивого муженька... Я, говорит, пусть и перепелка, но зато не подкрашенная общипанная пава, как вы...» И все в этом роде... Та-та-та, та-та-та... Потеха! Так и расплевались! — заключил весело полковник и простился с племянником.

Выйдя в прихожую, он строго приказал Анюте всем говорить, что барина дома нет... Однако вскоре после ухода полковника стали являться посетители, и Аннушка докладывала, и Пинегин принимал, выслушивал разные предложения и по большей части отказывал в просьбах.

Много ходило к нему теперь народа. Только люди того небольшого кружка, где прежде бывал Пинегин, не показывались к нему, и

никто из них не просил денег. А с какой радостью он дал бы и с каким нетерпением злорадства он ждал этих просьб! Но эти знакомые словно в воду канули, и при случайных встречах с ними на улице Пинегин невольно конфузился и старался обходить их. Завидя однажды Ольгу Николаевну, ту самую хорошенькую барышню, которая ему нравилась, он торопливо вошел в первый попавшийся магазин, чтобы только не встретиться с нею и не увидеть презрительного взгляда ее серых живых глаз. Он уже слышал от одной своей кузины, знакомой Ольги Николаевны, с какой гримасой она выслушала весть об его женитьбе. Даже и бывший его близкий приятель, бедняк литератор Угрюмов, заходивший прежде довольно часто к Пинегину и перехватывавший у него иногда по два, три рубля до получки аванса или гонорара, и тот не показывался.

Пинегин наконец не выдержал и сам пошел к нему.

И это невольное смущение Угрюмова, и его особенная преувеличенная любезность ясно показывали в чем дело. Но Пинегин, и сам

skonфуженный приемом, тем не менее сделал попытку предложить денег, искренно желая помочь этому талантливому литератору, которого уважал и любил.

После нескольких минут неклеившегося разговора Пинегин робко, словно виновный, проговорил:

— Я теперь богат, могу располагать большими деньгами... Вы, вероятно, слышали... я женюсь на богатой девушке...

— Как же, слышал, — ответил Угрюмов и отвел взгляд.

— Возьмите у меня сколько нужно, поезжайте в Крым, на Кавказ, за границу, куда хотите. Послушайте! Вам необходимо полечиться и отдохнуть, чтобы потом, без забот о завтрашнем дне, написать давно задуманную вами книгу. Возьмите, прошу вас, — почти молил Пинегин, с жадным вниманием глядя на бледное, больное лицо молодого литератора.

Угрюмов очень благодарил, но отказался.

— Мне теперь не нужно, совсем не нужно, — говорил он торопливо и смущенно. — Я получил хорошую работу.

Пинегин видел, что Угрюмов говорил

неправду и только щадил его, не объясняя истинной причины отказа, и ушел, хорошо понимая, что отныне между ними все кончено.

— И черт с ним! Пусть умирает, восхищаясь своим донкихотством! — прошептал он со злостью, внезапно охваченный озлоблением против бывшего приятеля и в то же время испытывая чувство позора и унижения.

XIII

В небольшой, ярко освещенной домово́й церкви собрались многочисленные родственники и знакомые, приглашенные на свадьбу Пинегина. Олимпиада Васильевна разослала приглашения решительно всем, кого только знала. В этой толпе сияло несколько звезд и лент, среди фраков блистали военные гвардейские мундиры, и Олимпиада Васильевна с чувством удовлетворения ози́рала гостей, думая про себя, что свадьба очень приличная. Нечего и говорить, что бесчисленные представительницы родственных кланов явились на семейное торжество в полном блеске, соревну́я между собой туалетами. Вавочка, еще не прими́рившаяся с тетей Антониной, сшила к свадьбе новое роскошное платье, заплатив

за него большие деньги, чтобы сохранить за собою репутацию самой элегантной из родственниц и «утереть нос» тете-аристократке. Но и Антонина Васильевна недаром же заняла у племянника деньги. И она и Леночка были в блестящих туалетах, возбуждивших завистливый шепот и замечание тети-уксуса: «На что Сашины денежки-то идут!» Тетя Антонина прошла мимо Вавочки, не обменявшись даже поклоном и презрительно сощурив глаза, но обе дамы нет-нет да украдкой оглядывали костюмы друг друга с самым серьезным вниманием, стараясь открыть какой-нибудь недостаток в туалетах. И вдруг румяное, свежее и сияющее лицо Вавочки, затянутой до последней возможности, чтоб не быть похожей на откормленную перепелку, осветилось торжествующей улыбкой, и она шепнула Женечке, но так, что Антонина могла слышать: «Погляди... какие складки у рукавов... а думала поразить!..»

Певчие грянули радостный хор. Разговоры смолкли. Все взоры обратились на двери.

Под руку с его превосходительством Никсом, необыкновенно представительным и мо-

ложавым в своем шитом мундире, с синей лентой через плечо и двумя звездами на груди, шла невеста. Ее маленькая, коренастая, неуклюжая фигурка казалась еще некрасивее в подвенечном платье. Смущенная многолюдством и точно чувствовавшая свою некрасивость в этих любопытных, но равнодушных взглядах, устремленных на нее, она шла, опустив голову, стараясь не смотреть на толпу, и облегченно и радостно вздохнула, когда у аналоя рядом с ней стал Пинегин, красивый, свежий и несколько возбужденный. Она внезапно просветлела. Они обменялись рукопожатиями. Пинегин что-то шепнул невесте на ухо, и она радостно улыбнулась.

Началась служба. Раиса была серьезна и сосредоточенна и по временам осеняла себя крестным знамением. Пинегин был видимо взволнован... Среди присутствующих обращала на себя внимание высокая, строгого вида старуха, очень просто одетая, которая горячо молилась коленопреклоненная. Это была тетка Раисы, сестра ее покойной матери, единственное близкое и любящее Раису существо в этой многолюдной толпе. Умная, деловитая,

хотя едва знавшая грамоте сибирячка, она не доверяла Пинегину и не верила его любви к Раисе, но, обожая племянницу, молчала, видя, как она любит своего избранника, и понимая, что спорить бесполезно. Она надеялась, что Пинегин, хотя из чувства благодарности, не погубит жизни ее любимицы.

Обряд венчания кончен. Молодые обменялись поцелуем. Начались поздравления.

Из церкви все гости отправились в большую квартиру Раисы, где молодые должны были прожить неделю-другую до отъезда за границу. В этой квартире жил прежде сам Коновалов, отделавший свое помещение с кричащей роскошью. Снова поздравляли молодых. Шампанское лилось рекой. Масса дорогих фруктов, конфет, цветов, бонбоньерок... Родственники только восхищались, завидуя и этой роскоши обстановки, с картинами, бронзой, изящными вещами, и обильному угощению, и называли Сашу счастливецом. Дамы уходили из гостиной и осматривали спальню молодых, недавно отделанную по настоянию Олимпиады Васильевны. Находили, что гнездышко очаровательное.

Наконец в двенадцатом часу все разъехались. Старуха тетка давно уже ушла в свою комнату, и молодые остались одни.

«Господи! Как она некрасива!» — думал Пинегин, глядя на это скуластое, широкое лицо, на эту неуклюжую фигуру... А она смотрела на мужа кротким, любящим взглядом своих прекрасных глаз, счастливая и смущенная...

И Пинегин привлек ее в объятия, говоря о своем счастье, о своей любви...

В море!

I

В это погожее майское утро Николай Алексеевич Скворцов, молодой моряк лет двадцати шести, к Пасхе произведенный из мичманов в лейтенанты, проснулся ранее обыкновенного. Несмотря на веселые лучи весеннего солнца, залившие светом небольшую комнату, которую Скворцов нанимал у кронштадтской вдовы-чиновницы Дерюгиной в Галкиной улице, он, проснувшись, не приветствовал утра, как бывало прежде, веселыми, хотя и довольно фальшивыми руладами, а, полежав минуту-другую, присел на кровати с озабоченным видом, раздумывая о своем положении.

В самом деле положение было, как выражался лейтенант, «бамбуковое». В плавание на лето, благодаря правилам ценза (будь он проклят!), его не назначили и, следовательно, морское довольствие тью-тью, сиди на береговом жалованье, а между тем долгов было по самую макушку его довольно-таки бесшабашной головы. Из семидесяти одного рубля

тридцати трех копеек причитавшегося ему жалованья вчера он получил, за вычетом на долги, только пятьдесят с чем-то. Но и из этих пятидесяти он тотчас же роздал неотложных долгов сорок рублей, так что у него на месяц оставалась всего красненькая, одиноко лежавшая в его объемистом, впрочем, бумажнике, полном какими-то записочками, счетами и письмами. Сегодня явятся портной и сапожник, спросит деньги за квартиру г-жа Дерюгина, и на днях надо внести проценты по долгу старухе-ростовщице, супруге отставного комиссара, — иначе, того и гляди, подаст, шельма, вексель ко взысканию. А откуда он достанет денег!?

Но еще хуже долгов была эта маленькая пылкая адмиральша, положительно отравлявшая ему жизнь своей требовательной любовью и сценами ревности. И при мысли об адмиральше, при воспоминании о вчерашней «штормовой» сцене, которую она «закатила», заспанное лицо молодого лейтенанта, с белокурыми включенными волосами и парой темных добродушных глаз, сделалось еще озабоченнее и серьезнее.

«И надо же было ему, дураку, тогда ухаживать за нею и восхищаться ее красотой... Вот и разделявайся теперь, как знаешь!» — прошептал лейтенант с тоскливым, недоумевающим видом человека, попавшего в безвыходное положение.

Одно спасенье — удрать от нее в дальнее плавание, этак годика на два, на три... «Что, мол, делать, назначили, я не виноват!» Но как попасть? Кого просить? Протекции у него никакой: ни важной бабушки, ни хорошенькой тетушки, ни влиятельного адмирала, которые могли бы поехать к начальству и хлопотать за него...

Лейтенант грустно вздохнул и снова стал раздумывать, как бы ему деликатно и тонко объясниться с адмиральшей и сказать, что хоть он к ней и привязан как к другу и навсегда сохранит в сердце своем ее милый образ, как чудное воспоминание, но... «вы понимаете»...

«Черта с два ей скажешь и черта с два она захочет что-нибудь понять, эта необузданная женщина!» — тотчас же прервал свои приятные мечтания молодой человек и даже заоч-

но малодушно струсил при мысли, что бы было после такой декларации. Он вспомнил, какой «порцией» сцен встречена была недавняя слабая его попытка в этом направлении. Несколько грустный от хронического безденежья и непрерывной обязанности ежедневно посещать адмиральшу хоть на «одну минутку», он позволил себе по какому-то подходящему случаю выразить мнение, что любовь не может длиться вечно и что примеров такой любви история не представляет, так — господи боже ты мой! — каким гневным, уничтожающим взглядом своих черных, загоревшихся глаз окинула его адмиральша, точно он сказал нечто чудовищное. Он, лейтенант Скворцов, был бы первейшим негодяем в подлунной, если б разделял такие «гнусные» взгляды. Настоящая любовь должна быть вечная. «Понимаете ли вечная». Любовь не забава, а обязательство, по крайней мере для порядочного человека, ради которого женщина «всем пожертвовала», — значительно подчеркнула адмиральша.

Для избежания грозившего вслед затем «шквала с дождем», как называл лейтенант

Скворцов истерики со слезами, — тем более, что адмирала не было дома, — пришлось поспешно «убрать все паруса» и объяснить, что он говорил так, «вообще», «теоретически», и прильнуть к маленькой, выхоленной, необыкновенно «атласистой», благодаря вазелину, ручке, на мизинце которой сверкал красивый бриллиант, напоминавший о векселе, по которому Скворцов уже год платил «небольшие» проценты.

«Как тут ни вертись, а бамбук!» — размышлял, вотще отыскивая выход, молодой человек. Действительно, ведь она для него «всем пожертвовала» и «испытывала муки», обманывая своего «доброе и благородное Ванечку», адмирала-мужа. И это она не раз говорила. И вдруг он, единственное ее утешение в жизни, которое она любила и мучила за все свои жертвования, так-таки бросит бедную женщину? Ведь в самом деле это было бы довольно-таки подло с его стороны, пожалуй еще даже подлей, чем ставить рога простофиле Ивану Ивановичу, который, по-видимому, ни о чем не догадывается и необыкновенно ласков с лейтенантом.

«Ах, если б она вдруг меня разлюбила! Ах, если б удрать в плавание!»

Но и то, и другое казалось несбыточным.

В таком скорбном состоянии духа у Скворцова явилась идея: сегодня же ехать в Петербург к своему товарищу и другу, лейтенанту Неглинному, с которым он всегда советовался во всех затруднительных случаях жизни, поговорить с ним о своем каторжном положении и занять, если можно, рублей двадцать пять, чтобы заплатить за квартиру и снести проценты.

Эта идея несколько подбодрила упавшего было духом Скворцова. Он спрыгнул с постели, оделся и, просунув голову в двери, выходящие в коридор, крикнул:

— Бубликов!

На зов через минуту явился вестовой Бубликов, заспанный молодой матросик в казенной форменной рубахе, довольно неуклюжий, рыхлый и мягкотелый, с простоватым выражением круглого, простодушного лица деревенского парня, недавно взятого от сохи и еще не оболваненного ни городом, ни службой. Этот Бубликов прослужил у Скворцова

осень и зиму и теперь доживал последние дни, назначенный в плавание, что ему не особенно улыбалось, так как он предпочитал спокойную жизнь вестового на берегу тревожным и муштровке морской, неведомой ему, жизни.

— Продрал глаза, Бубликов? Или еще спишь?

— Никак нет, ваше благородие, — отвечал, ухмыляясь, вестовой.

— Ну, так слушай, что я буду говорить. Живо самовар! Да вычисти хорошенько жилетку, сюртук и штаны... Новые... понял?

— Понял, ваше благородие, — проговорил Бубликов, внимательно и напряженно слушающая.

— А в саквояж... Знаешь саквояж?

— Мешочек такой кожаный, ваше благородие.

— Так в этот самый мешочек положи, братец, чистую сорочку крахмаленную и другую — ночную, полотенце и два носовых платка... Еду в Петербург... Если кто будет спрашивать, скажи, завтра к вечеру приеду назад. Все понял?

— Все понял, ваше благородие. А к чаю плюшку брать?

— А ты думал, что по случаю отъезда плюшки не надо? — рассмеялся Скворцов.

— Точно так. Полагал, что в Питере будете кушать.

— А ты все-таки возьми и себе булку возьми...

Вестовой ушел, и лейтенант тщательно занялся своим туалетом.

В то время, как он, без рубашки, усердно мылил себе шею, в комнату вошла и тотчас же с легким криком выбежала квартирная хозяйка, вдова чиновника, госпожа Дерюгина. Узнавши от вестового, что жилец уезжает в Петербург, она благоразумно спешила получить за квартиру деньги, зная, что после поездки в Петербург господа офицеры всегда бывают без денег.

«Она не ждет разочарования!» — подумал Скворцов и, окончивши мытье и вытиранье, надел чистую рубашку с отложным воротником и стал перед зеркалом, которое отразило свежее, красивое лицо с чуть-чуть вздернутым носом, высоким лбом, мягкими сочными

губами и с тем приятным, добродушным выражением, которое бывает у мягких людей. Он зачесал назад свои белокурые волнистые волосы, расправил небольшую кудрявую бородку, подстриженную а la Henri IV, закрутил маленькие усики, повязал черный регат, облачился в новый сюртук, осторожно принесенный Бубликовым, и заварил чай.

Тук-тук-тук!

— Входите!

И только что высокая и дебелая, еще не старая и довольно видная квартирная хозяйка, прикрывшая свою утреннюю белую кофточку шерстяным платком, собиралась открыть рот, как Скворцов любезно приветствовал ее с добрым утром, сказал ей, что она свежа сегодня, как майская роза, и прибавил:

— Вы, разумеется, за деньгами. Варвара Петровна, но — увы! — денег нет. Всего десять рублей с копейками, честное слово!

— Но ведь вчера... двадцатое число... жалованье, — несколько заикаясь от столь неприятного известия, проговорила дебелая дама, сразу утерев впечатление удовольствия от только что полученного комплимента.

— То было, Варвара Петровна, вчера... Действительно, вчера у меня было нечто вроде жалованья, а сегодня...

И вместо окончания Скворцов меланхолически и протяжно свистнул.

— Но однако, Николай Алексеевич, мне самой нужны деньги...

— Вам-то? Чай, в банке лежат денежки, Варвара Петровна?. Не бойсь, припасено на черный день покойным вашим супругом?

— Вам все шутки, Николай Алексеич, а мне, право, деньги очень нужны, обиженно проговорила г-жа Дерюгина.

— Какие шутки! Не до шуток мне, коли хотите знать, Варвара Петровна!.. Совсем мои дела — табак! Но вы не тревожьтесь. Я надеюсь в Петербурге перехватить у одного приятеля и, коли перехвачу, привезу вам.

— Прокутите, Николай Алексеич.

— Не бойтесь, не прокучу... Ну, а если не достану денег, уж вы не сердитесь, Варвара Петровна, и подождите до следующего двадцатого числа, прошу вас!

— Это верно?

— Так же верно, как то, что я лейтенант

Скворцов.

подавив недовольный вздох и оттого, что не получила денег, и оттого, что жилец не обращает ни малейшего внимания на ее внушительные прелести, хоть и болтает иногда вздор, — Варвара Петровна согласилась подождать и ушла, после чего Скворцов уже гораздо спокойнее выпил два стакана чаю с лимоном и, взглянув на свои серебряные часы, недавно купленные по случаю залога золотых, послал Бубликова за извозчиком.

За пять минут до девяти часов лейтенант был на пристани и, взявши билет, входил на пароход, довольный, что не увидит ни портного, ни сапожника, и главное, на целых два дня по крайней мере избавлен от сцен подозрительной и ревливой адмиральши. «Отдуюсь уж заодно по возвращении!» — подумал он, предчувствуя, что без этого не обойдется. Пожимая руки знакомым офицерам, ехавшим в Петербург просаживать жалованье, Скворцов с веселым видом проходил на корму парохода, как вдруг выражение испуганного изумления омрачило его лицо.

В двух шагах от него на скамейке сидела

адмиральша, — маленькая, интересная брюнетка, в щегольской жакетке, обливавшей красивые формы роскошного бюста и тонкую талию, с пикантным, хорошеньким лицом, казавшимся совсем молодым, свежим и ослепительно белым из-под розовой вуалетки, спущенной до подбородка, на котором задорно чернела крошечная родинка... Веселая и сияющая, по-видимому не испытывающая никаких мук оттого, что обманывает «честного и благородного Ванечку», сидевшего с ней рядом, она разговаривала с каким-то пожилым моряком, щуря глаза на костюмы дам.

— Вот так фунт! — невольно пролепетал на мгновение ошалевший лейтенант, останавливаясь на полном ходу.

Он хотел было дать тягу и вернуться на берег, благо ни адмиральша, ни адмирал его не заметили, но сходня была снята, пароход тронулся, и адмиральша, повернув голову, уж увидела его и, несколько удивленная, сверкнув глазами, приветливо кивнула в ответ на его почтительный поклон, продолжая болтать с пожилым штаб-офицером.

— Ванечка, посмотри, Николай Алексеич здесь, — проговорила самым равнодушным тоном адмиральша, крепко пожимая руку подошедшему с непокрытой головой лейтенанту и легонько подталкивая локтем мужа, погруженного в чтение «Кронштадтского Вестника».

Адмирал, тучный и рыхлый человек лет за пятьдесят, с большим выдававшимся вперед животом, видимо причинявшим ему немало хлопот, поднял свое красноватое, опущенное седой бородой лицо, далеко неказистое, с маленькими заплывшими глазками и толстым, похожим на картофелину, носом, и с ласковой доброй улыбкой протянул свою толстую и широкую, с короткими пальцами, волосатую руку.

— Доброго утра, Николай Алексеич. Что, погулять собрались в Петербург, а? То-то вчера было двадцатое число — сколько мичманов едет! — весело говорил, отдуваясь, адмирал, озирая публику и приветливо отвечая на поклоны. — В Аркадии, конечно, будете сегодня? Там, батенька, говорят, венгерочки, прибавил адмирал, значительно понижая го-

дос. — Вернетесь — расскажите...

— Николай Алексеич, кажется, не охотник до разных твоих Аркадий, вставила адмиральша, чутко прислушивавшаяся к разговору, и сделала гримаску.

— Отчего же, Ниночка, и не развlechься иногда молодому человеку, послушать пение там... неаполитанцев, что ли, — несколько робким тоном возразил адмирал. — Не так ли, Николай Алексеич? В газетах пишут, что неаполитанцы производят фурор.

Лейтенант чувствовал на себе пристальный взгляд адмиральши и, малодушно предавая адмирала, ответил:

— Я, ваше превосходительство, не собираюсь в Аркадию сегодня... Да и, по правде говоря, все эти загородные сады...

— Ишь, и он тебя боится, Ниночка, — перебил адмирал с добродушной усмешкой. — Говорит: «не собираюсь», а сам, я думаю, непременно будет, — шутил старик.

— Что ему бояться меня? — с самым натуральным смехом возразила адмиральша, бросая быстрый взгляд на мужа.

— А мы, батенька, совсем неожиданно со-

брались, — продолжал адмирал, как будто не слыша замечания жены, — меня вызывают в главный штаб, а Ниночка кстати собралась за покупками...

— И Николай Алексеич, кажется, совсем неожиданно собрался? любопытствовала адмиральша.

«Допрашивает!» — подумал Скворцов и в ту же минуту храбро соврал:

— Вчера получил письмо, что заболел один мой товарищ. К нему еду.

— К кому?. Это не секрет?

— К Неглинному, Нина Марковна.

— Так Неглинный болен? Что с ним? — участливо спросил адмирал.

— Инфлюенца, ваше превосходительство...

— Да что ж вы не присаживаетесь к нам, Николай Алексеич? Садитесь около Нины... вот сюда...

И старик хотел было подвинуться, но Скворцов, чувствовавший всегда какую-то неловкость, когда находился в присутствии обоих супругов, просил не беспокоиться и объявил, что он еще не пил чая, — не успел, торопившись на пароход, — и отошел, на-

правляясь в буфет.

— Славный этот Скворцов... Не правда ли, Ниночка? — заметил адмирал.

— Д-д-да, добрый молодой человек... Такой услужливый и так тебе, Ванечка, предан...

— Ну, и тебе, пожалуй, не меньше, если не больше. Ниночка, — проговорил, усмехнувшись, старик и, протяжно вздохнув, принялся за газету.

Адмиральша опять взглянула на мужа. Но на его лице ничего не было заметно, кроме обычного добродушия. Однако адмиральша невольно подумала: к чему это муж в последнее время стал чаще говорить с ней о Скворцове? Неужели он подозревает?

А Скворцов в то время сидел в буфете за стаканом чая, курил папироску за папироской и был в подавленном состоянии духа. Если он не удерет никуда на лето — беда! Адмирал на днях уходит в плавание, адмиральша перебирается в Ораниенбаум на дачу и уж говорила ему о том, как они будут счастливы на свободе. Они будут видеться каждый день и без всякого страха... Они будут ездить иногда в Петербург и завтракать вдвоем... «Благода-

рю покорно!» — не без досады подумал Скворцов.

Он вышел наверх, когда Петербург уже был в виду, и сразу заметил, что адмиральша была не в духе. Когда Скворцов приближался к корме, она встала и, поднимаясь на площадку, где, кроме шкипера и двух рулевых финляндцев, никого не было, — едва приметным движением глаз звала его туда.

Лейтенант спустя минуту был около адмиральши.

— Вы все пили чай? — спросила она тихим голосом, предвещавшим бурю.

— С знакомыми говорил, Нина Марковна, — с напускной беспечностью отвечал Скворцов.

— Зачем вы едете в Петербург?

— Да ведь я уже сказал...

— Ты правду говоришь, Ника?

— О, господи! Вечные подозрения! — вырвалось невольно у Скворцова.

— Ну, ну... не сердись... Прости... я не могу... Ведь ты знаешь, как я тебя люблю! — почти шептала молодая женщина. — Ты знаешь, что я всем для тебя пожертвовала и ни-

кому тебя не уступлю... Слышишь? — прибавила она, бросая на молодого человека нежный, чарующий взгляд...

— Осторожней... могут увидеть, Нина, — произнес Скворцов, подавляя вздох сожаления, что адмиральша его никому не уступит. — И то уж в Кронштадте говорят...

— Пусть говорят... Обо всех говорят... Только бы он не догадывался...

— А если?

— Ну, что ж... Я ему скажу тогда, что люблю тебя... Он даст развод...

«Этого только недоставало!» — подумал в ужасе лейтенант и с жаром проговорил:

— Что ты, что ты, Нина... Разбить жизнь бедному Ивану Ивановичу... Это жестоко!.. Однако пойдем вниз... Сейчас пристаем.

— Ты когда вернешься в Кронштадт? — спрашивала адмиральша, спускаясь на палубу.

— Завтра вечером...

— Сегодня в три будь в Гостином дворе у номера сто сорок четвертого... Слышишь?.

— Но...

— Без «но»... В три часа! — повелительно

шепнула адмиральша и, подойдя к адмиралу, проговорила: — А ведь Николай Алексеич со-знался, Ванечка, что вечером едет в Аркадию...

— То-то и есть... И отлично делает, что едет!.. Пользуйтесь жизнью, батенька, пока молоды, — заметил, вставая, адмирал и ласково потрепал по плечу несколько смущенного лейтенанта.

Пароход подходил к пристани. Проводив до кареты адмиральшу и адмирала, Скворцов взял извозчика и велел везти себя в Офицерскую улицу, где жил Неглинный.

III

Неглинный, моряк-академист, окончивший курс по гидрографическому отделению и мечтавший об ученой карьере, долговязый, худощавый блондин, с бледным истомленным лицом, большими, несколько мечтательными глазами и рыжеватой, взъерошенной головой, сидел за письменным столом, обложенный книгами, готовясь к последнему экзамену, в своей крошечной, очень скромно убранной комнатке, в четвертом этаже, во дворе, — когда к нему шумно влетел Сквор-

цов.

— Ну, брат Вася, совсем бамбук! — проговорил он, пожимая руку товарища.

— Здравствуй. В чем дело? — спросил без особенной тревоги в голосе Неглинный, хорошо знавший экспансивность своего друга.

— Щекотливое, брат, дело... О нем-то я и приехал поговорить с тобой по душе. Одному мне не расхлебать этой каши... Но прежде скажи: есть у тебя деньги?

— Конечно есть. Вчера жалованье получил.

— Да и я получил и все роздал; у меня теперь восемь рублей всех капиталов. За квартиру не отдано, в клубе больше обедать в долг нельзя, одним словом... на мели. Можешь дать две красненькие?

— Могу, — промолвил Неглинный, вынимая из кармана бумажник.

— А у тебя останется?

— Десять рублей... Бери, бери, — проговорил Неглинный, увидав протестующий жест Скворцова. — Я обойдусь. У меня вперед заплачено за комнату и за стол. Чаем и сахаром я тоже запасся на месяц... И табаком тоже...

— Счастливец! А у меня запас одних долгов!

— Вольно же тебе испанского гранда разыгрывать. Цветы, конфеты и все такое к ногам своей мадонны-адмиральши. Так, брат, не сойти тебе с экватора.

— То-то, не сойти... И в плаванье не назначили.

— Да ведь ты сам не хотел в плаванье. Помнишь, зимой говорил?

— То было, Вася, зимой, — ответил, внезапно краснея, Скворцов, — а теперь я хоть в Ледовитый океан...

Неглинный, которому Скворцов раньше, во время первого периода любви, открылся в своих чувствах к прелестной адмиральше, — пристально посмотрел на товарища.

— Об этом самом деле я и приехал посоветоваться с тобой, хоть ты и профан в вопросах любви и совсем не знаешь женщин... Я, брат, хотел бы удрать от мадонны, от Нины Марковны... Что ты таращишь глаза? Понимаешь: удрать, чтоб и след мой простыл...

— Так что же тебе мешает? — спросил Неглинный, не спуская с товарища своих

больших, наивно недоумевающих глаз. — И зачем, скажи на милость, тебе непременно удирать? Надеюсь, ты не оскорбил такую чудную женщину, как Нина Марковна, каким-нибудь пошлым намеком? Ведь ты не лез к ней с своим чувством, зная, что она замужем и никогда не нарушит своего долга, хотя бы и не любила мужа? — продолжал Неглинный, не замечая, по-видимому, иронической улыбки, блуждавшей на лице Скворцова. — Ходи к ней реже, а потом и вовсе зашабашь! Твое безумное увлечение, видно, прошло, а? — закончил он вопросом.

— Что мешает? — начал было Скворцов.

И вместо того, чтобы объяснить, что мешает, совершенно неожиданно воскликнул:

— Какой же ты, однако, простофиля, Вася, хотя умный и ученый человек! Честное слово, простофиля, да еще в квадрате! Положим, я тебе всего не говорил, но думал, что ты все-таки догадываешься...

— О чем? — простодушно спросил Неглинный.

— О, святая наивность! О, пентюх ты этакий! Пойми, что наши отношения зашли

слишком далеко, в этом-то и беда. Понял ты теперь, какая бамбуковая история?. И адмиральша, брат, не мадонна, далеко не мадонна...

Но Неглинный, необыкновенно робкий и застенчивый с женщинами, относившийся к ним с благоговейным и боязливым почтением чистой и целомудренной натуры, казалось, и теперь не вполне понимал, за что Скворцов назвал его простофилей, да еще в квадрате.

— Ты что же... руки целовал, что ли? — промолвил, наконец, недовольным, угрюмым тоном Неглинный, опуская глаза.

При этих словах Скворцов расхохотался.

— Руки?. Стоило бы об этом говорить? Это ведь ты только такой Иосиф Прекрасный, что боишься целовать хорошенькую ручку... Тут, брат, не руки... Тут... Ну, одним словом, у бедного адмирала давно украшение на лбу. Теперь понял?

Неглинного покорило. Он взглянул на Скворцова строгим и вместе с тем испуганным и растерянным взглядом. Такой профанации он не ожидал. В душе его происходил

сложный процесс. Тут было и негодующее порицание друга, и невольная, смутившая его, зависть к счастливцу, обладавшему такой красавицей, к которой и он питал тщательно скрываемое влечение, — и чувство презрительной жалости к женщине, внезапно упавшей в его глазах и оскорбившей его верования в ее добродетель.

Несколько мгновений он сидел подавленный и безмолвный и только ерошил свои вихрастые рыжие волосы.

— Адмирал не догадывается? — наконец, спросил он.

— Кажется, нет.

— И вы с нею обманывали адмирала?

— А то как же?

Неглинный неодобрительно покачал головой и значительно произнес:

— Это, брат, большое свинство. И ты, как мужчина, главный виновник!

— И без тебя знаю, что свинство... Пора с ним прикончить. Особенно смущает меня адмирал... Он так ласков со мной, так внимателен! И на кой только черт дернуло его жениться на молодой!? Знаешь что, Вася, нико-

гда не женись на старости лет... Тут ни гимнастика, ни массаж не помогут. Вот мой адмирал добросовестно каждый день делает упражнения, а к чему все это?. Но только, честное слово, не я главный виновник во всем этом деле... Напрасно ты так меня ви- нишь... Во всяком случае, я достаточно наказан за свое легкомыслие... Вся эта любовная канитель вот где у меня! — прибавил с горячностью Скворцов и довольно энергично хлопнул себя по затылку.

По строгому и снова недоумевающему выражению лица Неглинного можно было легко догадаться, что он решительно не мог сообразить, чтобы любовь, хотя бы и преступная, такой хорошенькой женщины, как адмиральша, могла вызвать столь неблагодарный жест.

И он негодующе промолвил после нескольких секунд добросовестного размышления:

— Ты неблагодарное животное, Скворцов!

— И ты Брут?. Да ты пойми только, что Нина Марковна, хоть и прелестная женщина, но совсем не... не ангел кротости, каким она казалась, пока... я был в периоде обалдения и

благоговейного целования ее атласных рук... Каюсь теперь, что я был болван, не остановившись на этом. И ее не хвалю, что она в ту пору не прогнала меня к черту, а предложила быть ее другом, «как брат и сестра»... Очень заманчиво было... Ну, ля-ля-ля, да ля-ля-ля, все больше о чувствах. Она так хорошо говорила, что чувство свободно и что ревность оскорбительна для обеих сторон... Чтения вдвоем, пока адмирал винтил где-нибудь, поездки в Петербург, поцелуи на положении «брата и сестры»... и... не Иосиф же я, вроде тебя, забыл, что мы «брат и сестра», вляпался, и скоро оказалось, что она ревнива, как Отелло в юбке, и подозрительна, как сыщик... Вечные допросы, сцены, упреки. Где был, что делал? на кого взглянул? Не смей ни с какой особой женского пола разговаривать... И все это, заметь, без малейшего повода, а от горячей любви, как она говорит. В этом-то и загвоздка. Ах, брат, если б она поменьше любила, а то и вовсе разлюбила бы... А то теперь... мертвая петля. Нет никакой возможности отделаться от ее любви... Понимаешь, каково окаянное положение?

— Отчего же ты не объяснишься прямо? — проговорил, несколько смягчась, Неглинный.

— Объясниться? Попробуй-ка... заговори. Ах, Вася, ты и вообразить себе не можешь, что это за подлая штука, когда женщина тебя так полюбит, что каждую минуту готова от любви перервать тебе горло, а ты при этом, как человек, для которого всем пожертвовали, не смеешь слова сказать! Ко всему этому адмиральша весьма решительная женщина, и я, признаться, ее трушу... Ну, и приходится вилять хвостом и ее успокаивать...

— Не любя? — строго спросил Неглинный.

— Да кто ж тебе сказал, что я ее совсем не люблю?. Она такая хорошенькая и, когда не делает сцен, очень мила. Конечно, прежнего безумия нет, и я разжаловал ее из мадонн. А главное, доняла она меня совсем своими притязаниями... измотала душу вконец. Хочется выйти из этого рабского положения, отдохнуть от любовных бурь... Ну их! И перед адмиралом стыдно... Иной раз думаешь: а что, как он догадывается, но, по доброте, делает вид, что ничего не понимает?. Нет, надо все это покончить, а то чем больше в лес, тем

больше дров.

— Конечно, надо покончить, — согласился и Неглинный.

— А как это сделать? Раскинь-ка умом, Вася.

Неглинный целую минуту добросовестно ерошил волосы, тер свой большой лоб, хмурил брови и в конце концов предложил Скворцову написать адмиральше письмо.

— Изложи в нем все основательно, логично и деликатно. Объясни, как нехорошо основывать свое благополучие на несчастьи других... Одним словом, убеди ее... Она поймет...

Скворцов ядовито усмехнулся и безнадежно махнул рукой.

— Убедить? На нее никакая логика не подействует... Она потребует личного объяснения.

— Ну, что же, сходи, объяснись...

— Тогда я, брат, пропал... Ты не знаешь адмиральши... Никто не устоит против ее слез... И, наконец, если она в самом деле так безумно меня любит, как уверяет...

— Так что?

— Как подействует мое письмо?. Если

вдруг что-нибудь случится... Понимаешь? Она — необыкновенно впечатлительная... Ведь тогда я на всю жизнь с укором на совести! — проговорил Скворцов, не желавший брать на душу такого греха.

— Ты думаешь, может что-нибудь случиться? — озабоченно спросил Неглинный.

— Кто ее знает... Она сумасшедшая... Раз уже грозила, что отравится, если я ее разлюблю...

— Однако обманывает же она адмирала и... ничего... переносит это невозможное положение! — заметил Неглинный.

— Но зато как страдает, если бы ты знал! Она часто об этом говорит и всегда называет адмирала «бедный Ванечка»...

— Гм... Стра-да-ет? — протянул Неглинный и прибавил тоном искреннего сожаления: — Бедняжка!.. А я и не догадывался... По виду она такая веселая и радостная... Значит, скрывает...

— То-то и есть... Нет, брат, все эти письма и объяснения ни к черту. Необходимы дипломатические средства...

— Например?

— Удрать от нее, но так, брат, удрать, чтобы дерка эта была, так сказать, не по моей воле. Понимаешь? Если б были деньги, сказал бы, что мифическая тетка саратовская заболела и вызывает меня, и прожил бы где-нибудь месяца три-четыре... все бы лучше было... но на что уедешь? Денег нет.

— И у меня, брат, нет. И достать негде.

— Если бы попасть в дальнее плавание, этак годика на три...

— Отлично бы. Но как попасть?

— Насчет этого я и ломаю голову. «Так, мол, и так, ваше высокопревосходительство, изнываю на берегу и ни разу не ходил в дальнее плаванье!» Как ты думаешь?

— Не выгорит... А вот, брат, мысль! — воскликнул Неглинный. — Попытаюсь-ка я уговорить своего влиятельного дядюшку Осокина, чтобы он попросил министра о тебе. Правда, мой дядя самолюбивый чиновник и не любит хлопотать, если не уверен в успехе, но я попробую... Спрос не беда.

— Вот бы удружил, голубчик! — проговорил Скворцов и весь просиял.

— Да ты не радуйся заранее... Надежда у

меня небольшая... Дядя с нашим министром, кажется, не в особенных ладах... Попробуем!.. Завтра же, после экзамена, пойду к дяде...

— Ах, если б пофартило, а то ведь видишь, какое положение... И адмиральша, и долги...

— Да, брат, скверное твое положение, — участливо проговорил Неглинный. — Я и не думал, что ты так влопался... Ну, как тут, после этого, не бояться женщин! — неожиданно прибавил он и объявил, что ему надо заниматься, — завтра экзамен.

IV

Облегчив свою душу в откровенной беседе с другом, Скворцов ушел от него повеселевший и несколько обнадеженный возможностью удрать в плавание. Чем черт не шутит! Неглинный, конечно, пристанет к дяде, как смола, за друга, и тот, пожалуй, поедет к министру. А дядя Неглинного — особа. Попросит и... министр назначит сверх комплекта... Мало ли было таких примеров!

С такими радужными мыслями Скворцов зашел к Доминику, скромно там позавтракал, затем побывал у замужней сестры и, покорный воле адмиральши, в исходе третьего часа

уже был в Гостином дворе, пробираясь в толпе к условному месту свидания. Он несколько недоумевал, к чему его зовет адмиральша, но дал себе слово вести себя самым покорным образом. Пусть в ней не будет ни малейшего подозрения, что он затевает против нее каверзу. Так-то лучше. И благоразумная осторожность молодого человека была так велика, что, заметив в толпе одну знакомую молодую хорошенькую даму, он нарочно отвернулся, чтобы не подойти к ней, хотя ему и очень хотелось. Адмиральша могла увидеть его разговаривающим с барыней и непременно задала бы ему «бенефис», подозревая, что он приехал в Петербург именно для свидания с ней.

Уж он был в нескольких шагах от магазина, у которого должен был встретиться с адмиральшей, как вдруг столкнулся нос к носу с адмиралом.

— Вы куда, Николай Алексеевич? Что покупать?

— Так, гуляю, — ответил, несколько оторопев, Скворцов.

— А я, батенька, Ниночку отыскиваю. Не

видали ее?

— Нет-с, не видал...

— Так пойдемте вместе ее искать!

И, взявши под руку Скворцова, адмирал направился с ним совсем в противоположную сторону.

Молодой человек облегченно вздохнул.

— А я раньше, чем предполагал, окончил деловые свидания и не знал, что с собой делать, — говорил адмирал, медленно шагая и слегка переваливаясь своим тучным телом, — думаю: пройду-ка в Гостиный двор... верно Ниночка еще там. Авось встречу и отправимся вместе обедать... Проголодался, а она обещала быть в гостинице только к пяти часам... Эка, дам здесь сколько! — прибавил адмирал, озираясь по сторонам. — Ну, а вы что делали? Как здоровье Неглинного?

— Гораздо лучше.

— Ну и слава богу. Очень рад. Что у него было?

— Инфлюенца, ваше превосходительство.

— Ишь, бедняга! Хорошо, что без осложнений, а то осложнения бывают. Вы кланяйтесь от меня да скажите, чтобы берегся, а то долго

ли получить воспаление легких, — участливо говорил адмирал. — Славный он малый, этот Неглинный.

— Превосходный человек, ваше превосходительство! — отвечал Скворцов и подумал: «То-то рвет и мечет теперь адмиральша!»

— Напрасно он только в ученые хочет... Оно, конечно, хорошо и ученым быть, но все-таки... какая ж это карьера для морского офицера?. Смотрите, Николай Алексеевич, вот у витрины блондиночка... ведь недурненькая, а? — понизил голос адмирал, приостанавливаясь и подталкивая Скворцова.

И, поглядев на хорошенькое личико, адмирал прибавил шагу и продолжал:

— Да... не одобряю его выбора... То ли дело быть настоящим моряком, ходить в море... а то что корпеть на берегу за книгами... Вы сказали бы Неглинному, право... Сейчас вот в штабе говорили, что на «Грозном» открывается вакансия. Один офицер списывается по болезни. Вот бы просился... Его наверное назначат. У него протекция — дядя. Уехал бы в Средиземное море, поплавал бы там года два, и никаких инфлюэнций бы не было...

— Я ему передам.

— Вот и вы, бедняга, сидите на берегу, даже и во внутреннее плавание не попали... Впрочем, вы, кажется, очень любите береговую жизнь?. В море, куда-нибудь на простор, в дальнее плавание, вас не тянет, а?.

— Помилуйте, ваше превосходительство. Очень тянет... Я бы с радостью пошел...

При этих словах адмирал взглянул на молодого человека долгим пристальным взглядом. И Скворцову показалось, что в этих маленьких заплывших глазках блеснуло лукавое выражение недоверия.

«Неужели он догадывается!» — в страхе подумал Скворцов.

— С радостью? — повторил адмирал, отводя взгляд. — А я думал, что вы... того... не любите моря...

— Напротив, люблю, ужасно люблю, ваше превосходительство! — с какой-то особенной порывистостью проговорил Скворцов, взглядывая на пухлое, снова, казалось, добродушно спокойное лицо толстяка. И в голове у него блеснула смелая мысль — обратиться за протекцией к этому самому адмиралу, который в

большом фаворе у министра. В самом деле, как ему раньше не пришла в голову такая гениальная комбинация! Если адмирал подозревает его, то, разумеется, будет самым усердным ходатаем, а если ни о чем не догадывается, то все равно по доброте своей не откажет... Вот бы отлично на «Грозный» попасть! Но надо только обработать это дело так, чтобы адмиральша ничего не знала. Необходимо прежде взять с адмирала слово, что он сохранит в абсолютной тайне его просьбу... Мотивировку можно придумать... Кредиторы, что ли, или, наконец, какая-нибудь петербургская дамочка... Что-нибудь в этом роде... Выберу удобный момент завтра же и поговорю с адмиралом у него в кабинете?

Значительно повеселевший молодой человек с какою-то особенной приязнью поглядывал теперь на адмирала, видя в нем своего спасителя.

Они медленно двигались, обходя Гостиный двор и перекидываясь словами, как вдруг адмирал, издали завидя жену своими зоркими морскими глазами, весело воскликнул:

— А вот и Ниночка несется под всеми парусами... Смотрите, как она спешит и озирается... И какая она однако сердитая... Видно, подлещы приказчики раздражили!

И адмирал, пыхтя и подсапывая носом, заторопился навстречу к адмиральше.

V

Адмиральша изумилась, увидавши перед собой мужа и Скворцова, и пытливо взглянула на адмирала.

— А мы, Ниночка, искали тебя, — начал было адмирал.

— Искали? — перебила адмиральша. — Это, конечно, очень любезно, но я ведь сказала, что буду дома к пяти часам.

— Я думал, что ты раньше отделаешься, и мы поскорей поедем обедать. Пришел сюда, гляжу — и Николай Алексеевич здесь...

— А вы зачем сюда попали? — с самым невинным видом обратилась адмиральша к Скворцову.

— Гулял он, Ниночка, и на хорошеньких дам заглядывался... Ну, мы вместе и пошли тебя искать. Думали: авось, встретим... И увидели: глядим, ты идешь такая сердитая... Вер-

но, устала, Ниночка, а?

— Еще бы! побегал бы ты по магазинам, как я... И эти приказчики... За все запрашивают... Однако, что же мы стоим? Мне еще много покупок. Идемте! А вот вам, Николай Алексеевич! — промолвила адмиральша, передавая Скворцову несколько свертков.

После посещения двух-трех лавок, тучный адмирал еле волочил ноги и вдобавок ему страшно хотелось есть. А жена, как нарочно, спешила, переходила из магазина в магазин и все не могла окончить своих покупок. И Иван Иванович, наконец, объявил, что поедет в гостиницу и заморит до обеда червяка, и попросил молодого человека походить с Ниночкой по магазинам и привезти ее в гостиницу.

— За что же, Ванечка, ты наказываешь бедного Николая Алексеича?

— Как наказываю?.

— Посмотри, какое у него вдруг сделалось кислое лицо! — со смехом проговорила адмиральша и прибавила: — Идите, идите, Николай Алексеич. Я и без вас обойдусь.

— Молодой человек обязан угождать дамам. По крайней мере, нас в старину так учи-

ли... Так уж вы, Николай Алексеевич, не бунтуйте и останьтесь с Ниночкой, помогите ей и милости просим вместе пообедать. А после обеда мы вас не задержим: не опоздаете в Аркадию, — шутливо прибавил адмирал.

Скворцов поблагодарил, но от приглашения отказался. Он сегодня обедает у сестры.

— Могли бы завтра у ней обедать, — заметила адмиральша, бросая значительный взгляд на Скворцова, который говорил: «обедай у нас!»

— Извините, Нина Марковна, я дал слово, — отважно соврал молодой человек.

— Дали слово, так надо держать. Слово — великое дело, Николай Алексеич, сентенциозно промолвил адмирал. — Но, по крайней мере, до обеда вы будете кавалером Ниночки, не правда ли?

Несколько удивленный такой настойчивой просьбой и вообще сбитый с толку отношением адмирала, который, казалось, несмотря на свою кажущуюся простоту, что-то подозревал, — Скворцов поспешил ответить, стараясь скрыть смущение, что он охотно останется около Нины Марковны до поло-

вины шестого. Сестра обедает в шесть часов.

— Ну, и отлично. Привезите Ниночку ко мне и не давайте приказчикам ее обижать, — добродушно сказал Иван Иванович и, пожав крепко руку молодого человека и приветливо кивнув головой жене, сел на извозчика и уехал.

— Наконец-то! — шепнула адмиральша и вся просияла.

И, подхватив под руку Скворцова, машинально глядевшего вслед уезжавшему адмиралу с каким-то чувством виноватости, она проговорила своим мягким, бархатным голосом:

— Пойдем отсюда куда-нибудь. Здесь толкотня.

— А покупки?

— Никаких больше нет, я все сделала. Это я нарочно, чтоб остаться с тобой, — прибавила она, лукаво поводя взглядом.

Они вышли из Гостиного двора и, оба молодые, свежие и красивые, шли по Садовой, рука об руку, точно муж и жена.

— Куда мы пойдем? — спросил Скворцов.

— Куда хочешь. А то не поедем ли на ост-

рова? Возьмем карету и покатаемся... Хочешь?

— Что ты? — испуганно воскликнул Скворцов. — Ведь поздно — четыре часа, а к пяти ты обещала вернуться домой. Будь благоразумнее.

— И то правда... поздно... А ведь я рассчитывала на эту прогулку. Теперь так хорошо на островах. Эта встреча с Ванечкой все расстроила! — капризно, с видом балованного ребенка, проговорила Нина Марковна. — Но все равно... Я так рада, что с тобой... Где ты был? Что делал все утро? Рассказывай!

Скворцов, добросовестно дал отчет о проведенном утре, и адмиральша спросила:

— Как это ты встретился с мужем? Он не догадался, зачем ты в Гостином дворе? Конечно, нет! Он не особенно догадливый, этот бедный Ванечка... Как тяжело его обманывать! — вздохнула она, и ее подвижное хорошенькое личико на секунду омрачилось. — А я тебя ждала... чего только не передумала... Думала, что ты вдруг меня разлюбил и не придешь... Какие глупости лезут в голову, когда любишь так, как я тебя люблю... Не правда ли, глупо-

сти? Ведь ты любишь свою Ниночку!.

Голос ее звучал чарующей нежностью, и глаза были полны выражением страстной любви.

— Разве можно не любить такую обворожительную женщину! — промолвил тронутый этой любовью молодой человек.

— Но ты, Ника, кажется, не рад, что мы одни? Твои мысли где-то далеко? допрашивала Нина Марковна, по-видимому, не вполне удовлетворенная краткостью уверений своего любовника, и с подозрительной пытливостью взглянула ему в глаза.

— Бог с тобой!.. С чего ты взяла? — несколько смущенно проговорил молодой человек, мысли которого, действительно, не вполне принадлежали адмиральше.

— У тебя сегодня такое невеселое лицо... Тебя точно что-то гнетет... Что с тобой, мой ненаглядный?

Скворцов решил сказать половину правды и проговорил:

— Знаешь, что меня беспокоит?

— Что, милый? — тревожно спросила Нина Марковна.

— Мне кажется, что Иван Иванович догадывается о нашей любви.

— Только-то?. Успокойся. Бедный Ванечка ничего не подозревает.

— Ты уверена?

— Мне ли его не знать? Я сама прежде думала, но убедилась, что мои тревоги напрасны. Он убежден, что мы дружны, что ты мой поклонник, но что больше ничего нет... И он очень привязан к тебе. Когда тебя нет день, другой, он всегда спрашивает: отчего тебя нет? По счастью, бедный Ванечка совсем не ревнивый, и если б ты знал, какой добрый и хороший человек...

— И как безгранично любит тебя, — вставил Скворцов.

— И я его очень люблю и уважаю, как прелестного человека... деликатного, который балует меня... Да, люблю его, как отца... Нет, Ника, он не ревнует... Да и не имеет права. Несмотря на свою привязанность, ведь он понимает, что виноват передо мной...

— Он виноват?

— Глупый! Разве не понимаешь? Он женился, когда ему было сорок пять, а мне... два-

дцать, — проговорила, слегка запнувшись, Нина Марковна, так как утаила три года. — Теперь ему пятьдесят пять, а мне... тридцать. Я — молода; он — старик. Он совсем отжил и не знает страсти, а мне еще жить хочется... И разве я виновата, что полюбила тебя?

И, странное дело, несмотря на решение Скворцова покончить с этой связью, слова Нины Марковны радовали его.

— Надеюсь, и ты, Ника, только мой и ничей больше? — продолжала адмиральша. — Ты не обманываешь меня?

Скворцов уже боялся, как бы эта мирная прогулка не омрачилась вспышкой ревности и сценой. Обыкновенно сцены начинались именно с такого вопроса, и подозрительная адмиральша, возбуждавшаяся своими же словами, которые диктовало ей фантастическое воображение, приходила в то состояние подозрительной, слепой ревности, которое разрешалось гневными, самыми невозможными обвинениями и упреками, слезами и мольбой, рядом с угрозами и требованиями клятв именем «покойной матери» в том, что любимый человек любит ее безгранично и нахо-

дится, так сказать, в полной ее собственности, весь, со всеми своими помышлениями, и должен вечно помнить, что она для него всем пожертвовала. Ах, он хорошо знал эти сцены и хорошо знал свое подневольное положение, и все это, главным образом, и отравляло его любовь. Знал он, что после всех таких бурь и отчаянных клятв и именем «покойной матери», и именем здравствующего отца, происходила финальная сцена примирения в таких жгучих, необузданных поцелуях (если тому не мешали обстоятельства), что он уходил хотя и счастливый, но несколько утомленный и от этих бурных шквалов ревности, и от такого избытка страстной любви.

Была ли сегодня Нина Марковна в «штилевом» настроении, или улица несколько сдерживала ее ревнивые чувства, но только она на этот раз удовлетворилась простым уверением Скворцова, что кроме Нины Марковны для него не существует на свете женщин.

Они уже незаметно прошли всю Садовую. Радостная и довольная Нина Марковна говорила о близости счастливого времени, когда они могут на даче проводить целые дни, не

тяготясь присутствием Ванечки.

— И знаешь что? — неожиданно прибавила она, — ты живи у меня на даче... К чему тебе ездить из Кронштадта?

— Что ты, с ума сошла, Нина? — испуганно воскликнул Скворцов.

Нина Марковна усмехнулась.

— Ты знаешь, кто подал эту счастливую мысль?

— Кто?

— Ванечка... Он еще сегодня говорил мне об этом, жалел, что ты будешь жить в пыльном, душном Кронштадте, и сам тебе предложил перебраться на дачу... Ты разве не рад этому?

— Иван Иванович предложил? — изумился Скворцов, решительно не понимавший, до чего может идти простота адмирала. — Ты говоришь, Иван Иванович? — повторил он.

— Чему ты так удивляешься?

— Но это невозможно... Это скандал... Я ни за что не перееду к тебе. Я не хочу тебя компрометировать. И, наконец, разве можно так злоупотреблять доверием Ивана Ивановича?

Адмиральша сделала недовольную гримасу.

ку. Напрасно Ника так боится всего. И с каких пор он сделался таким осторожным?

Однако она не настаивала на этот раз. Он может приезжать и иногда оставаться. Не правда ли?

«Я, может быть, буду далеко в это время!» — подумал Скворцов и, вероятно вследствие этого нежно ответил, что, конечно, будет приезжать так часто, как только возможно.

— Однако, уже без четверти пять... Едем!

Они взяли извозчика и поехали в гостиницу.

— И ты думаешь, что мы так и расстанемся, а я тебя оставлю одного, чтоб ты поехал в Аркадию? — вдруг сказала Нина Марковна.

— Но я не собираюсь в Аркадию... Я вечер буду у сестры.

— Нет, ты будешь со мной! — радостно воскликнула Нина Марковна. — У меня явился великолепный план. Это вместо утренней поездки. Я останусь в Петербурге. Скажу Ванечке, что не успела все купить, что нужно. Мы проведем вечер одни... Совсем одни... Ведь это так редко бывает... Поедем на острова, оттуда

ко мне чай пить.

— А Иван Иванович?

— Ванечка сегодня вечером уезжает. Ему непременно надо быть в Кронштадте завтра рано утром. Ну что, доволен, что я останусь? Доволен? — понижая голос, полный страсти, говорила молодая женщина, прижимаясь к молодому человеку.

Она была очаровательна, эта маленькая, ослепительно свежая женщина, с ласкающим взглядом своих черных блестящих глаз, изящная, благоухающая, такая любящая и кроткая в эту минуту, что Скворцов, собиравшийся так коварно бежать от нее в дальние моря, почувствовал угрызения совести. И, охваченный чувством жалости и нежности и внезапным приливом молодой страсти, он глядел на нее загоревшимися, влюбленными глазами, которые красноречивее слов говорили, доволен ли он.

— Так будь у меня в восемь часов, ни минуткой позже, — весело говорила Нина Марковна. — Найми карету... Смотри же, жду тебя, мой желанный, прибавила она нежным шепотом, прощаясь со Скворцовым у подъез-

да гостиницы.

В означенный час он был у нее в номере с букетом цветов и конфетами. Они тотчас же поехали на острова, обменявшись долгим поцелуем. В карете адмиральша сняла перчатки. Она знала, что «Ника» любит ее маленькие ручки. И он мог, сколько угодно, целовать их. На островах они пробыли недолго. Обоим им казалось, что сыро, и тянуло домой. И дорогой молодой человек, без всякого вызова со стороны адмиральши, расточал клятвы и целовал ее. Разговор как-то не вязался и, к удивлению Скворцова, сегодня Нина Марковна не начинала сцен только осведомилась, кто был у его сестры, и даже поверила, что Скворцов не видал там ни одной посторонней особы женского пола. Она не говорила и о том, что всем для него пожертвовала, и только глядела на молодого лейтенанта с восторженной любовью... Они вернулись в гостиницу в десятом часу и весело пили чай...

И молодой человек малодушно забыл и адмирала, и ревнивые шквалы с дождем, и свое рабство, и свое решение, чувствуя себя в полной власти этой женщины...

VI

За полночь возвращался Скворцов к Неглинному и был в задумчивом настроении. Он всю дорогу анализировал свои чувства к адмиральше и, неблагодарный, думал теперь о ней без влюбленной восторженности. Она ему, конечно, нравится, эта обольстительная женщина, но все-таки необходимо вырваться из-под ее дьявольских чар во что бы то ни стало. Он сознавал, что его любовь не «настоящая». Обязательно надо удирать к общему благополучию. Любовь адмиральши в разлуке, наверное, пройдет; Нина полюбит другого и будет счастлива, а он, наконец, избавится от этого кошмара и будет свободен, как ветер...

«Да и что такое, собственно говоря, любовь? — задал себе вопрос молодой человек. — Ведь вот, всего несколько минут тому назад, он совершенно искренно клялся в любви, а теперь чувствует какую-то унижительность этой любви и готов с радостью разорвать ее цепи».

Размышлял он и об адмирале и, обманывая его, в то же время жалел. Неужели, в са-

мом деле, он — такой простофиля, как говорит Нина Марковна, что даже зовет жить на дачу? Возможно ли, чтобы он не догадывался?. И у него любовь к этой женщине... и какая еще любовь!

Неглинный еще занимался, когда к нему вошел Скворцов. Диван для него уже был послан, и молодой человек с удовольствием взглянул на него. Он пожал руку товарища и, раздеваясь, спросил:

— Вася! Что такое, по-твоему, истинная любовь к женщине, а?

Неглинный поднял с книги усталое бледное лицо и удивленно взглянул на Скворцова своими вдумчивыми покрасневшими глазами. По обыкновению, прежде чем решить такой неожиданный вопрос, имевший мало общего с небесной механикой, которую он штудировал, Неглинный стал ерошить длинными худыми пальцами свои рыжие волосы и, после минуты-другой раздумья, во время которой Скворцов успел уже юркнуть под одеяло, — заговорил слегка докторальным тоном, точно он отвечал на экзамене:

— Истинная любовь есть полное гармони-

ческое сочетание духовной и физической привязанности. Необходимо любить женщину и как человека, и как женщину. Если доминирует лишь одна духовная сторона, это, в некотором роде, уродство, и женщина должна быть несчастна... От этого, вероятно, жены многих великих ученых убегали от своих мужей. А если в любви преобладает одно лишь животное чувство, это, по-моему, гнусно и должно унижать достоинство порядочной женщины.

— Ну, значит, я порядочная скотина, Вася! — проговорил Скворцов, протягиваясь.

Неглинный не противоречил и снова опустил глаза на книгу.

— Но только ты, брат, слишком теоретичен и не знаешь женщин. Есть развитые и умные женщины, которые любят красивых балбесов без всякого внутреннего содержания... Мало ли таких жен... И они нисколько не считают себя униженными... Напротив, счастливы... Ты, верно, никогда не женишься!

— Пока не думаю.

— Трудно, брат, найти такой идеал любви...

— Можно стремиться к его приближению. Однако, не мешай!.

Некоторое время Скворцов молчал и снова спросил:

— Ты, Вася, любил когда-нибудь?

— Любил, — отвечал, несколько конфузясь, Неглинный.

— Замужнюю или девушку?

— Да ты чего допрашиваешь!.. Ну, замужнюю.

— И она тебя любила?

— Она и не знала, что я ее люблю...

— Зачем же ты не сказал ей?.

— К чему смущать несвободную женщину... И вообще, знаешь ли, я как-то боюсь их... Какое имею я право навязываться с своею любовью?

— Ты, Вася, фефела порядочная! — рассмеялся Скворцов. — Играя в молчанку, ты никогда не вызовешь любви... Она тебя любила?

— Не думаю. Но расположена была, это несомненно.

— И ты все молчал?. Даже и рук не целовал?

— Циник!.. Не говори пошлостей!. — вос-

кликнул Неглинный.

И, внезапно оживляясь, проговорил:

— Я ее так любил целых три года, Коля, что ради нее готов был перенести какие угодно страдания. Ах, что это за светлое, прелестное создание!.. А ты, свинья: «целовал ли руки?»

«Совсем фефела!» — подумал про себя Скворцов и спросил:

— Хорошенькая?

— Мне казалось в то время, что краше нее нет женщины на свете...

— А муж молодой или старик? Каков он?.

— Муж? — переспросил Неглинный, и Скворцов увидал с дивана, что лицо его друга омрачилось. — Я не стану о нем говорить, так как могу быть пристрастным. Мне он не нравится. Он был молодой и очень красивый, — прибавил Неглинный.

— И она его любила?

— Кажется, не очень... Едва ли она счастлива.

— Ты продолжаешь бывать у них?

— Их здесь нет. Они три года как уехали...

— Д-д-да, — протянул Скворцов, — это была, значит, настоящая любовь... Такой беско-

рыстной, возвышенной любви я еще не испытал... А все-таки, Вася, ты какой-то пентюх с женщинами... Боишься их, молчишь, краснеешь, точно красная девица... Так, братец, никакая женщина тебя не полюбит.

— И пусть, — промолвил угрюмо Неглинный...

— И, несмотря на свои возвышенные идеалы, ты женишься лет в сорок на какой-нибудь кухарке...

— Ну, это ты, брат, врешь...

Несколько времени длилось молчание, как вдруг Скворцов, уже начавший дремать, проговорил:

— Чуть было не забыл сказать тебе самое важное. Сегодня Иван Иванович говорил, что на «Грозном» вакансия, и просил передать тебе, чтобы ты бросил ученую карьеру и присился на «Грозный»...

— Иван Иванович разве в Петербурге?

— Да...

— И Нина Марковна?

— И Нина Марковна.

— И ты у них пропадал?

— У них, — виновато промолвил Скворцов.

— Хорош! Говорил: «отравляет жизнь», а сам вечера с ней просиживает...

— Нельзя было отказаться. Таковую, брат, надо вести линию... Так слушай: ты, конечно, ученой карьеры, ради Ивана Ивановича, не бросишь и в море не пойдешь?

— Разумеется.

— Так скажи своему дяде, чтобы попросил министра назначить меня на «Грозный». И упроси его съездить скорей, пока никого не назначили. А я, в свою очередь, попрошу похлопотать, знаешь ли кого?

— Кого?

— Ивана Ивановича!.. Что вытаращил глаза? Разве не идея?

Неглинный улыбнулся.

— А Нина Марковна как?

— Она не узнает. Я попрошу адмирала держать мою просьбу в глубочайшей тайне.

— Чем же ты объяснишь эту таинственность?

— Как-нибудь да объясню. А он, наверное, постарается, чтобы я ушел в плавание. Пони-маешь, почему? Не правда ли, идея?

— Да ведь после он может сказать Нине

Марковне.

— После, когда я буду отсюда далеко, пусть говорит.

— Однако, ты — гусь лапчатый! — промолвил Неглинный. — Ишь, что выдумал!

— Поневоле выдумаешь, когда положение — «бамбук»... Да вот что еще. Если встретишься с адмиралом или с адмиральшей — не забудь, что у тебя была инфлюенца.

— Это еще что?

Скворцов объяснил, в чем дело, и, пожелав другу «успешно зубрить», повернулся на другой бок и скоро заснул крепким сном.

На другой день он с двенадцатичасовым пароходом отправился в Кронштадт. Адмиральша уехала раньше.

VII

Просить человека, которого втайне бессовестно обманываешь, об услуге, хотя бы и с добрым намерением покончить с обманом, оказалось вовсе не так легко и просто, как легкомысленно предполагал Скворцов. Его очень смущало и самое обращение с просьбой к этому добродушному и, по-видимому, простоватому толстяку Ивану Ивановичу и,

главным образом, объяснение, которое необходимо сочинить по поводу сохранения в тайне его просьбы. Положим, оно уже придумано и, кажется, ничего себе, но поверит ли ему адмирал и не будет ли удивлен, что молодой человек скрывает это намерение от своего «друга» Нины Марковны? И что, если адмирал, который, по уверению жены, находится о таком блаженном неведении относительно характера их дружбы, что даже собирается пригласить его жить вместе с Ниной Марковной на даче, — вдруг догадается, в чем дело? Тогда... прощай обычное добродушное настроение Ивана Ивановича! Семейное счастье и вера его в любимую «Ниночку» будут омрачены подозрениями. Бедный адмирал!

«И на кой черт этот славный Иван Иванович сделал глупость, женившись в пожилых годах на такой пылкой женщине, как Нина Марковна!» — не без досады подумал вслух Скворцов.

Все эти соображения волновали теперь молодого человека, и он, вернувшись в Кронштадт, не решился, как хотел, в тот же день переговорить с адмиралом, хотя и представ-

лялся для этого удобный случай. Он встретил адмирала на улице, близ Петровской пристани, и мог без помехи изложить свою просьбу. Адмирал, только что вернувшийся с своего флагманского броненосца, был, по-видимому, в хорошем расположении духа и, по обыкновению, ласков и приветлив. Но у Скворцова не хватило смелости заговорить о своем деле. Вдобавок, Иван Иванович, пригласивший молодого человека пройтись с ним, шутливо расспрашивал о «венгерочках» в Аркадии и, между прочим, заметил, что и Ниночка вчера осталась в Петербурге и только сегодня вернулась с девятичасовым пароходом.

— Портниху ждала и кое-какие покупки вечером делала. Жаль, что вы не знали об этом, Николай Алексеич, а то бы зашли к ней! Ниночка и не проскучала бы вчера! — прибавил адмирал.

Вспомнив вчерашний вечер, молодой лейтенант не без труда поборол смущение и поспешил откланяться адмиралу.

— А вы разве не к нам?

— Нет, ваше превосходительство... Мне надо в экипаж.

— Так обедать пожалуйста.

— К сожалению, не могу, ваше превосходительство!

— Да что это вы все, батенька: не могу, да не могу? Какие у вас такие дела? — спрашивал Иван Иванович, взглядывая на смутившего лейтенанта и тотчас же отводя взгляд. — Уж не завели ли вы какую-нибудь интрижку, а?. Ну, ну, как знаете... Не забывайте только, дорогой Николай Алексеич, что я и Ниночка всегда рады вас видеть и любим вас! — с чувством прибавил адмирал, крепко пожимая Скворцову руку.

Это ласковое и доверчивое отношение добряка Ивана Ивановича было самым ужасным наказанием для Скворцова и всегда терзало его совесть — увы! — до тех только пор, пока он не оставался наедине с адмиральшей, и совесть куда-то пропадала, побежденная чарам хорошенькой молодой женщины.

«Нет, довольно всей этой лжи... Довольно! Ах, если б Неглинный упросил своего дядю похлопотать?» — подумал Скворцов, направляясь обедать в морской клуб.

Он там пробыл до вечера, чтобы не застать

дома кредиторов, — играл на бильярде, долго читал в библиотеке и вернулся домой в меланхолическом настроении.

Заспанный Бубликов, отворивший ему двери, тотчас же доложил, что приходили портной и сапожник и какая-то старушка, «вроде бытто немки».

Лейтенант сообразил, что это комиссарская вдова.

— Ну, и что же, говорили они что-нибудь? — спрашивал Скворцов вестового, входя в свою комнату, казавшуюся ему теперь мрачной и постылой.

— Точно так, ваше благородие. Очень осерчавши были портной с сапожником. «Некогда, — сказывали, — нам ходить здря. Мы, говорят, управу найдем», ваше благородие...

— А старушка что говорила?

— Та, ваше благородие, вежливая старушка, с обращением... Тихо этак, по-благородному, приказала доложить вашему благородию, что через неделю «строк». «Так и скажи, говорит, голубчик, своему барину, что „строк“ и дальше я, говорит, ждать никак не согласна. Пусть, говорит, доставит весь капитал»... А

еще, ваше благородие, адмиральский вестовой прибежал... Наказывал беспременно, мол, быть к адмиральше. «Тую ж минуту чтобы шел!»

— А телеграммы не было?

— Точно так, ваше благородие, депеш принесли...

— Что ж ты, дурак, не даешь ее? Где она?

Бубликов торопливо достал из кармана штанов телеграмму и, вручив ее барину, отошел к дверям. Несмотря на полученного «дурака», он участливо поглядывал на лейтенанта, которому, как он выражался, «не давали передохнуть» из-за денег.

Скворцов пробежал телеграмму, и лицо его омрачилось. Неглинный извещал, что дядя наотрез отказался хлопотать.

— Самоварчик не прикажете ли, ваше благородие? — с ласковым добродушием осведомился вестовой.

— Убирайся к черту с своим самоварчиком! — вспылил раздраженный лейтенант.

«Нехороший, значит, депеш!» — сообразил Бубликов и мигом исчез.

А Скворцов заходил взад и вперед по ком-

нате беспокойными, нервными шагами, раздумывая о своем невозможном положении, в которое он стал, благодаря этой проклятой любви.

VIII

На другой день, в исходе девятого часа славного солнечного майского утра, когда адмиральша сладко спала в своей роскошной, кокетливо убранной, спальне, Скворцов, свежий, взволнованный и смущенный, переступил порог небольшого, сиявшего чистотой и порядком, уютного кабинета адмирала. Маленькая дверь в глубине вела в его крошечную спальню.

Адмирал, по морской привычке рано вставший, давно уже, после холодного душа, добросовестно проделал свои ежедневные полчасовые гимнастические упражнения с гириями, не приносившими, по мнению адмиральши, никакой пользы и только напрасно утомлявшими «Ванечку», выпил свои два стакана горячего чая и в белом расстегнутом кителе, в петлице которого блеснул Георгий, полученный за храбрость, сидел у письменного стола, в своем большом плетеном кресле, по-

груженный в чтение книги, которую он держал на своем огромном, слегка колыхавшемся, животе. Все окна в кабинете были открыты настежь, — тучный адмирал не выносил жары. Две канарейки заливались в перебой, и адмирал, несколько тугой на одно ухо, не слышал, как вошел Скворцов.

На секунду-другую молодой человек остановился в нерешительности у дверей, взглядывая на добродушное, не особенно казистое, рыхлое лицо адмирала, с толстым небольшим носом, с мясистыми красными щеками, которые свободно покоились в белоснежных стоячих воротничках рубашки, — с расчесанной седой бородой и большой лысиной, часть которой была прикрыта прядкой жидких волос. Наконец, он решительно, словно в какой-то отваге отчаяния, двинулся вперед...

— А, Николай Алексеич, здравствуйте, батенька, — воскликнул адмирал, видимо удивленный появлением Скворцова в такой ранний час и заметивший, что молодой человек взволнован. — Садитесь вот сюда, поближе ко мне, — продолжал Иван Иванович, пожимая Скворцову руку и сам почему-то вдруг завол-

новавшийся. Что, дорогой мой, скажете хорошенького? — спросил он со своей обычной приветливостью, но в маленьких глазах его чувствовалось какое-то беспокойство и в громком, слегка крикливом его голосе, показалось Скворцову, звучала тревожная нотка.

— Я к вам с большой просьбой, ваше превосходительство...

— В чем дело? Вы знаете, я всегда охотно готов служить вам, чем могу, отвечал адмирал, и голос его как будто стал спокойнее, и на лице снова появилось обычное выражение добродушия.

— Но прежде, чем объяснить мою просьбу, я должен просить вас о сохранении ее в секрете, в абсолютном секрете. Чтобы решительно никто не знал, подчеркнул Скворцов, внезапно краснея.

— Будьте покойны, мой друг. Даже Ниночке не скажу! — значительно промолвил адмирал, бросая быстрый и снова беспокойный взгляд на молодого человека.

— Не откажите, ваше превосходительство, попросить министра, если только это вас не стеснит, чтобы меня назначили на «Гроз-

ный»... Я ни разу не был в дальнем плавании и имею на него полное право...

По-видимому, адмирал менее всего ожидал подобной просьбы. Она до того изумила его, что он посмотрел во все глаза на Скворцова и словно бы невольно воскликнул:

— Как? Вы хотите в дальнейшее плавание, Николай Алексеич?

К великому удивлению Скворцова, в этом вопросе звучало не радостное изумление, а, напротив, тревожное, точно адмиралу было неприятно, что Скворцов просится в дальнейшее плавание.

Молодой человек совсем был сбит с толку и смутился еще более. Он понял, что адмирал о чем-то догадывается, и чувствовал, что разговор принимает щекотливое направление. И, желая во что бы то ни стало отвлечь подозрение старика, он проговорил искусственно обиженным тоном, стараясь скрыть охватившее его жуткое чувство:

— Вас удивила моя просьба, ваше превосходительство? Вы думаете, что я уж такой скверный офицер, что и не смею проситься в дальнейшее плавание?

— Что вы, что вы, Николай Алексеич? Я вас считаю бравым офицером и ваше желание вполне законным... Как молодому человеку не стремиться в плавание? И если я в первую минуту, знаете ли, несколько ошалел, то простите эгоизму старика. Вы ведь знаете, как искренно я к вам расположен, и поймете, как мне и Ниночке было бы жаль надолго лишиться вашего общества. Мы оба так к вам привыкли, — прибавил адмирал, в свою очередь, несколько смущенный.

Тронутый выражением такой незаслуженной и, казалось Скворцову, украденной им привязанности адмирала, которой он так подло пользовался, молодой человек, не находя слов, наклонил голову в знак благодарности и не смел смотреть адмиралу в глаза.

А адмирал, между тем, продолжал:

— И кроме того, меня несколько удивило ваше желание, Николай Алексеич, еще и потому, что вы, сколько помнится, еще зимой говорили, что ваши семейные обстоятельства мешают вам надолго оставлять Россию? Они, значит, изменились? Или, быть может, есть и другие важные причины, заставляющие вас

облекать в такую таинственность вашу просьбу?. Простите, что я вас спрашиваю... Поверьте, друг мой, что это не праздное любопытство, — с кроткою ласковостью говорил адмирал, взглядывая на молодого человека своими маленькими умными глазами, полными теперь выражения какого-то грустного раздумья.

— Да, есть важные причины, ваше превосходительство. Мне необходимо уехать во что бы то ни стало! — промолвил Скворцов.

— Догадываюсь... Вы, верно, полюбили какую-нибудь девушку или женщину и, как порядочный человек, хотите бежать, чтобы не поддаться искушению любви и не искушать ваш предмет? Не так ли?

— Именно так, ваше превосходительство, — глухо прошептал молодой человек. — Я полюбил одну девушку и так как жениться не могу, то должен уехать...

Адмирал пристально посмотрел на Скворцова, и по лицу его скользнула грустная усмешка. Несколько мгновений он молчал, сосредоточенный и задумчивый, закрыв глаза. Казалось, в нем происходила какая-то ду-

шевная борьба. И Скворцову было жутко. Он понимал, что адмирал не верит в выдуманную им девушку, и ждал, как виноватый, чего-то страшного и необыкновенно тяжелого. Теперь он ясно видел, что этот добродушный толстяк далеко не прост и не в таком блаженном неведении, как думает Нина Марковна.

— Послушайте, Николай Алексеич, — произнес, наконец, адмирал, понижая голос, — и я, в свою очередь, попрошу вас сохранить в тайне то, что я сейчас вам скажу. Ниночка никогда не должна этого знать... Слышите? — значительно и строго прибавил адмирал.

— Слушаю, ваше превосходительство, — пролепетал Скворцов.

— К чему нам играть комедию, Николай Алексеич?. Я ведь все знаю. Знаю, что вы любите Ниночку и что она любит вас, — решительно сказал Иван Иванович.

«Вот оно... начинается!» — подумал Скворцов, испытывая чувство страха и в то же время облегчения, и еще ниже опуская свою виноватую голову.

— Я понимаю... Вас, как порядочного человека, мучает обман, и вы хотите бежать от

него?. Я не ошибся в вас... Я ждал этого... Но только напрасно вы думали, что обманываете меня... Да и вы еще так молоды и неиспорчены, что не умеете скрывать своих чувств... Их можно читать на вашем лице как по книге... И напрасно вы тревожитесь за меня. Я давно вижу вашу любовь к Ниночке и хорошо понимаю, что это — счастливая любовь, а не дружба... Да и какая может быть дружба, когда вы оба молоды, красивы и полны жизни?. Так послушайте, Николай Алексеич, вам нет причины бежать. Оставайтесь, прошу вас, и не думайте обо мне. Ниночка вас так любит, и разлука с вами причинит ей большое горе. Пусть останется все по-старому, как было, и пусть Ниночка думает, что я ни о чем не догадываюсь... Ей все-таки легче... А я... я счастлив ее поздним счастьем и рад, что она полюбила такого честного и милого человека, как вы... Я знаю, вы — не хлыщ и не станете компрометировать ее имени...

С невольным изумлением Скворцов, никак не ожидавший ничего подобного, поднял глаза на адмирала и был поражен выражением его лица. Оно было какое-то проникновенное

и светилося необыкновенной ласковой добротой. И маленькие его глаза так кротко серьезно глядели на любовника жены.

— Вы не ожидали такого объяснения, Николай Алексеич? — с тихой грустной улыбкой продолжал Иван Иванович. — В самом деле, жена любит другого, обманывает мужа, а он вместо того, что обыкновенно делают в подобных случаях обманутые мужья, просит вас не оставлять ее?. Следовало бы прогнать неверную жену или, по крайней мере, отравлять ей жизнь?. А вас — выгнать из дому? Не вызывать же мне, на старости лет, вас на дуэль?. Так, кажется, следует по общепринятым правилам? — усмехнулся старик. — А я, вот, привык жить по собственным правилам, так, как совесть велит... А совесть мне говорит, что я один безмерно виноват перед бедной Ниночкой и пожал то, что посеял... Да-с!

Адмирал вытер платком свое вспотевшее лицо и продолжал свою исповедь:

— Разве я имел право после сорока пяти лет довольно гнусно проведенной жизни жениться на молодом и чистом создании?. А я женился, влюбившись в Ниночку, на склоне

лет, со всей силой запоздавшей страсти... Точно это оправдание! Я боготворил ее и, думая только о себе, умолял ее быть моей женой... Мог ведь я, кажется, сообразить, что любить такого старого уroda, как я, собственно говоря, противно природе и что вышла она замуж потому, что глупые родители хотели устроить ей партию?! Еще бы... Адмирал... Положение... И я все-таки совершил это преступление, — да, преступление, которое люди часто делают, — женился и пользовался незаслуженным счастьем... И то для меня было счастье, что Ниночка, видя мою беспредельную любовь, привязалась ко мне, безропотно выносила мои ласки и была безупречной женой... А я, развращенный, изжившийся, пользовался ее молодостью и красотой... ревновал ее, думая, что моя любовь, мое баловство, все эти подарки... могут заглушить в женщине потребность чувства... И она, бедняжка, хандрила, часто плакала; страдал и я. А ее стало все больше тянуть к жизни, к любви... Еще бы! Я теперь совсем отживший человек, — промолвил застенчиво адмирал, — а она молодая и полна жизни... И она кокетничала...

окружала себя поклонниками, слегка увлекалась, и я, конечно, не мешал. Но вас она не шутя полюбила... Я знаю, как Ниночка вас любит и как она теперь счастлива! Она расцвела, похорошела под обаянием счастливой любви, стала покойная и радостная, не то, что прежде... Нервы прошли... И как нежна и внимательна со мной, точно извиняется за свое счастье, голубушка!.. Так неужели вы думаете, что я помешаю ее счастью только потому, что она моя жена!? Нет, никогда! Я слишком люблю Ниночку, чтобы быть ее палачом! — прибавил взволнованно адмирал.

И голос его звучал нежностью, и в глазах блеснули слезы.

Он примолк, стараясь оправиться от волнения. Безмолвствовал, опустив голову, и Скворцов, подавленный, умиленный, чувствовавший необычайное уважение и любовь к этому мужу, которого он обманывал, и еще более желавший теперь уйти в плавание. И молодому человеку представилось теперь таким ничтожным и банальным его увлечение адмиральшей в сравнении с этой самоотверженной, всепрощающей любовью, и сам

он казался таким маленьким и пошлым со своими понятиями о любви перед этим скромным, невзрачным толстяком, который, казалось, и не сознавал всей нравственной красоты своих «собственных правил» и своей доброй души. И его многие считали простофилей!? А он, из чувства любви и деликатности, нарочно носил эту личину «простоты». «И как же он любит свою Ниночку!» — думал молодой человек и тут же вывел заключение, что адмирал все-таки ослеплен ею, думая, что раньше она только кокетничала и слегка увлекалась... Весь Кронштадт знает об ее увлечении три года тому назад, когда адмирал был в дальнем плавании, одним лейтенантом... Да и тот, негодяй, афишировал близость их отношений... хвастал ими...

Несколько секунд в кабинете стояла тишина. Даже канарейки перестали заливаться, и только слышно было, как они постукивали клювами о жердочки.

— И ревности во мне нет... Я поборол в себе это чувство... верьте мне, снова говорил адмирал, но голос его слегка дрогнул, точно выдавал, — с этой стороны вы не причините

мне зла... Одно мне было бы тяжело — это развод... Я долго об этом размышлял за это время, но, каюсь, нет сил расстаться с Ниночкой, не видать ее... И кроме того... ведь она старше вас... и вы оба не обеспечены. Положим, пока я жив, я давал бы ей большую часть содержания... много ли мне надо?. Но после моей смерти?. Впрочем, если Ниночка захочет, я не прочь, если это нужно для вашего счастья и если она не пожалеет меня... Но надо, чтобы ваша любовь выдержала испытание в течение более долгого срока... А пока ни полслова Ниночке и живите с ней на даче. Вы видите, вам незачем проситься в дальнее плавание, Николай Алексеич! — прибавил с одобряющей улыбкой адмирал.

— А я все-таки прошу, умоляю вас об этом! — заметил тихо и серьезно Скворцов.

— Как!.. Вы все-таки хотите бежать? — почти испуганно спросил адмирал.

— Хочу... Так будет лучше...

— Лучше? Для кого?

— Для нас обоих...

— Что это значит? Почему лучше? Объясните, Николай Алексеич! — с нескрываемым

удивлением проговорил адмирал, не допуская и мысли, чтобы этот счастливец, любимый «Ниночкой», мог добровольно искать с нею разлуки.

Положение «счастливицы» оказалось не из приятных. В самом деле, не мог же он откровенно рассказывать мужу, хотя бы и такому самоотверженному и благородному, как адмирал, о бешеной ревности и необузданной страсти маленькой адмиральши, об ее невозможной подозрительности и любящем деспотизме, требующем, чтобы любимый человек был ее рабом, обо всех этих сценах, упреках и «шквалах с дождем», — благодаря чему любовь обращалась в некоторое подобие каторги, и он хотел избавиться от нее.

Чувствуя свое «бамбуковое» положение, Скворцов взволнованно, далеко не связно и путаясь в словах, но благоразумно однако избегая всех щекотливых подробностей, которые не могли быть особенно приятны адмиралу, объяснил, что он сознает себя недостойным той привязанности, которою почтила его Нина Марковна... Он, конечно, весьма тронут... ценит и сам очень... очень предан и лю-

бит, но не уверен в силе и глубине своего чувства... И это его очень мучит и ставит в фальшивое положение... Разлука была бы хорошим испытанием... Он безгранично виноват, что раньше не проверил себя... Он влюбился, как сумасшедший, и не в силах был тогда же отойти... А теперь, думая о будущем...

— Вы, значит, боитесь, что можете охладеть к Ниночке? — перебил нетерпеливо адмирал, привыкший, как моряк, к кратким и точным объяснениям.

— Да, — виновато прошептал Скворцов.

— И не решаетесь сказать об этом Ниночке, чтобы не огорчить ее?

— Не решаюсь...

— Это понятно, — промолвил адмирал и опустил голову в каком-то печальном раздумье.

— Что ж, пожалуй, вы и правы... Лучше уехать и испытать себя, — наконец, проговорил он. — Я сегодня же напишу о вас министру... И, конечно, Ниночка не должна знать, что вы уезжаете добровольно... Это огорчит ее еще более... Она вас так любит, а вы... Бедная Ниночка! — прибавил грустным тоном адми-

рал.

И после минуты молчания заметил, удивленно качая головой:

— Какой вы, однако, безумец, Николай Алексеич!

И больше ни слова упрека.

Двери тихо отворились в эту минуту, и в кабинет вошла Нина Марковна, свежая, хорошенькая, блестящая о своем белом капоте и маленьком чепце, который необыкновенно шел к ней. При виде Скворцова в кабинете мужа, молодая женщина изумилась, и, приостанавливаясь у порога, воскликнула:

— Я вам не мешаю, господа?

— Что ты, Ниночка! — проговорил адмирал, успевший незаметно мигнуть Скворцову, как бы рекомендуя осторожность, и, поднявшись с кресла, пошел навстречу жене поздороваться. Он почтительно поцеловал ее маленькую ручку, а Нина Марковна поцеловала его в лоб.

— А вас какой счастливый ветер занес к нам так рано. Николай Алексеич? спросила она, протягивая руку Скворцову и с подозрительной пытливостью взглядывая на мужа и

на молодого человека.

— Это я, Ниночка, зазвал Николая Алексеича, я, милая... Гляжу: он мимо идет... Ну, я позвал, чтобы распушить его, зачем вчера не был... И распушил, будет помнить! — весело прибавил адмирал, принимая свой обычный, простовато-добродушный вид.

— В самом деле, отчего вы вчера не были?

— Голова болела...

— Потому-то вас и не было целый день дома?

— Что, влопались, батенька? — пошутил Иван Иванович, делая вид, что не замечает едва слышной тревожной нотки в голосе жены.

— Я целый день в клубе был... Зачитался в библиотеке.

Хорошенькое личико Нины Марковны слегка омрачилось, брови сдвинулись и верхняя губа вздрогнула. Она, видимо, сдерживала свое неудовольствие и пытливо смотрела в глаза Скворцова, точно спрашивая: лжет он или нет?

— Честное слово, в клубе, — поспешил повторить молодой человек.

— Да мне разве не все равно, где вы были? — с раздражением заметила адмиральша, отворачиваясь, и, обращаясь к мужу, сказала:

— Чудные дни, Ванечка, стоят... Пора бы и на дачу...

— Конечно, пора... Хочешь завтра переехать?.

— А как же ты?

— Я тоже дня через три на корабль переберусь, Ниночка. Буду приезжать, пока не уйдем. Да вот и Николая Алексеича просил погостить у нас на даче... Что ему делать-то в городе?. По крайней мере подышит свежим воздухом... Не бойтесь, Ниночка не стеснит вас... Можете, когда угодно, уезжать в Петербург, слушать венгерок, Николай Алексеич. Они ему очень понравились, Ниночка... Он рассказывал, как третьего дня в Аркадии их слушал... Попроси и ты его, Ниночка, а то он стесняется...

— Что ж, милости просим, Николай Алексеич... Ванечка прав: я не буду вашей тюремщицей, на этот счет можете быть покойны.

Скворцов поблагодарил и сказал, что воспользуется приглашением.

— Ну, вот и отлично; а теперь, Ниночка, угости его кофе. Он до него охотник, а мне надо скоро на корабль.

Адмиральша с молодым человеком ушли, и адмирал тотчас же принялся писать письмо к министру, убедительно прося его назначить Скворцова на «Грозный» и расхваливая лейтенанта, как отличного офицера.

«А как она его любит!» — промолвил адмирал, запечатывая письмо своей большой гербовой печатью, и грустно вздохнул.

IX

Через два дня после объяснения с адмиралом, Скворцова потребовали в экипаж. Экипажный командир, высокий, плотный брюнет, лет пятидесяти, объявил, что Скворцова вызывают телеграммой немедленно явиться в главный штаб.

— Что такое случилось? Зачем вас требуют, Николай Алексеич? — с испуганным лицом и с тревогой в голосе спрашивал экипажный командир, раболепная трусость которого перед начальством вместе с его легендарными «угольными операциями» во время трехлетнего командования броненосцем в круго-

светном плавании были в Кронштадте ходячим анекдотом, и зубоскалы мичмана так и называли каменный дом, купленный экипажным командиром вскоре после возвращения из плавания и записанный конечно на имя жены, — «угольным домом».

Молодой лейтенант, не желавший раньше времени разглашать свою «тайну», дипломатически отвечал, что не знает, зачем его требуют.

— Не напроказили ли вы в Петербурге, где-нибудь там в Аркадии или Ливадии-с... Кутнули и... какой-нибудь скандал-с, а? — Или — еще того хуже не встретил ли вас кто-нибудь из высшего морского начальства, а вы чести не отдали или не по форме были одеты?. А я отвечай! Мне за вас будет выговор-с! Совсем не бережете вы, господа, своего экипажного командира, а, кажется, я не заслуживаю этого, — брюзжащим тоном продолжал экипажный командир.

Скворцов поспешил успокоить его.

Он ничего не напроказил и никого из начальства не встречал.

— Ну, так поезжайте поскорей в Петер-

бург... Торопитесь и немедленно в главный штаб... Разумеется, в мундире... Имейте в виду, что я объявил вам о телеграмме в двенадцать часов двадцать минут-с, как только получил! предусмотрительно прибавил экипажный командир, взглядывая на часы.

Скворцова незачем было и торопить. Откланявшись, он, радостный и веселый, не сомневавшийся, что плавание «выгорело», быстро собрался и через четверть часа, одетый в полную парадную форму, с треуголкой в руках, уже летел на пароход, отправляющийся в Ораниенбаум. С парохода он сел на поезд, и с поезда поехал прямо в адмиралтейство.

Было ровно три часа, когда он явился в большую, пустую в эти часы приемную и, обратившись к младшему адъютанту штаба, сидевшему за столом, торопливо и взволнованно доложил, что он, лейтенант 6-го флотского экипажа Скворцов, вызван сегодня телеграммой в штаб и покорнейше просит доложить его превосходительству.

— Потрудитесь подождать. Адмирал теперь занят, — в ответ на взволнованное и

нетерпеливое заявление Скворцова умышленно равнодушным тоном проговорил хлыщеватый на вид, молодой, чернявый штаб-офицер в пенсне, находя, по-видимому, большое удовольствие осадить, так сказать, на всем бегу лейтенанта.

И с этими словами адъютант принял сосредоточенный деловой вид и опустил глаза на лежавшие перед ним бумаги.

— Скажите, пожалуйста, не знаете ли, зачем меня требовали?

Вероятно адъютант нашел, что в тоне вопроса, заданного Скворцовым, не было достаточно почтительности и не было той льстивой нотки, которую так любят штабные господа, потому что он не без презрительной улыбки оглядел в пенсне лейтенанта с ног до головы, словно бы недоумевая его фамильярности, и, слегка растягивая слова, отчеканил с аффектированной холодной вежливостью:

— Не имею чести знать-с о таком важном событии.

«Скотина!» — подумал Скворцов, получив «обрыв», и, несколько сконфуженный, отошел в дальний конец приемной и стал у окна.

Прошло добрых десять минут. Хлыщеватый адъютант, видимо изнывавший от скуки, покручивал свои красивые усы, рассматривал длинные ногти, подрагивал ногами, взглядывая по временам на молодого офицера, точно желая убедиться, достаточно ли он «приведен в христианскую веру», — как вдруг в дверях появилась молодцеватая фигура самого начальника штаба, видного, щеголевато одетого, довольно моложавого адмирала, несмотря на его шестой десяток, с строгим, холодным взглядом маленьких глаз и с надменно приподнятой головой, покрытой заседевшими белокурыми кудреватými волосами.

— Господин Скуратов! — позвал он адъютанта.

Тот, словно мячик, подпрыгнул со стула, подлетел к адмиралу и почтительно наклонил голову.

Адмирал отдал адъютанту какое-то приказание и, заметив Скворцова, вытянувшегося в струнку, спросил:

— Ко мне?

— Точно так, ваше превосходительство. Лейтенант Скворцов. Вызван, по приказанию

вашего превосходительства, телеграммой, — доложил адъютант.

— Что ж вы мне не доложили?

— Лейтенант Скворцов только что явился, ваше превосходительство, и у вас был доклад, — соврал адъютант.

— Пожалуйте ко мне! — крикнул, обращаясь к Скворцову, адмирал резким, недовольным тоном, еле кивая на поклон лейтенанта, и скрылся в дверях.

Скворцов вошел в огромный кабинет начальника штаба и остановился у дверей.

— Отчего так поздно явились? — строго спросил адмирал, подходя к Скворцову и глядя на него в упор своими серыми, мало выразительными, стеклянными глазами.

— Телеграмма была мне объявлена экипажным командиром в двенадцать часов двадцать минут, и я немедленно отправился через Ораниенбаум в Петербург, ваше превосходительство!

«Разнести» за опоздание, при всем видимом желании, очевидно, не было возможности, явно не погрешив против справедливости, и адмирал, известный в те времена во

флоте главным образом пунктуальной аккуратностью (недаром он был моряк, да еще родом из немцев или шведов), холодным джентльменством и некоторой надменностью человека заурядных способностей, случайно сделавшего блестящую карьеру, — должен был удовлетвориться данным объяснением.

Тем не менее и после ответа Скворцова адмирал имел сердитый вид, заставляя молодого офицера тщетно ломать голову, чем он имел несчастье прогневить его превосходительство.

А причина была самая простая.

Весьма чувствительный к просьбам, исходящим из аристократической сферы, к которой адмирал, несмотря на свое скромное происхождение, питал особое и небескорыстное почтение, — он не далее, как на днях, поторопился почти дать слово блестящей княгине Долгоуховой, что ее сын, молодой мичман, будет назначен на «Грозный». Хотя князь Долгоухов не имел права на дальнейшее плавание, кроме права протекции, однако адмирал представил о назначении мичмана и был несколь-

ко удивлен, что министр, обыкновенно не вмешивающийся в назначения младших офицеров, на этот раз не утвердил представления.

Этот коротко стриженный, совсем седой старик с грубоватым лицом, умными зоркими глазами и окладистой белой бородой, испытавший во время своей долгой карьеры немало передряг, бывший сперва на виду и в большом фаворе, потом попавший в долгую опалу и затем на склоне лет назначенный на пост, который давно был предметом его честолюбивых мечтаний, — этот старик был решительно против назначения князя Долгоухова. С обычной своей добродушной простотой, под которой чувствовался умный, талантливый и ревнивый к власти человек, он проговорил своим мягким баском:

— Долгоухов, кажется, ходил уже раз в дальнее плавание. Не правда ли, Андрей Оскарыч?

— Ходил, ваше высокопревосходительство, — с особенной аффектацией служебной почтительности отвечал начальник штаба.

— А у меня, Андрей Оскарыч, есть канди-

дат, который почему-то еще не был в дальнем плавании и имеет на него все права. Эту назойливую княгиню уж мы как-нибудь потом ублажим, чтоб она к нам не приставала. Она ведь и меня просила. Верно, и вас также? Нынче во флоте у нас много развелось этих белоручек, аристократических маменькиных сынков, и я, признаюсь, часто грешу против совести, исполняя просьбы их родителей и разных бабушек да тетушек... Что прикажете делать — с ними надо считаться! — развел руками адмирал, словно бы оправдываясь. — И чего только эти белоручки лезут во флот? В наше время их не было... Так уж на этот хоть раз не возьмем на душу с вами греха, Андрей Оскарыч, и уж уважьте мне — назначьте на «Грозный» лейтенанта Скворцова... Он, говорят, бравый офицер... пусть поплавает... Согласны? — прибавил старик, заранее уверенный, конечно, в согласии.

— Слушаю-с, ваше высокопревосходительство, — отвечал начальник штаба почтительно-официальным тоном.

Старик, хорошо услышавший в этом официальном тоне скрытую нотку неудоволь-

ствия, сделал вид, что не замечает его, и с прежним добродушным видом продолжал:

— А вы, Андрей Оскарыч, все на меня вали-те. Скажите княгине, что старик заартачился. Ничего, мол, не поделаешь с упрямым стари-ком.

И министр засмеялся старческим, дребезжащим смехом.

— Да пусть Скворцов немедленно уезжает. Прикажете ему выдать, что следует, на доро-гу, и с богом! А о нем я уж его светлости до-кладывал! — прибавил старик, как бы преду-преждая, что все уже покончено и что ника-кие хлопоты княгини Долгоуховой не помо-гут.

Вот почему начальник штаба глядел те-перь на стоявшего лейтенанта, который неволью помешал его превосходительству оказать влиятельной княгине услугу (а она так просила!), — далеко не с той, слегка высо-комерной приветливостью, с какой он обык-новенно относился к молодым офицерам, и тем же недовольным, слегка раздраженным, тоном проговорил:

— По приказанию господина управляюще-

го министерством вы назначены на «Грозный».

При этих словах Скворцов весь вспыхнул от радости. Адмирал между тем еще строже спросил:

— Вы сами просились у министра, помимо прямого начальства?

— Нет, ваше превосходительство.

— Так кто же за вас просил? — воскликнул адмирал.

— Не знаю, ваше превосходительство, — храбро солгал молодой человек, помня свой уговор с добрым Иваном Ивановичем хранить «ради Ниночки» в секрете его ходатайство.

На выхоленном, свежем лице видного адмирала, окаймленном седыми бакенбардами, отразилось недоумение.

Он помолчал и резко и повелительно сказал:

— Прошу немедленно отправиться к месту назначения. «Грозный» вы должны застать в Тулоне. Когда можете собраться?

— Завтра к вечеру могу уехать, ваше превосходительство.

Лицо адмирала, когда-то лихого капитана, несколько смягчилось от этого ответа, и он уже мягче сказал:

— Можете, если не успеете, и дня три-четыре остаться.

И, подойдя к столу, он подавил пуговочку. Вошел курьер.

— Старшего адъютанта попросить.

Явился старший адъютант, которому адмирал отдал приказание немедленно изготовить приказ о назначении лейтенанта Скворцова и распорядиться, чтобы сегодня же заготовили талон на прогонные деньги.

— Завтра явитесь в штаб за бумагами к начальнику эскадры, — обратился адмирал к Скворцову, — и затем, как будут готовы, уезжайте. Счастливого пути, — прибавил адмирал, кивнув головой.

Скворцов поклонился и вышел со старшим адъютантом. Через час он уже весело и торопливо спускался с лестницы с свидетельством для получения заграничного паспорта и талоном на 857 рублей в боковом кармане. Выйдя на улицу, он тотчас же поехал в главное казначейство за деньгами, рассчитывая сегодня

же заказать пару статского платья и пальто, сделать необходимые покупки и завтра, получив бумаги из штаба и заграничный паспорт, вернуться в Кронштадт, побывать у Ивана Ивановича, расплатиться с кредиторами и затем ехать на дачу к адмиральше... На следующий день он уже покатит за границу.

«Бедная Нина! Она ничего не ждет!» — подумал молодой человек, предчувствуя не только «шквалы с дождем», но и такую штормягу, какой, пожалуй, не встретишь и в Средиземном море... Будет всего! И придется все это выдержать, ничего не поделаешь!

Зная, что теперь он освобожден и через два-три дня будет далеко, Скворцов почувствовал еще большее сожаление к хорошенькой адмиральше, от которой бежал, и готов был безропотно вынести какую угодно «трепку». Ведь он виноват, что так «подло» отплатил за такую любовь... Он сознавал себя бесконечно виноватым и в то же время радовался, что виноват... Иначе... Иван Иванович дал бы развод... Беда.

«Бедная Нина!»

Он постарается успокоить ее уверениями

не забыть ее в разлуке и обещаниями часто писать, но в его голове тотчас же промелькнула мысль, что не такая адмиральша женщина, которую успокоишь одними письмами... Она потребует, чтобы он остался, принес эту жертву за то, что она всем для него пожертвовала.

— Но, Ниночка, сам министр приказал...

Он скажет эту реплику самым убедительным тоном... Что может она на это ответить? Он отлично знал, что адмиральша на это ответит, но...

— Будь, что будет! — прошептал, наконец, Скворцов, стараясь более не думать о предстоящей попытке прощания. — Извозчик, пошел! Двугривенный на чай!

Х

— Уф!

Молодой человек вздохнул, словно освобожденный от какой-то тяжести, когда на третий день свистнул локомотив, и поезд медленно двинулся, унося Скворцова из Петербурга... Она, вся в слезах, под густой вуалью, в последний раз махнула платком, а он — своим новым фетром, и скоро малень-

кая фигурка адмиральши скрылась из глаз, и Скворцов уселся в свое кресло у окна в каком-то странном, ошалелом состоянии, как будто все еще не окончательно пришел в себя и не мог владеть всеми своими умственными способностями...

— Д-д-да! — как-то растерянно прошептал он и машинально принялся читать газету.

Какая к черту газета! Он читал и ровно ничего не понимал. Он смотрел на строчки и не видал их... Еще не вполне пережитые впечатления вчерашнего дня владели всем существом, и рой представлений о том, что было вчера, носился в его голове...

Бедная Нина! Как она его любит, и какое счастье, что он мчится!.. И этот однообразный грохот колес весело отзывается в его сердце... И мелькающие леса кажутся необыкновенно милыми... «Ах, какая он скотина, собственно говоря!» Он радуется, а эта бедная Нина... Сумасшедшая женщина! Еще слава богу, что все так благополучно кончилось и на его душе нет тяжкого греха чужого самоубийства... И этот славный Иван Иванович!.. Каково ему переносить это отчаяние своей Ниночки!

— О, господи, что такое было!. — прошептал со вздохом молодой человек.

Он отлично знал, когда, смущенный и трусивший, подъезжал к хорошенькой дачке, утопавшей в зелени, что этот редкий под Петербургом, чудный, теплый день, будет памятным деньком в его жизни, но никак не ожидал, что действительность превзойдет его ожидания... Брр...

И при воспоминании об этом «деньке» со всеми его перипетиями, Скворцову сделалось жутко, и он оглянулся вокруг. Слава богу, он в вагоне, а не там, в этом уютном гнездышке любящей женщины, и ее здесь нет. Седой хмурый старик, да какой-то молодой господин иностранного вида сидят в вагоне, ни души более... И ни одной женщины!!.

«Шабаш, Коленька! Будь ты подлец, если когда-нибудь влюбишься в замужнюю даму!» — внезапно предостерег он себя мысленно, и действительно в эти минуты находился в таком настроении, что, казалось, не задумываясь, отверг бы любовь женщины, будь она по красоте хоть сама царица Клеопатра.

И все эти подробности вчерашнего дня лез-

ли в его голову. И он все это припоминал.

В саду так хорошо пахло распустившейся сиренью, и как ее было много, этой белой сирени! И солнце так весело глядело сверху. И адмиральша такая радостная, хорошенькая в своей шелковой пунцовой кофточке, в желтых башмаках, словно резвая девочка, сбежала с террасы навстречу и бросилась к нему, протягивая обе свои маленькие белые ручки... И вдруг испуганно остановилась!

«Что такое с Никой? Что случилось?»

В голосе ее звучала тревожная нотка, а глаза так нежно и пытливо заглядывали в его глаза. И он не выдержал этого взгляда, смутился еще более и, как-то особенно значительно и долго целуя обе ручки, виновато и робко проговорил, что его совершенно неожиданно... вчера, т. е. третьего дня, вызвали телеграммой в штаб и объявили, что он назначен в дальнее плавание.

«Но ведь он, разумеется, отказался?»

«Как он мог отказаться? Сам министр назначил... Приказано завтра же ехать».

В ушах Скворцова звучит этот мгновенно упавший голос, каким она повторила: «завтра

ехать?», и он видит это побледневшее лицо, казалось, не вполне понимавшее, что он ей говорит, с вздрагивавшей губой и недоумевающими глазами.

Она молча взяла его под руку и провела через сад в свой маленький кабинет рядом со спальней и затворила двери на ключ.

— Завтра ехать? — повторила она и усмехнулась нервным смехом. — Но ты не уедешь. Ты никуда не уедешь! — прибавила она дрожащим властным голосом, и глаза ее метнули молнии, ноздри трепетали, вся она точно загорелась. — Разве ты смеешь уехать? Я скажу Ванечке, чтобы он сегодня же поехал к министру и попросил его отменить назначение.

В ответ на слова, что это «невозможно», адмиральша вышла из себя. Каких только не было упреков и обвинений... Они лились градом. Он — обманщик, негодяй, подлец! Так-то он отплатил за ее любовь... Вкрался в ее сердце... молил о любви... Она его теперь презирает... Да, презирает! «Ступай вон!» прибавила она, указывая рукой на дверь.

Лейтенант никогда еще не видал Нину Марковну в таком припадке страстного него-

дования. Он молчал и в глубине души даже радовался, что она его презирает, находя, что презрение им вполне заслужено и что его, такого негодяя, стоит немедленно прогнать, как вдруг адмиральша с воплем бросилась к презираемому человеку на шею и, прижимаясь к нему, вся всхлипывая, как ребенок, молила не уходить... остаться...

Он пробовал ее успокоить. Каких только нежных слов ни говорил он, целуя ее руки... И, наконец, его назначили не в Тихий океан, а в Средиземное море... Плавать он будет недолго... Всего один год! — соврал он, желая утешить адмиральшу.

«Один год!.. Он это считает недолго!? Значит, он ее не любит, — ее, которая всем для него пожертвовала...»

И снова позорные упреки, снова униженные мольбы...

«Ника, останься!» «Ника, не уезжай!»

И она опустилась на колени! Господи, что это была за пытка! «Так ты все-таки едешь?» Она вдруг поднялась и побежала к столику... У нее в руках какая-то стеклянка... «Прощай, Ника! Будь счастлив!» И стеклянка подносится

к губам.

Скворцов помертвел от страха и в то же мгновение вырвал из ее рук стклянку и бросил ее на пол, конечно, не догадываясь, что несколько усиленный прием валериана не отравил бы адмиральшу... Правда, он почувствовал его запах, но... черт же знает, какие бывают яды!.. Избавив адмиральшу от смерти, он должен был положить ее на кушетку... Бедняжка лежала в глубоком обмороке.

Насилу он умолил адмиральшу, когда она открыла глаза, не покидать этого мира... Он умолял и словами, и поцелуями, и последние, кажется, подействовали... Она обещала жить, как это ни тяжело, если он даст слово не разлюбить ее в этот год разлуки...

Он, разумеется, дал слово, но «день» не кончился... Снова угрозы... Снова мольбы... Господи! Что это был за день! Господи! Что эта была за дикая ночь! Какие бурные переходы от ласки к угрозам! Какие истерики! Наивный, он было хотел ехать за доктором, но адмиральша вдруг приходила в себя и не пускала его.

По счастью, наутро приехал Иван Ивано-

вич, и адмиральша при нем умирать не хотела... Напротив, говорила, что как ей ни грустно расставаться с добрым знакомым, но она рада, что он получил хорошее назначение.

А бедный Иван Иванович! Какой грустный он был и с какой трогательной заботливостью глядел на Ниночку...

Все это вспоминал теперь Скворцов и вдруг в ужасе подумал: «А что, если она отравится? Быть может, ее уж нет в живых!..»

Однако, в Вержболово его успокоила условленная телеграмма от Неглинного. «Все здоровы», — телеграфировал он, и молодой человек значительно повеселел, а с переездом границы все реже и реже вспоминал свой «ужасный день». Новые впечатления чужой стороны охватили его, и некоторое сомнение относительно действия валериана значительно подняло бодрость его духа.

Наконец, на четвертый день он приехал в Тулон, и через час уже ехал на рейд, где красовался полуброненосный, рангоутный трехмачтовый крейсер «Грозный».

Совсем новые чувства охватили его, когда он ступил на безукоризненную палубу воен-

ного корабля.

— Честь имею явиться! — назначен на крейсер «Грозный»! — проговорил он, являясь к капитану.

XI

В Скворцове была «морская жилка», без которой немислим настоящий моряк. Он любил море, и его манила к себе эта суровая, но полная сильных ощущений, морская служба. Еще в отрочестве он наслушался рассказов своего отца, честного и добродушного отставного моряка, идеалиста шестидесятых годов, сохранившего, несмотря на личные неудачи, бодрую веру в жизнь и людей, который молодым офицером два раза ходил в кругосветное плавание как раз в то время всеобщего обновления, когда гуманные веяния охватили вместе с обществом и моряков.

Под обаятельным впечатлением тех времен, от воспоминаний старого моряка о своих плаваниях веяло какой-то восторженной свежестью молодых лет, любовью к матросам и добрым благодарным чувством к капитанам и товарищам офицерам, с которыми он плывал лучшие шесть лет своей жизни. И он лю-

бил вспоминать об этом времени. С вызывающей гордостью, точно он кому-то внушал, рассказывал он, как и сам «беспокойный адмирал», как они называли начальника кругосветной эскадры, гроза офицеров и славный их морской учитель, и оба капитана, с которыми он «имел счастье служить», не допускали никаких позорных наказаний на судах даже и в то время, когда они еще не были отменены во флоте. А когда явился закон об отмене телесных наказаний, он свято соблюдался всеми. «Тогда, — говорил старый моряк, — среди нас считалось позором жестокое обращение с матросами. Драться было стыдом. Неисправимые „дантисты“ остерегались бить матросов публично, как, бывало, в старину, а били крадучись, чтоб не вызывать презрительного порицания товарищей... Хорошее было время! Жилось полно, хорошо жилось и верилось во все хорошее. В кают-компани не было розни... никаких интриг... Все были как-то приподняты накануне освобождения крестьян и общих светлых упований... Не было и тени подозрений насчет каких-либо злоупотреблений с углем и казенными деньгами...

Боже сохрани. И капитаны, и ревизоры были выше всяких подозрений... Возвратившись из плавания, они могли всем прямо смотреть в глаза и собственных домов не строили, как строят некоторые нынче... И служба была настоящая... Требовали дела, а не пролазничества... Безбрежный океан и чудное голубое небо как-то настраивали возвышенно, заставляя о многом задумываться... Бешеный этот старик-океан натягивал наши нервы и в борьбе с собой вырабатывал лихих, бесстрашных моряков...»

— И дисциплина не падала нисколько оттого, что мы чтили человеческое достоинство и не били матросов. Не падала-с! Матросы лихо работали, исполняя свое трудное дело, и вели себя превосходно! — говорил старый моряк кому-нибудь из слушателей и словно убеждая какого-то незримого оппонента. — И ты не верь, Коля, — обращался он к сыну, — если теперь говорят, что розга нужна матросу и что его нужно бить. Не верь этому, мальчик, и никогда не оскверняй рук своих. Слышишь! — прибавлял обыкновенно старик, любовно поглядывая на сына-кадета, приез-

жавшего на Рождество и на Пасху в маленький захолустный городок в Крыму, где жил его отец на покое.

Эти восторженные морские воспоминания отца, эти рассказы о дальних странах, о борьбе с океаном, о случаях опасности, об энергии, хладнокровии и находчивости моряков действовали чарующим образом на сына-юнца. И его манил океан с его бурями, манила роскошь тропической природы и эта прелесть морской жизни. Ему хотелось изведать эти жуткие ощущения, сделаться хорошим моряком, и дальнейшее плавание представлялось ему в пленительном ореоле отцовских воспоминаний.

Он мечтал о нем еще в корпусе, мечтал и по выходе в офицеры, пока не увлекся адмиральшей и в первое время думал только о ней. Но судьба его не баловала. Его не назначали в дальнейшее плаванье. Приходилось «киснуть» на берегу и уходить на два месяца служить на броненосцах. Таким образом, до сих пор молодой моряк совсем не плавал, не видал, собственно говоря, настоящего моря и совсем не знал, как и большая часть нынешних

моряков, морской жизни. Разве можно было, в самом деле, называть плаванием эти двухмесячные стоянки броненосцев на транзундском рейде, вблизи Кронштадта, с их учениями, смотрами и одуряющей скукой? Молодому человеку все это казалось каким-то томительным бездельем, несмотря на точно распределенные часы занятий, и он думал, как думали и многие опытные моряки, что моряку нужно плавать и что все эти учения без плаванья — одна мертвечина, неспособная создавать моряков. В течение короткой двухмесячной кампании приходилось много-много плавать недели две, т. е. ходить под парами, и то тихим черепашьим ходом, чтоб не жечь много угля, по Финскому заливу, побывать в Гельсингфорсе, Ревеле и Балтийском порте, а затем опять и Кронштадт на положение «швейцарского» моряка, опять безделье, скука и жажда какого-нибудь увлечения.

Это «транзундское сиденье», как называли летнее плаванье молодые офицеры, разумеется, не привлекало Скворцова. И если он, как и другие офицеры, все-таки искал и такого плаванья, то только потому лишь, что надо было,

по правилам, выплывать ценз, а в плавании все же идет морское довольствие, получается более денег, чем на берегу. Но он понимал, что хоть проплавай он таким образом все цензы и получи все чины до адмиральского включительно, ему все-таки не быть настоящим моряком, не получивши морского крещения в действительном плавании.

И вот обрадованный теперь, готовый от-даться всей душой службе, он усердно принялся за дело, совсем освободившись от своего недавнего любовного кошмара. И если б не частые письма, которыми его бомбардировала адмиральша, он, признаться, редко бы ее вспоминал. Несмотря на длинные и горячие послания, он теперь был совершенно спокоен за жизнь адмиральши, убедившись из рас-спросов доктора, что валерьяном отравиться нельзя... Однако, его все-таки трогала ее любовь, и он отвечал ей благодарными письмами, в которых более описывал свои впечатления, чем изливался.

Прошло два месяца, и Скворцов сделался хорошим вахтенным начальником и усердным служакой. Он учился всему, чему только

мог, не стесняясь ложным самолюбием; ознакомился с машиной «Грозного», со всем внутренним его устройством, делал наблюдения и мог, при надобности, заменить штурмана. Вдобавок, он вскоре приобрел расположение матросов за свое человеческое к ним отношение, а вестовой Аксенов просто души не чаял в своем добром лейтенанте. И сильные ощущения, которых он так жаждал, не заставили себя долго ждать. На переходе из Неаполя в Пирей, куда «Грозный» был вызван на соединение с эскадрой, его порядочно-таки «трепануло».

К встрече шторма приготовились, как казалось Скворцову, слишком рано. Капитан был более чем осторожный моряк и поспешил убрать паруса, как только сильно засвежело, и велел развести пары. На следующий только день буря разыгралась во всем своем грозном величии. Со спущенными стеньгами, имея штормовые триселя и работая сильной машиной, «Грозный» выносил трепку, держась в крутой бейдевинд. К вечеру шторм был в полном разгаре. Громадный крейсер валяло с бока на бок, словно щепку, и, по време-

нам, крен был так силен, что у Скворцова, стоявшего на вахте, и переживавшего свой первый шторм, захватывало дух и ему становилось жутко.

И он, возбужденный, старавшийся казаться совершенно спокойным, хотя сердце усиленно билось в его груди, взглядывал на эти громадные седые волны, со всех сторон бешено несущиеся на крейсер и с гулом разбивающиеся об его бока, на эти темные, низко спустившиеся клочковатые облака, на затянутый мглой горизонт, слушал адский вой ветра, сливающийся с шумом волн, и мало-помалу первые впечатления жуткого чувства страха стали терять свою остроту... Крейсер все так же стойко выдерживает шторм и так же стремительно ложится то одним лагом, то другим, и гребни волн, рассыпаясь брызгами, с тою же яростью перекатываются через нос, когда крейсер зарывается бушпритом. Приходится только смотреть за рулевыми, чтобы правили хорошо. И Скворцов, весь напряженное внимание, вглядывается вперед, в сумрак наступающего вечера и только покрикивает рулевым своим отрывистым, взволнованным

тенорком:

— Право!.. Одерживай!.. Так держать!.

К концу вахты уже нет страха в его душе. Напротив, какое-то счастливо-горделивое чувство охватывает его всего от сознания, что он больше не трусит и что, следовательно, из него может выйти моряк. И он уже посматривает вокруг на беснующеся море не с прежним почтительным и словно недоумевающим страхом, а с самоуверенным, несколько надменным чувством человека, сумеющего справиться с врагом. И в голове его проносились мечты о том, как он будет капитаном какого-нибудь доброго океанского крейсера и с ним выдерживать штормы... И у него будут не такие порядки, что на «Грозном», о нет!

Ни зги не видать. Мрак со всех сторон окутал крейсер, и Скворцов напрасно смотрит вперед — ничего не видно.

«А что, как встречное судно?» — со страхом думает он и еще напряженнее вглядывается. Он сознает свою страшную ответственность за жизнь всех этих шестисот человек команды, доверяющихся его бдительности и находчивости, и это сознание делает его еще более

внимательным и ко всему готовым... Нервы его напряжены до последней степени, и он ждет с нетерпением конца вахты.

— Впереди ничего не видно. Не прикажете ли, Аркадий Дмитрич, осветить электрическим светом? — спросил Скворцов, озабоченный возможностью столкновения, официально-деловым, несколько возбужденным тоном, переходя на другую сторону мостика, где, держась за поручни, неподвижно стояла высокая фигура капитана в дождевике и зюйдвестке.

— Не надо-с! — резко и повелительно ответил капитан, не терпевший никакой инициативы со стороны подчиненных и, как человек безмерно самолюбивый, любивший, чтобы всякое распоряжение исходило от него «самого».

Скворцов отошел на свое место, мысленно обругав этого крайне несимпатичного ему капитана «самолюбивым скотом». И, как нарочно, ему вспомнился рассказ отца про знаменитого адмирала Нахимова, которому во время Синопского боя боцман крикнул: «Павел Степаныч! Надо кливер поставить!» — и адмирал немедленно исполнил дельное предло-

жение боцмана.

Прошло минут с десять, как вдруг Скворцов увидел по левому крамболу сразу красный и зеленый огни, сверкнувшие совсем близко.

Он так и ахнул.

— Право на борт! — крикнул он дрогнувшим голосом.

— Право на борт! — в то же мгновение зазвучал испуганный голос капитана.

И в ту же минуту почти по борту крейсера проскользнул темный силуэт трехмачтового «купца» и скрылся сзади в сумраке ночи.

— Скотина! — послал ему вдогонку капитан по-русски, прибавив к «скотине» еще непечатное ругательство.

Скворцов, скомандовав рулевым держаться на прежнем курсе, метнул в капитана негодующий взгляд.

«Чуть было не потопили судна!» — подумал он.

Шторм начал утихать к полуночи, и когда Скворцов сдавал свою вахту, ветер уж не гудел так яростно, и сквозь клочковатые облака по временам выглядывала луна.

Слишком взволнованный только что испытанными впечатлениями, молодой человек не хотел спать и несколько времени еще оставался на палубе, охваченный тем настроением какой-то духовной приподнятости, о которой рассказывал когда-то его отец.

Но боже мой! Как не похожи казались восторженные рассказы отца о дальних плаваниях на то, что приходилось видеть теперь сыну. И эта дружная судовая жизнь, и эти возвышенные беседы и чтения в кают-компании, и эти капитаны, о которых вспоминал отец, и это гуманное отношение к матросам — как все это не походит на действительность! Уж не идеализировал ли отец свои воспоминания? думалось молодому человеку.

Или, может быть, другие времена, другие песни?

И, несмотря на свою «морскую жилку», несмотря на любовь к морю и к сильным ощущениям, молодой человек чувствовал большое разочарование. Не море разочаровало его, а судовая жизнь, так сказать ее тон, ее низменные интересы, обращение товарищей с подчиненными, эта грубость капитана, эта

постоянная ругань во время учений, эта вечная напряженная осторожность, чтобы не нарваться на дерзость и не ответить дерзостью. И не было, казалось ему, того «духа», который соединял всех, начиная от капитана и до последнего матроса, и про который так любил рассказывать его отец. Все служили, отбывая повинность, но не любили, казалось Скворцову, дела, не любили своего судна тою любовью, про которую слышал он от прежних моряков...

Что сказал бы его добрый старик, если б явился на «Грозный» и увидал, что спустя тридцать лет после отмены телесных наказаний молодые безусые мичмана, не только не крадучись, а с сознанием полного своего достоинства бьют по зубам матросов и после хвастают в кают-компании, возбуждая негодование — и то молчаливое и конфузливое — лишь в двух-трех офицерах да в старшем враче, как-то брезгливо скашивающем свое лицо при подобных разговорах?

А этот благополучный и веселый молодой ревизор, с наивным добродушием называющий «либералами» всех тех, кто несочув-

ственно рассказывает о разных проделках с углем и при покупке провизии?. Впрочем, об этом и редко говорят, и все относятся к ревизору с большим уважением. Он такой любезный и никогда не отказывает в деньгах, хотя все знают, откуда у него «лишние» деньги. Конечно, и он не объясняет — откуда. Но его добродушный, всегда веселый вид, особенно после стоянки в портах, словно бы свидетельствует, что ему наплевать на мнения насчет его персоны двух-трех «либералов»...

Еще недавно, в Неаполе, под пьяную руку, он в обществе товарищей хвастал, что он не дурак и вернется в Россию кое с чем...

«Нет, все эти рассказы отца об его плаваниях в шестидесятых годах с „беспокойным“ адмиралом и с капитанами, которые умели создавать моряков и внушать им любовь к ремеслу, не оскорбляя их чувства достоинства, — умели обращаться с матросами без унижительных зуботычин и позорных наказаний, решительно кажутся сказками!»

«А казалось бы — как нетрудно быть им и теперь правдой!» — почти вслух проговорил молодой моряк, заканчивая свои грустные

размышления.

Он еще несколько минут любовался «отходившим», после взрыва ярости, морем, слегка освещенным серебристой, словно задумавшейся луной. Волны, как будто уставшие, не так гневно нападали на бок крейсера и вместо гребней посылали на бок только серебристую пыль своих брызг. Стихало значительно.

— Что ж не идете спать, ваше благородие? — неожиданно раздался голос вестового. — Койка давно готова.

— А ты чего не спишь, Аксенов?

— Я дежурный, ваше благородие... И чай, если угодно, есть, ваше благородие... Горячий... Для вас приготовил!

— Спасибо, Аксенов! — с какою-то особенной горячностью проговорил Скворцов, тронутый вниманием своего вестового и весь внезапно охваченный приливом благодарного чувства.

Осторожно ступая по убежавшей из-под ног палубе, он спустился в свою каюту и, раздевшись, бросился в койку и скоро стал засыпать, убаюкиваемый все еще стремительной качкой.

Но не о хорошенькой адмиральше была последняя сознательная мысль Скворцова и не о той красавице-итальянке с жгучими глазами и классическим профилем, с которой он свел случайное знакомство в Неаполе, а о капитане. Несмотря на свою мягкость и добродушие, Скворцов с каждым днем чувствовал к нему все большую и большую неприязнь и сваливал на него одного всю вину за отраву плавания и за весь, возмущавший его, строй судовой жизни, легкомысленно забывая про «дух времени», отражавшийся и на его сослуживцах.

Он мысленно обругал капитана еще раз, вспомнив «купца», чуть было не потопленно-го, и заснул.

С первой же встречи, во время представления командиру «Грозного», Скворцов почувствовал к своему командиру безотчетную неприязнь. Ему не понравилась и эта высокая, статная, худощавая фигура почти молодого человека в щегольском, ловко сшитом, незастегнутом сюртуке, из-под которого сиял ослепительной белизны жилет, и эта длинная, белая шея, точно у болотной птицы, под-

пирравшаяся маленькими стоячими воротничками, и это выхоленное, тщательно выбритое, розоватое, самоуверенное, умное и надменное лицо, без усов и бороды, а по-английски — с маленькими рыжими бачками, не доходившими до конца щек, — с большим прямым носом, тонкими поджатыми губами и серыми глазами, которые так возмутительно спокойно и в то же время нагло смотрели из-под светлых бровей, не понравились и эти длинные, с крепкими ногтями, белые пальцы больших опрятных рук, с яхонтом на мизинце, и *porte bonheur*[6], сверкавший из-под безукоризненно свежего рукава сорочки, и эта поза, равнодушно холодная, словом, решительно все казалось несимпатичным в этом коротко стриженном, изящном, белокуром молодом командире.

Резкий, властный тон, каким он, в ответ на представление Скворцова, ответил, без всякого приветствия и не подав руки, о том, что завтра будет по крейсеру приказ о вступлении г. лейтенанта Скворцова в должность начальника 4-й вахты, и сухой кивок остроко-нечной белобрысой головы только усилили

неприятное впечатление этой первой встречи с капитаном, которого он раньше не встречал, но о котором знал, конечно, по его блестящей репутации и по той быстрой карьере, которую он делал. Тридцати пяти лет от роду он уже был капитаном 1-го ранга и командиром превосходного крейсера в заграничном плавании.

В тот же вечер в кают-компании уже познакомили Скворцова с «хамством» «собаки»-капитана и его грубым обращением с офицерами. Но когда на следующий день, во время аврала, Скворцов увидел, как этот джентльмен-капитан, с презрительным выражением, холодно и спокойно ударил матроса и после безглаголиво посмотрел на свою руку, он сразу понял и объяснил себе причину своей безотчетной неприязни.

XII

Молодой командир «Грозного» был одним из видных и ярких представителей типа новейшей формации, который как-то незаметно проник и во флот, являясь на смену морякам прежних времен.

То были, в большинстве, простые, скром-

ные служаки, проникнутые духом товарищества и известных правил, выработанных еще кадетской этикой прежнего морского корпуса, чуждые интриг и служебного пролазничества, не лезшие в «свет», питавшие традиционную ненависть к светскому хлыществу, энергичные и стойкие рыцари долга, любившие свое ремесло и суда, на которых плавали, строгие, подчас даже суровые на палубе и добрые, приветливые вне службы. Они действовали на подчиненных не авторитетом грозной власти, а нравственным авторитетом знания морского дела, мужества, находчивости и хладнокровия в опасности, качествами, приобретающимися в долгих плаваниях, в школе хороших адмиралов и капитанов, понимавших, что возможно свято хранить морские традиции и стройную дисциплину рядом с гуманным отношением к матросам. Все это давало морякам известную общую типическую окраску. Шестидесятые годы смягчили прежние «жестокие» нравы, но прежний «морской дух», создавший лихих моряков и хороших капитанов, оставался.

Аркадий Дмитриевич Налетов не походил

на этот тип прежнего моряка ни внешнею, ни своими житейскими правилами.

Воспитанник морского корпуса позднейшего времени, когда вместо прежней спартанской педагогики и традиций своеобразной суровой кадетской этики явилась новая, обращавшая внимание на хорошие манеры, на умение понравиться начальству и считавшая «похвальною откровенностью» то, что прежние кадеты называли «фискальством», молодой офицер, блестяще окончивший курс, вступил в жизнь как раз в то время, когда для беззастенчивых людей открывалось на всех поприщах более простора.

Умный и честолюбивый, смелый, решительный, Аркадий Дмитриевич Налетов не разбирал средств для достижения служебного успеха. Он отлично приспособлялся и в скором времени обратил на себя внимание одного почтенного адмирала, очень влиятельного в те времена во флоте, человека порядочного и честного, но увлекавшегося в своих симпатиях. Он оценил в Налетове умного и способного офицера, нянчился с ним и привязался к нему, видя в нем, так сказать, своего ученика.

Благодаря адмиралу. Налетов выдвинулся, получал хорошие назначения, словом, обязан был своей блестящей карьерой адмиралу. Но когда этот адмирал впал в немилость и перестал уж быть нужным человеком, Налетов тотчас же отвернулся от адмирала, перестал у него бывать и, стараясь попасть в тон новых влиятельных людей, стал издеваться над своим покровителем, пред которым еще так недавно выказывал свое благоговение. Это он называл: «не иметь предрассудков». Он вел свою линию умно и искусно, с холодным бесстыдством беспринципного человека, уверенного, что успех покрывает все и это негодование стыдливых людей ему нисколько не повредит. Наплевать ему на них! Прежние традиции отжили свой век. Теперь новые, и слава богу! И он ясно смотрел своими наглыми глазами и, не стесняясь, говорил своим товарищам, что только дураки не умеют делать карьеры и пользоваться обстоятельствами, ну, а он не дурак. И действительно, он пользовался умело и оставался на виду. Он умел найти знакомства в влиятельных сферах и завести связи. Он посещал модного петербург-

ского журналиста и щеголял самым крайним обскурантизмом. Такое щегольство, казалось ему, было в духе времени и могло зарекомендовать его.

Морской службы своей Налетов не любил и видел в ней лишь средство достичь блестящего положения. Он отбывал плавания, чтобы проделать поскорей все положенные цензы, мечтая о быстрейшем производстве за отличие в адмиралы, а там, кто знает, чего можно достигнуть при уме и смелости?. И в его голове бродили честолюбивые мечты о будущем.

Он был недурным, образованным и знающим капитаном, но в нем не было главного: «морской жилки», любви к морю и к своему судну. Не было и той нравственной связи с подчиненными, без которой немислим, так сказать, «дух корабля». Самоуверенный до наглости, самолюбивый и требовательный, настойчиво желавший, чтобы «Грозный» под его начальством был во всех отношениях примерным судном, он все-таки не умел внушить подчиненным любви к делу, которой и сам не имел, и, несмотря на строгость и ча-

стые «разносы», и офицеры и матросы исполняли свои обязанности без того одушевления, без той самолюбивой страстности, какая бывала на судах, где капитан, офицеры и матросы составляют одно целое, проникнутые одним духом, и где каждый дорожит интересами любимого своего судна.

Отсутствие этого «духа живого» раздражало молодого капитана. И он был заносчив и дерзок до грубости с офицерами, пользуясь их выносливым молчанием, и презрительно брезглив с матросами, на которых глядел, как на рабочую силу, обязанную повиноваться. Иное отношение он считал «глупой сентиментальностью остатком того времени, когда в моде было нянчиться с ними, как с цацами».

Нечего и говорить, что и офицеры, и команда не любили капитана и только боялись его.

— Из молодых да ранний!

— Себя только любит, а всеми брезгует.

Гордыни в ем много.

— Форцу на себя напускает! Много о себе думает!

— Жесткий командир!

Так трактовали капитана между собою матросы.

И капитан, в свою очередь, ни к кому из офицеров не благоволил. Со старшим офицером и старшим доктором был холодно вежлив и официально сдержан, а молодых офицеров третировал с грубостью забывшегося выскочки.

Один только ревизор пользовался особенным его расположением и, в свою очередь, защищал капитана, объясняя его грубость нервным состоянием.

Но это расположение, переходившее даже в интимность, имело свою особенную причину. Ни для кого не было секретом, что капитан и ревизор тесно связаны друг с другом общностью личных интересов. Все хорошо знали, что счета за уголь (а угля сжигается много!) подаются выше действительной покупной цены и что разные «экономии», являющиеся от обычной десятипроцентной скидки со всех счетов, подаваемых поставщиками провизии, никуда не записываются и делятся между капитаном и ревизором.

И многие мичмана, подсчитывая, что таких «безгрешных» доходов у капитана может быть тысяч до десяти в год, втайне мечтали о времени, когда и они будут капитанами. Это «безгрешное» пользование не возбуждало негодования в молодых моряках. Многие пользуются, да еще и не так! И со смехом указывали на адмирала Щукина, который доходил до полной беззастенчивости, командуя три года эскадрой на Дальнем Востоке. У него и дом в Петербурге, и сколько он навез дорогих роскошных вещей из Японии и Китая. Недаром его громадные вазы, диковинные шахматы и веера возбуждают общий восторг!

Когда Скворцов убедился, что слухи про капитана не клевета, а правда, к чувству неприязни прибавилось еще и чувство презрения.

О таком ли плавании мечтал он! У такого ли капитана хотел он учиться?!

Избегая возможности какой-нибудь придирки со стороны капитана, Скворцов был педантичен по службе и необыкновенно точен в исполнении своих обязанностей. И тем не менее при авралах и учениях и во время вахт он испытывал то чувство нервной натянуто-

сти, которое бывает у молодых самолюбивых людей, ожидающих какой-нибудь дерзости со стороны начальства и знающих, что они оскорбления не спустят, хотя бы и пришлось рисковать будущностью.

Но капитан, как все дерзкие и наглые люди, очень хорошо понял, что молодого лейтенанта нельзя оскорбить безнаказанно, и он обращался с ним с резкой холодностью, «разносил», не переступая границ служебного приличия, и испытывал, в свою очередь, к Скворцову неприязненное чувство, словно бы понимая причины его молчаливого осуждения.

XIII

К восьми часам утра, к подъему флага и гюйса, Скворцов уже был наверху, где собрались, по обыкновению, все офицеры и вся команда.

За ночь ветер значительно стих и дул баллов на 5. Волнение улеглось, и море приняло свой красивый, темно-голубой цвет. Небо было чистое, — ни одного облачка, и веселые лучи ослепительного солнца заливали своим блеском палубу гиганта-крейсера, сверкая на

орудиях, поручнях и люках, отчищенных на диво. На горизонте то и дело показываются дымки пароходов. Плавно и медленно покачиваясь своим громадным корпусом, «Грозный» быстро идет узлов по пятнадцати в час, под однообразный шум своей тысячесильной машины.

Разговоры смолкли. За минуту до восьми часов на палубе появился капитан, как всегда, щегольски одетый, свежий, чисто выбритый, с моноклем в глазу. На лице обычное выражение холодного спокойствия и брезгливого недовольства, которое он сам напускает на себя перед офицерами. Все офицеры прикладывают пальцы к козырькам фуражек. Ленивым движением холеной белой руки он отдает честь, поднимается на мостик и оглядывает рангоут, приводя в некоторое беспокойство старшего офицера, внимательно тоже всматривавшегося наверх, закинув свою круглую черноволосую голову.

— Бинокль! — произнес он отрывистым голосом, не поворачивая головы.

Сигнальщик подал бинокль в протянутую руку, и капитан осмотрел горизонт.

— Флаг и гюйс поднять! Ворочай! — командовал вахтенный офицер.

После обычного, несколько торжественного на военных судах, подъема флага и гюйса и подъема брам-рей, причем выстроившийся на шканцах караул берет ружья на «караул» и горнисты играют поход, капитан, видимо сам наслаждаясь престижем своей власти, хотя и скрывая это под маской бесстрастия, принимает обычные рапорты от старшего офицера, старшего врача и заведующих отдельными частями. Тем временем все офицеры, кроме вахтенного и подвахтенного, спустились вниз пить чай. Капитан в сопровождении старшего офицера обошел верхнюю палубу, на которой занимались чисткой разведенные по работам матросы. Матросы усерднее чистили медь и орудия при приближении начальства, провожая его тревожными взглядами: как бы за что не придрался капитан.

Особенно трусил боцман 1-й вахты, франтоватый, довольно молодой еще человек, совсем не похожий на пьяниц-боцманов старого времени, ругавшихся с виртуозным совершенством и любивших давать волю рукам, но

никогда не жаловавшихся на матроса и не чуждавшихся его. Боцман Алексеев был тоже из «новых». Он гнушался матросов, валяя перед ними из себя «аристократа», и никогда не водил с ними компании, знаясь только с унтер-офицерами, писарями, фельдшерами и баталером; любил читать газету и заворачивать деликатные словечки, не пьянствовал и не ругался с остервенением прежних боцманов, но дрался, впрочем, не хуже своих предшественников, часто жаловался старшему офицеру и притом не гнушался мирволить матросам, подносящим ему подарки. Прикапливая деньжонки, он рассчитывает по окончании службы заняться в Кронштадте торговлей и имеет все данные сделаться со временем кулаком. Служит он усердно, толков, исполнительен и знает свое дело. Перед начальством лебезит и заискивает, и среди матросов уважением не пользуется.

— За рупь-целковый душу продаст! — говорят про него матросы, метко определяя сущность его натуры.

Капитан окончил свой обход и проговорил, останавливаясь перед спуском к себе в

каюту:

— В Пирее начальник эскадры. Верно делает смотр. Так потрудитесь приготовиться.

— Есть! — отвечал старшин офицер, давно уже готовый к смотру, и спускается в кают-компанию...

За большим столом почти все офицеры в сборе и пьют чай.

Скворцов уселся около старшего доктора, симпатичнейшего и милого Федора Васильевича, и с увлечением рассказывает о своей штормовой вахте и о том, как чуть было не потопили «купца»... Он очень сошелся с доктором; у них много общего в мнениях, оба они одинаково не любят капитана, и обоим им не особенно нравится тон кают-компании.

И, как нарочно, раздается молодой тенор юного мичмана:

— А я, господа, сегодня начистил зубы Гришкину... Вообразите...

И начинается рассказ о том, за что именно он «начистил зубы».

Большинство присутствующих хохочет. Только один такой же юный мичман замечает:

— Нашел, чем хвастать.

— И ты в либералы записался? — со смехом отвечает ему товарищ, побивший матроса. — Нынче, братец, либерализм не в моде. Атанде, кавалер Липранди. Пусть это другие популярничают с матросами, — продолжал он, взглядывая иронически на Скворцова, — а я, брат, не намерен... Виноват каналья, и я его в зубы!.. Матрос за это не в претензии...

— Конечно, не в претензии, — поддержал кто-то.

— Ахвати тебя, ты будешь в претензии?

— Вот дурацкое сравнение... У матросов совсем другие понятия... И, наконец, он к этому привык.

Скворцова взорвало, и он, весь закипая, произнес:

— Осмелюсь вы на моей вахте ударить матроса...

— Что же тогда? — вызывающе перебил юнец-мичман.

— Я бы подал на вас рапорт...

— Ого-го... Как вы строги, Николай Алексич! — пробормотал мичман.

— Разве для нас с вами закон не писан...

Разве телесные наказания не отменены?

В кают-компании наступило неловкое молчание. Большинство видимо не одобряло Скворцова, и он это хорошо чувствовал.

— Да полноте, господа, — вступился старший офицер, и сам, случилось, бивавший матросов, но никогда об этом не рассказывавший, — о чем тут спорить. Положим, оно и незаконно, так ведь иной раз вспылишь... ну и... увлечешься...

— Я не о таких увлечениях говорю, Андрей Петрович... Я о принципе. Закон есть, надо его исполнять, а не хвастать нарушением его.

— Какой цензор выискался! — прошептал кто-то.

— Вам и книги в руки, коли вы такой гуманный, Николай Алексеич. вступился ревизор вкрадчивым, ласковым тоном. — Конечно, зверствовать нехорошо... Боже сохрани... Но если иной раз, знаете ли, смажешь, ей-богу же, хоть и незаконно, а беды нет... Главное, как смазать... И какие еще там принципы... Жизнь, батюшка, одно, а принципы — другое... Вот завтра в Пирей придем — в Афины можно съездить... Гречанки там...

И разговор скоро принял фривольное направление, в котором приняли участие все, исключая доктора и Скворцова. Они вышли из кают-компании.

— Либералы! — с усмешкой проговорил юный «дантист»-мичман. — Тоже: «рапорт»!

— А вы, юноша, не хвастайте... Эка, в самом деле, подвиг какой... Ну, хватили в зубы, и шабаш... Помалчивайте! — философски проговорил жизнерадостный и благополучный ревизор. — А Николай Алексеич милейший человек, но только одна беда: либерал и с принципами носится... Ну да, поживет и уйдет! Не так ли, Андрей Петрович? — обратился он, как бы ища одобрения старшего офицера.

Старший офицер, добродушный и честнейший человек, безропотно несший ради жены и детей свою тяжелую службу с несимпатичным ему капитаном, мягкий с матросами и старавшийся как-нибудь поддерживать мир и согласие в кают-компании, отвечал несколько длинно и уклончиво насчет принципов и насчет того, как трудно проводить их в жизнь, особенно семейному человеку, да

еще на службе, где начальство не всегда любит принципы.

— И это весьма жаль, очень жаль! А то, помилуйте, что ни начальство, то новый принцип-с! — совершенно неожиданно и с каким-то раздражением в голосе вдруг заключил свои пространные рассуждения этот маленький Пилат в образе добродушнейшего и мягкого старшего офицера и ушел наверх делать неустанное дело: вечно приводить крейсер в порядок и осматривать его.

К полудню следующего дня «Грозный» бросил якорь на Пирейском рейде, вблизи нашего броненосца под контрадмиральским флагом, салютуя нации и адмиралу. Капитан, немедленно поехавший к нему с рапортом, вернулся видимо чем-то раздраженный. Адмиральского смотра ждали со дня на день, и офицеры хотели поскорее сбыть смотр, чтоб уехать в Афины.

В день прихода в Пирей, Скворцов получил полное упреков письмо от адмиральши и послание от Неглинного, в котором он, между прочим, восхвалял «эту чудную обворожительную женщину» и удивлялся, как Сквор-

цов мог разлюбить ее.

«Сам, значит, втюрился!» — подумал Скворцов и искренно пожалел своего друга.

XIV

В ожидании адмиральского смотра, назначенного через два дня, на «Грозном» шла непрерывная чистка. Чистили, подкрашивали, белили, мыли и скоблили снаружи и внутри, наверху и внизу, в машине и трюмах, заглядывая в самые сокровенные уголки.

Озабоченный и видимо щеголявший этой озабоченностью и множеством работы, старший офицер метался, словно угорелый, по крейсеру и не жалел крепких словечек, приводя судно в идеальный порядок, чистоту и блеск, которые составляют гордость каждого мало-мальски порядочного старшего офицера.

Капитан, чем-то раздраженный, был не менее старшего офицера озабочен желанием показать во всем великолепии свой крейсер новому начальнику эскадры, недавно назначенному на смену старого. Адмирал этот имел репутацию опытного, много плававшего моряка и знатока дела, человека серьезного, которого

не проведешь шарлатанством и не вотрешь очки показной стороной. И капитан, уже имевший случай убедиться в этом во время представления адмиралу по приходе на Пирейский рейд, ждал смотра не без тревоги. Он сам следил за работами, вмешиваясь в распоряжения старшего офицера, путая и раздражая его, и без толку разносил вахтенных начальников и мичманов. Но, к общему изумлению, разносил без прежних оскорбительных дерзостей, и тон его не был такой вызывающий и наглый, как раньше.

Эту внезапную перемену офицеры объяснили себе тем, что ему «попало» от нового начальника эскадры, до которого, вероятно, дошли слухи об обращении капитана с офицерами.

Предположение было верное. Действительно, командир «Грозного» получил строгий выговор, переданный по предписанию министра, что было, разумеется, еще неприятнее для такого карьериста, как Налетов, и, главное, совсем неожиданно.

А дело объяснялось просто.

Мичман Веретьев, о связях которого капи-

тан и не подозревал, ленивый и неисправный офицер, списавшийся с крейсера три недели тому назад под предлогом болезни, вернувшись в Петербург, поведал своей тетке, генеральше Чамодуровой, о том, что он вытерпел: как его притеснял и оскорблял «собака»-капитан. Этот молодой человек, молчаливо переносивший оскорбления, жаловался теперь тетке не без надежды напакостить капитану, и расчет его оказался верным. Старая генеральша, вообще дама решительная и любившая своего племянника, возмутилась, и возмутилась, главным образом, тем, что ее любимца позволил себе оскорблять какой-то выскочка из «вчерашних» дворян. И она на другой же день полетела к своей кузине и приятельнице, графине Безуздой-Саврасовой, муж которой занимал весьма видное и влиятельное служебное положение.

Взволнованная генеральша передала графине, какими невозможными словами бранил капитан бедного Володю. Боже! что за выражения! «Мокрая швабра»... «Цинготная девка».

Но это еще из лучших... Ей стыдно даже

повторять те удивительные словечки этого «морского арга», которыми угощали на корабле благовоспитанного и скромного Володю.

Однако, одно из этих словечек «морского арга» генеральша шепнула на ухо графине. Та только ахнула изобретательности моряков.

Дамы забили тревогу. Так оставить этого нельзя. Необходимо, чтобы узнали, как третируют молодых людей из порядочного общества. У самой графини был сын во флоте и с ним, графом Безуздым-Саврасовым, могут так же грубо обращаться. Хотя он и доволен плаванием и очень хвалит своего командира, но, быть может, он только не желает огорчать мать!.

И графиня в тот же день сообщила об этой истории мужу, прося его вмешательства. Пусть он поедет к его светлости и доложит ему, что делается на военном судне.

Старый граф, человек слишком умный и осторожный, чтобы позволить себе какое-нибудь вмешательство в дела чужого ведомства, разумеется, никуда не поехал и даже посоветовал графине не очень раздувать эту историю, тем более, что у господ моряков «свои

особенности», однако, при первой же встрече с морским министром «позволил себе» по-приятельски довести до сведения его высокопревосходительства о слухах, «конечно, преувеличенных, но во всяком случае компрометирующих славную семью моряков».

Несколько смутившийся адмирал очень благодарил графа за сообщение. Действительно, некоторые капитаны, к сожалению, позволяют себе более, чем следует. Он непременно расследует это дело. И на другое же утро адмирал потребовал к себе мичмана Веретьева, из-за которого был вынесен «сор из избы», чего старик не любил.

Зоркий глаз старого моряка, бывшего любимого адъютанта Корнилова, сразу угадал в этом почтительно улыбающемся, чистеньком, франтоватом мичмане лодыря и одного из белоручек, «маменькиных сынков» и «племянничков», которые, благодаря моде, полезли во флот, доставляя немало неприятностей командирам судов, на которых плавали эти шалопаи.

В ответ на предложение адмирала «рассказать по чистой совести, какие причины заста-

вили молодого человека списаться с крейсера, не окончив плаванья», мичман Веретьев с подробной точностью, почтительно глядя на адмирала своими ясными, несколько телячьими глазами, перечислил все оскорбительные прозвища, которые он безропотно выслушивал в течение года от командира «Грозного», не смея отвечать по долгу дисциплины и не желая лишиться плавания. И только, когда командир позволил себе во время аврала обругать его, как последнего матроса, в присутствии офицеров и команды, он после такого оскорбления не счел возможным оставаться на крейсере и подал рапорт о болезни.

Старый адмирал не только не выразил одобрения за такую самоотверженную выносливость, а, напротив, слушая, склонив набок свою коротко стриженную седую голову, обстоятельный доклад мичмана, все более и более хмурил свои нависшие брови, и его умное старческое лицо искривилось гримасой не то брезгливости, не то презрительного удивления.

Не таков был он сам, маститый адмирал, испытавший немало невзгод за свою стропти-

ВОСТЬ.

И этот семидесятилетний старик, достигнувший власти, которой так сильно желал и в значении которой уже успел разочароваться, взглядывая на оскорбленного мичмана, невольно вспомнил далекую молодость, когда он был таким же юным мичманом в николаевское время, вспомнил, как его чуть не разжаловали в матросы за дерзость, сказанную на шканцах капитану в ответ на оскорбительную грубость. В его время к «тетушкам» во флоте не обращались, нет!.. В голове старого адмирала пронеслось воспоминание и об этом серьезном столкновении его, надевавшим шума во флоте, с всесильным в те времена морским министром... Он был тогда уж контр-адмиралом и начальником штаба главного командира кронштадтского порта, когда позволил себе, возмущенный несправедливыми обвинениями министра, резко и страстно отвечать ему, сам обвиняя его, на мостике парохода, в присутствии высокопоставленных пассажиров... За эту выходку он принужден был на время покинуть флот... Да, он был не таков.

Мичман Веретьев, ожидавший, по-видимому, похвалы за свою, как он называл, «служебную корректность» по отношению к капитану, был удивленно смущен. Нахмуренное лицо адмирала не предвещало одобрения.

И когда мичман окончил свой доклад, адмирал все с тою же гримасой на лице проговорил суровым тоном:

— Если вас оскорблял капитан, вы должны были, по крайней мере, подать рапорт по начальству... Делу дали бы законный ход. А то вы целый год изволили молчать, а теперь жалуетесь разным тетушкам... Так не поступают во флоте... Не должны поступать-с! — строго прибавил старик. — У офицера есть начальство, а не тетушки... Ваш образ действий похвалить не могу...

И, точно вспомнив что-то, адмирал продолжал, несколько смягчая тон:

— Приписываю все это вашей молодости и надеюсь, что впредь вы будете действовать иначе... И помните, что хороший офицер сам должен ограждать себя от оскорблений... исправной службой, — прибавил дипломатически адмирал. Понимаете?

— Понимаю-с, ваше высокопревосходительство!

«Ничего ты не понимаешь и не поймешь!» — говорил, казалось, взгляд старика, снова остановившийся на этом почтительно и глупо улыбающемся лице мичмана с телячьими глазами.

— Граф Варфоломей Петрович вам родня? — спросил он, отводя взгляд.

— Дядя, ваше высокопревосходительство! — весело и точно чувствуя себя значительно поднятым в глазах адмирала, отвечал молодой человек.

— Можете идти! — резко промолвил адмирал.

Когда, вслед за уходом мичмана, в кабинет вошел с докладом помощник начальника штаба, скромный на вид, с энергичным лицом, пожилой контр-адмирал из хороших моряков прежней школы, пользовавшийся расположением и доверием своего начальника, с которым когда-то плавал, — старик, пожимая вошедшему руку, с живостью проговорил:

— Сейчас у меня был этот Веретьев, списавшийся с «Грозного». Нечего сказать, терпе-

ливый юноша... Чересчур даже терпеливый... Его Налетов целый год ругал чуть не площадными словами, а он все кушал! Хорош молодец, а? Приехал сюда и нажаловался тетушкам, а начальству ни гу-гу... Вы, конечно, слышали, какой шум подняли дамы из-за этого шалопаю? По всему видно, лодырь... А вы все-таки с Андреем Оскарычем назначьте его в дальнее плаванье... Черт с ним... За него граф Саврасов хлопочет... Нельзя отказать...

— Слушаю, ваше превосходительство.

— Да назначьте этого многотерпеливого юного Иова к кому-нибудь из командиров, который не ругается, как извозчик. А то опять выйдет история... Есть у нас такие? — усмехнулся старик.

— Есть, — улыбнулся в ответ и контр-адмирал.

— А этот хлыщ, господин Налетов, кажется, желает нарваться на пощечину? И нарвется. Не все же такие, как Веретьев. Дождется, что дадут ему в рожу... Не в первый раз я слышу, что он заносчив и груб с офицерами и бьет матросов. И офицеры дерутся. И что вы тут поделаете с этими современными нрава-

ми? Кажется, ведь неглупый человек этот Налетов и пролаз, каких мало, а ведет себя, как дурак... Воображает, что в самом деле звезда флота... Не хочу и не имею права я поднимать историю, тем более, что официально на него жалоб нет, но я напишу Тыркову, чтобы сделал ему строгий выговор и предупредил его, что об его подвигах мне известно. Верно одумается. Сообразит, что и я что-нибудь да значу... Он ведь умная bestия! — ворчливо говорил старик и вдруг с сердцем воскликнул:

— И вообще черт знает, какие у нас творятся безобразия. Много еще надо чистить наши конюшни! Не правда ли, Петр Петрович?

— Нужно, ваше высокопревосходительство.

Старик помолчал и заметил:

— То-то нужно... Вижу, что нужно... Вижу, что и молодые наши моряки подгуляли, совсем мало плавают, вижу, что и хваленый ценз не достигает цели, что мало у нас настоящих капитанов. И мичмана больше на тетушек надеются... И строим-то мы суда иногда наобум... А главное: морской дух исчезает, тот дух, что был в наше время, когда мы плавали,

а не стояли на рейдах... Все это я вижу и, несмотря на свою власть...

Вместо окончания, старый адмирал как-то беспомощно развел руками, и на его лице появилась грустная усмешка.

И, словно бы отвечая на давно занимавшие его мысли и в то же время оправдывая себя, он проговорил:

— Да, батюшка Петр Петрович, когда у меня были и силы, и энергия, и способность много работать, я был не нужен, а когда у одряхлевшей белки зубов нет, ей дали орехи... Ну-ка, давайте ваши бумаги, Петр Петрович! — оборвал старик с кислой гримасой.

XV

Утром в день смотра на флагманском броненосце были подняты позывные «Грозного» и сигнал: «развести пары».

— Что это, адмирал в море будет смотр делать? — спрашивали друг у друга недоумевающие офицеры, собравшиеся в кают-компании.

— Должно быть, что так! — отвечал старший офицер, недовольный, что дым загадит, пожалуй, только что выкрашенные борты...

— А уголь у нас есть? — спрашивали у старшего механика.

— На день хватит...

— Выйдем в море, он, верно, велит паруса поставить... Адмирал Тырков парусник, — заметил ревизор, почему-то взволнованный предстоящим смотром. — Я у него служил на «Могучем». Не любил он ходить под парами.

— Говорят, Тырков славный моряк и человек безукоризненный, — вставил Скворцов.

— Командир он был хороший, это я знаю, а до безукоризненности его я не доискивался. Свечки не держал! — раздражительно отвечал ревизор, обыкновенно добродушный и веселый.

— Честнейший человек! — промолвил доктор Федор Васильевич. — Я с ним тоже служил и хорошо знаю его.

— А он свирепый, доктор? — спросил кто-то из мичманов.

— По службе требовательный, но не свирепый, не беспокойтесь...

В ожидании адмирала, о котором интересовались все знать, офицеры были не в полной парадной форме, а, по распоряжению ад-

мирала, в обыкновенной, а матросы в чистых белых рубахах, подстриженные, выбритые и повеселевшие. И до них дошли хорошие слухи об адмирале.

Сигнальщик не спускал бинокля с флагманского броненосца.

— Паровой катер с адмиралом отваливает от борта, ваше благородие! проговорил он, обращаясь к вахтенному офицеру.

Вахтенный офицер послал доложить капитану и офицерам, что едет адмирал, и вызвал наверх караул, фалгребных и команду.

— Адмирал едет! — пронеслось по всему крейсеру, сверху донизу.

Через минуту все офицеры стояли на правой стороне шканцев по старшинству, имея во главе старшего офицера. На фланге были оба врача, старшин и младший, и батюшка, иеромонах Паисий. Команда выстроилась по обе стороны шкафута, от парадного трапа к баку.

Боцман Алексеев обходил по фронту первой вахты и заискивающим голосом говорил:

— Смотри, ребята, веселей отвечайте, как адмирал поздоровается. Чтобы, значит, в

такту. И глазами провожай...

— Нечего-то юлить. И без тебя знаем! — раздался чей-то голос.

Боцман благоразумно пропустил мимо ушей это замечание и, обойдя ряды, стал на свое место.

Капитан, нервно пощипывавший рыжую бачку рукой в белоснежной перчатке, и вахтенный офицер, оба стоявшие на мостике, смотрели на быстро приближающийся по чуть рябившему рейду паровой катер, на котором сидел адмирал с флаг-капитаном и флаг-офицером.

Прошла еще минута, другая. Катер повернул к борту крейсера, и капитан и Скворцов, бывший на вахте, спустившись с мостика, торопливо прошли к парадному трапу встречать начальника эскадры.

XVI

Когда адмирал, быстро поднявшись, ступил на палубу, караульный офицер в полной парадной форме скомандовал «на караул!» — и сперва Скворцов, а затем командир стали рапортовать о состоянии крейсера «Грозный» и его экипажа.

Выслушав краткие рапорты с приложенными у козырька белой фуражки двумя загорелыми короткими пальцами, адмирал, среди мертвой тишины, царившей на палубе, направился, чуть-чуть горбя, по морской привычке, спину, на шканцы и стал медленно обходить офицеров, фамилии которых называл капитан. Адмирал всем протягивал руку.

Это был худощавый и крепкий, невысокого роста, сутуловатый мужчина, лет за пятьдесят по виду, с серьезным, располагающим лицом, окаймленным сильно заседевшей темной бородой, и с тем спокойно твердым и в то же время добродушным взглядом небольших карих глаз, какой часто бывает у многоплававших и испытывавших всякие опасности моряков. Он был одет не щегольски, но опрятно: в поношенном сюртуке, с крестом на шее под отложным воротничком безукоризненной сорочки. Ничего важного и повелительного не было в этой скромной на вид, непреставительной фигуре маленького адмирала, но тем не менее сразу чувствовалось, что этот человек твердой воли и характера, с которым шутить нельзя.

— Ревизор, лейтенант Неклюев, — представлял командир.

— Старые знакомые, вместе служили, — промолвил адмирал, не выражая однако ничем особенного удовольствия от этой встречи. — Давно ревизором?

— С начала кампании, ваше превосходительство.

Зато, когда адмирал подошел к старшему судовому врачу, его серьезное лицо внезапно осветилось доброй, приветливой улыбкой, совсем преобразившей несколько строгую физиономию адмирала. Он порывисто и крепко пожал доктору руку и весело, тоном хорошего знакомого, проговорил:

— Что ж это вы не навестили старого сослуживца, Федор Васильевич? Кажется, приятели были? Надеюсь, побываете?

Капитан покосился на доктора. У них были не особенно приятные отношения. Адмирал пошел далее.

Поздоровавшись с караулом и приказав отпустить его, адмирал, сопровождаемый командиром, старшим офицером и своими штабными, прошел по фронту матросов, здо-

роваяаясь с людьми.

«Го-го-го!» — два раза разнеслось по рейду.

После этого команда была распущена, и заведующие отдельными частями офицеры отправились по своим местам.

Начался адмиральский осмотр крейсера.

Спустившись вниз, он обошел палубы, посетил лазарет, где лежали два больные матроса, был в машине и кочегарной, заглянул в коридор, где проходил вал винта, спускался в трюмы, был в подшкиперской и везде осматривал, не спеша, молча и внимательно опытным зорким взглядом бывшего доки старшего офицера и капитана. Подойдя к камбузу, он велел налить себе из котла щей, отведал щи, мясо и хлеб и продолжал осмотр.

Наконец, осматривать было уже нечего, и адмирал, приостанавливаясь у трапа, проговорил:

— Крейсер в должном порядке...

Капитан слегка покраснел от удовольствия. Старший офицер облегченно вздохнул.

«Начало прошло благополучно. Что-то дальше будет? У него смотр настоящий!» — подумал старший офицер.

Адмирал между тем продолжал, обернувшись к старшему офицеру:

— Видно, что вы заботитесь о своем судне, как следует. Очень приятно в этом убедиться. Очень приятно! — повторил адмирал, поднимаясь на палубу.

Самолюбивый капитан закусил губу с досады, что адмирал непосредственно благодарит старшего офицера, а Андрей Петрович, ошалевший и от суеты этих дней и от комплимента адмирала, далеко не щедрого, как ходила молва, на похвалы, прошептал, обращаясь с сияющим лицом к флаг-капитану:

— Я... что ж... я всегда готов... Слава богу, как белка в колесе... Такая должность... Не правда ли?

Флаг-капитан, молодой капитан второго ранга, взглянул было удивленными глазами на старшего офицера, который обращается к незнакомому и высшему по должности лицу с такими фамильярными излияниями, но тотчас же понял, глядя на это радостное вспотевшее лицо Андрея Петровича, что он, обрадованный, ищет сочувствия, — и вместо того, чтобы смерить старшего офицера холодным

взглядом, как собирался, невольно улыбнулся и проговорил:

— Еще бы... Каторжная должность!

И побежал быстрее по трапу, чтобы догнать адмирала.

— Готовы ли пары? — спросил адмирал, поднявшись на мостик и взглянув на часы.

— Как пары? — спросил капитан в машинный телефон и приложил ухо к трубке.

— Готовы! — донесся глухой голос старшего механика из машины.

— Так снимайтесь с якоря. Пройдем немного в море.

— Всех наверх! — приказал капитан Скворцову.

— Свистать всех наверх, с якоря сниматься! — крикнул Скворцов во всю силу своих здоровых легких.

Засвистала дудка, и та же команда повторилась боцманом, нагнувшимся в люк.

Все торопливо выбежали наверх. Старший офицер принял командование «авралом» и звучным своим баритоном, несколько возбужденный присутствием начальства, командовал:

— На шпиль. Гребные суда к подъему! Крепить орудия!

Начался «аврал», обычный при съемке с якоря.

Скворцов, находившийся по расписанию во время аврала у бизань-мачты и наблюдавший за подъемом вельбота и катера, по временам взглядывал на адмирала.

Тот, взглянув на часы, как только раздалась команда, вызывающая всех наверх, спокойно и, казалось, равнодушно наблюдал за авралом, стоя на краю мостика. Капитан стоял недалеко от адмирала, взглядывая то вокруг, как идут работы по съемке с якоря, то на лицо адмирала, стараясь прочесть на его лице, доволен он или нет.

Вначале все шло, как по маслу. Работали скоро, не суетясь и без шума. Но, при подъеме баркаса, случился маленький казус, омрачивший великолепие аврала. В гребных таях (веревках, на которых поднимаются гребные суда) что-то «заело», и баркас, приподнятый до половины, дальше не шел.

Капитан со злости готов был, кажется, обрвать свою рыжую бачку — так неистово он

ее теребил. Старший офицер глядел с мостика в ту сторону, где произошла заминка, с выражением страдания на лице.

«Зарезали, подлецы, зарезали!» — думал он, тщетно ожидая, что вот-вот баркас покажется над бортом, и на языке его висело крепкое словечко, которым он мог бы облегчить свою истерзанную душу, но присутствие адмирала стесняло его, и он только беспомощно вздохнул. К довершению всего, у места, где поднимался баркас, шел говор, пересыпанный бранью, и до мостика донесся крикливый молодой тенорок мичмана-«дантиста», щегольнувшего импровизацией по части ругательств.

Адмирал поморщился. Капитан принялся рвать другую бачку и злобно прошептал старшему офицеру:

— Андрей Петрович... Полюбуйтесь! Баркас... Где баркас?

Но старший офицер уже стремглав летел к месту, где поднимали баркас.

— У-У-У... подлецы... дьяволы! — стиснув зубы, прошептал он. — Павел Николаевич! Что вы со мной сделали? — проговорил он го-

лосом, полным отчаяния, обращаясь к мичману, наблюдавшему за подъемом баркаса, и глядя на него взглядом, полным ненависти и упрёка.

— Тали неверно заложили эти подлецы...

— Что же вы смотрели? Эх... А еще морской офицер?. И ругаетесь на весь крейсер вместо того, чтобы дело делать, — говорил он, приказывая в то же время немедленно травить тали, спустить снова баркас на воду и переложить тали.

Когда все это было сделано, и баркас был поднят, старший офицер снова взглянул сердитыми глазами на мичмана и побежал на мостик... Сконфуженный, он робко и виновато взглядывал на адмирала, по-прежнему молчаливо стоявшего на своем месте.

— Что было? Отчего баркас не шел? — спрашивал тихо капитан.

— Тали... Мичман не доглядел... — отрывисто и сердито отвечал старший офицер, досадуя, что еще эта «собака» пристаёт с расспросами, когда и без того у него кошки на сердце, и с каким-то озлоблением крикнул:

— Как якорь?

— Десять сажен! — отвечали с бака.

Между тем мичман-«дантист», получивший разнос от старшего офицера и не посмотревший, что второпях двое матросов, остававшихся на баркасе, неверно заложили тали, набросился на виновных с загоревшимися злостью круглыми глазами, как у молодого ястребка... Он отозвал этих двух матросов, смущенных от сознания своей вины, на другую сторону крейсера, чтобы адмирал не мог ничего увидеть, и со злостью стал тыкать то одного, то другого матроса кулаком по их лицам с жмурившимися глазами при каждом ударе.

Адмирал, заметивший, как молодой офицер с злым лицом поманил матросов, в ту же минуту перешел на другую сторону мостика и увидал сцену.

— Аркадий Дмитрич, — проговорил он своим тихим, отчетливым, слегка дрогнувшим голосом, с нахмурившимся лицом, — это что за безобразие у вас? Офицеры дерутся, не стесняясь даже присутствием адмирала!.. Это что же, на крейсере в обычае?

Капитан молчал.

— Прошу посадить этого мичмана... Как его фамилия?

— Иртеньев, ваше превосходительство.

— ...Мичмана Иртеньева под арест на трое суток после смотра и предупредить, что, если что-нибудь подобное повторится, я отдам его под суд... И каждого офицера, кто бы он ни был! — подчеркнул адмирал.

— Слушаю-с, — отвечал капитан и, весь вспыхнув, отошел.

— Панер![7] — крикнули с бака.

— Тихий ход вперед! — проговорил капитан в машинный телефон. — Право на борт!

Крейсер медленно стал поворачиваться на узком пространстве рейда, где стояло несколько судов на пути, и капитан был видимо озабочен, как бы благополучно выйти, не осрамившись перед этим «привязчивым» адмиралом, черт бы его унес скорей с «Грозного»!

«Небойсь, особенной карьеры не сделает, хоть и завзятый моряк! Сдадут года через четыре в архив!» — иронически подумал Налетов, тревожно смеривая глазом циркуляцию, которую должен описать громадный крейсер.

Несмотря на наружное спокойствие адмирала, и у него дрогнуло сердце, когда крейсер, поворачиваясь между двумя судами, казалось, вот-вот навалит на маленький французский авизо. Расстояние между носом крейсера и носом французского судна делалось все меньше и меньше. По счастью, на «французе» догадались потравить канат, и авизо подался назад, но все-таки...

И адмирал, в котором заговорил лихой моряк, входивший бывало под парусами и не на такие тесные рейды, едва удержался, чтоб не крикнуть рулевым: «право, больше право!» Но, не желая конфузить капитана и вмешиваться в его распоряжения до последнего момента, он нервно и торопливо приблизился к нему, чтоб передать это приказание.

Но в ту же секунду капитан сам крикнул рулевым, и «Грозный» благополучно прошел под носом «француза». А капитан нагло взглянул на адмирала, словно бы понимая, зачем он подошел, и словно бы говоря этим взглядом, что и он умеет управлять судном не хуже его.

Через четверть часа крейсер уже шел пол-

ным ходом в открытое море.

Ветер был легкий, брамсельный.

Адмирал приказал остановить машину, поставить все паруса и лечь в бейдевинд.

— Марсовые к вантам! По марсам и салингам! — командовал старший офицер, надеясь, что постановка парусов загладит «позорную» съемку с якоря.

И, когда марсовые довольно бойко добежали до марсов, радуя его сердце, весело крикнул:

— По реям!

Адмирал поглядывал наверх, как разбежались по реям матросы и стали развязывать закрепленные марсели.

— Отдавай. Грот и фок садить. Кливера поставить! Пошел брасы!

Весь этот маневр постановки парусов был выполнен недурно. Не прошло и пяти минут, как крейсер с обрасопленными реями сверху и донизу покрылся парусами и, словно гигантская птица с белоснежными крыльями, чуть-чуть накренившись, тихо пошел, подгоняемый легким ветерком.

На серьезном лице адмирала скользнула

улыбка одобрения. «Недурно», казалось, говорила она.

И он сказал, обращаясь к капитану, но нарочно громко, чтобы слышал старший офицер:

— Паруса поставлены недурно.

И сам в эту минуту вспомнил, как у него, бывало, на «Могучем» лихо ставили паруса. И не в пять минут, а в три. Ну, да то было прежде. А теперь и за это нужно хвалить.

— Ну-с, теперь попросите мичмана Иртеньева сделать поворот оверштаг.

Позвали мичмана-дантиста на мостик, и капитан приказал ему делать поворот.

Никак не ожидавший такого экзамена и к тому же не твердо знавший, как командовать, он сконфузился и нерешительным, дрожащим голосом крикнул:

— По местам стоять. К повороту!

Но затем сбивался и путал командные слова так, что старший офицер должен был ему подсказывать.

Когда поворот был окончен, адмирал подождал мичмана к себе и сказал:

— Бить матросов вы выучились, а сделать

поворота не выучились. Стыдно, господин Иртеньев.

И, когда сконфуженный мичман ушел, адмирал велел вызвать другого мичмана. У этого дело пошло лучше, но все-таки неважно. И еще двое мичманов видимо плохо умели командовать.

— Не мешало бы практиковать молодых офицеров, Они у вас ничего не знают! заметил адмирал капитану и приказал менять марселя.

«Ох», — вздохнул старший офицер, снова командуя авралом и не надеясь, что эта работа будет сделана хорошо, так как на парусных ученьях у них никогда не меняли марселей, хотя он и не раз предлагал об этом капитану.

И действительно, вышла путаница и большая заминка. Видно было, что люди плохо знали, что им делать. Прошло с добрых двадцать пять минут, пока, наконец, не переменили марселей.

И опять адмирал сказал капитану:

— Кажется, у вас никогда не меняли марселей?

— Не меняли.

— Это и видно. Потрудитесь обратить больше внимания на парусные ученья. Нынче ими пренебрегают, а они необходимы.

После часового отдыха команде, снова все были вызваны наверх и опять начались разные учения. Пробили пожарную тревогу, потом опускали мину и, наконец, пробили боевую тревогу и сделали артиллерийское ученье.

Адмирал все внимательно наблюдал, задавал вопросы комендорам и молодым офицерам и все время держал капитана в озлобленно-нервном напряжении. Капитан и сам видел да и читал на лице адмирала — очень много прорех в своем командовании. Да и не ожидал он, признаться, такого смотра. То ли дело прежний начальник эскадры! В полчаса смотр окончит, а этот...

Наконец, в пятом часу вечера крейсер вернулся в Пирей и стал на якорь. «Слава богу, все кончено теперь!» — радостно думал капитан, не догадываясь, что самое нерадостное для него еще впереди.

— Команду во фронт! — скомандовал старший офицер.

Все матросы выстроились наверху, и офицеров попросили удалиться, как обыкновенно делается при опросе претензий.

Адмирал, в сопровождении флаг-капитана, приблизился к фронту и, став посередине, спросил:

— Есть ли у кого претензии? У кого есть, выходи.

Во фронте царило гробовое молчание. Никто не выходил.

— Ни у кого нет претензий? — довольным голосом повторил адмирал.

Но в эту самую минуту с конца фронта вышел матрос и направился к адмиралу. Он остановился, не доходя шагов десяти до адмирала, и взволнованным голосом произнес:

— У меня есть претензия, ваше превосходительство!

— В чем она? — спросил, хмурясь, адмирал.

— Беззаконно наказан пятьюдесятью ударами розог по приказанию капитана, не бывши в разряде штрафованных, — говорил молодой, совсем побледневший матрос, глядя прямо в лицо адмирала.

— А теперь ты штрафованный?

— Точно так, ваше превосходительство.

— Как твоя фамилия?

— Чижов, ваше превосходительство.

— Хорошо. Я разберу твое дело. Ступай.

— Дозвольте перевестись на другое судно, ваше превосходительство!

— Посмотрю... Больше ни у кого нет претензий, ребята?

Никто больше не выходил.

— Что, пришел за мной катер? — спросил адмирал, возвращаясь назад, у вахтенного офицера.

— У борта, ваше превосходительство.

— Попросите капитана и господ офицеров.

— Есть!

Снова вызвали караул и фалгребных. Только что разошедшиеся матросы опять были поставлены во фронт, и офицеры выстроились на шканцах.

Адмирал отвел капитана в сторону и тихо проговорил:

— К крайнему моему сожалению, на вас, Аркадий Дмитрич, заявлена претензия, и я, по долгу службы, должен дать ей законный

ход и сообщить высшему начальству.

— Какая претензия, ваше превосходительство?

— Матрос Чижов заявил, что вы его приказали наказывать розгами, не имея на то по закону права. Он не был тогда штрафованным. Это правда?

— Совершенная правда, ваше превосходительство... Но этот Чижов такая каналья...

Адмирал двинулся и, направляясь к офицерам и снова останавливаясь, продолжал:

— О сегодняшнем смотре я отдам подробный приказ по эскадре. Крейсер вообще в должном порядке, за что считаю приятной обязанностью благодарить вас и старшего офицера, — обратился адмирал к Андрею Петровичу. — Но парусное обучение слабо и многое требует настойчивого внимания. Надеюсь также, что собственноручная расправа, которую позволил себе мичман Иртеньев, единичное явление и впредь ничего подобного не повторится... Надеюсь, господа! обратился адмирал к офицерам и сделал общий поклон. — До свидания.

Адмирал прошел по фронту и благодарил

команду за усердную работу.

— Рады стараться, ваше превосходительство! — гаркнули в ответ матросы.

Адмирал пожал руку капитану и старшему офицеру и спустился в катер, приказав немедленно отослать матроса Чижова на «Гремящий».

Почти все офицеры облегченно вздохнули, когда адмирал уехал.

— Ну, и пила этот адмирал! Тоже новые порядки заводит... А капитану-то как попало! — говорили в кают-компании сконфуженные мичмана.

— И под суд попадет! — заметил весело Скворцов.

— Это за Чижова-то? Дудки! И не такие претензии бывали и — ничего себе... Сделают разве замечание — вот и всего! — проговорил ревизор. — И, наконец, у нашего капитана связи... А Тырков — педант и формалист... Это тоже все знают.

К вечеру половина офицеров уехала в Афины. А капитан долго сидел у себя в каюте и писал в Петербург письма, которые, он надеялся, парализуют сообщение адмирала.

Не обратят же в самом деле серьезного внимания на то, что он выпорол мерзавца-матроса, не догадавшись прежде перевести его в разряд штрафованных.

— Шалишь, адмирал. Как бы тебя самого не убрали! — злобно прошептал капитан...

XVII

В это воскресенье, за день до ухода эскадры из Кронштадта в Транзунд, Иван Иванович уехал к себе на корабль в первом часу, тотчас после завтрака, хотя раньше и предполагал, по случаю воскресенья, провести весь день на даче. Но ему казалось, что его присутствие должно стеснять Ниночку и что ей лучше в такие минуты оставаться одной. Все эти дни бедный Иван Иванович находился в тревожном и угнетенном состоянии, болея душой за любимое существо и тщательно скрывая свою тревогу. Он, разумеется, и вида не подавал, что знает об ее любви к Скворцову и знает, зачем ей вчера понадобилось съездить в Петербург. Все это время он с особенной бережностью относился к жене и говорил с ней с той осторожной, даже боязливой ласковостью, с какой говорят с дорогими больными,

которых боятся раздражить каким-нибудь неуместным словом. И только незаметно, украдкой взглядывал на жену своими добрыми и грустными маленькими глазками.

Но в присутствии мужа Нина Марковна была, казалось, спокойна. Ничто не выдавало ее горя. По-прежнему она приветливо улыбалась мужу и даже раз чему-то засмеялась. Только глаза ее как будто были красны и несколько ввалились, что придавало ее хорошенькому личику вид томности.

«Бедняжка! Она притворяется спокойной, чтобы не выдать себя. Ей не хочется огорчить меня. Скрывать горе еще тяжелей!» — думал старик и решил, что лучше ему уехать, оставив ее одну.

«По крайней мере, вволю наплачется, голу-бушка!»

И за завтраком, любуясь своей хорошенькой Ниночкой («Вот-то безумец Скворцов!»), он объявил ей, что должен ехать на эскадру.

— Зачем? Ты ведь хотел остаться до вечера! — проговорила Нина Марковна.

— То-то забыл, Ниночка, что дело есть... Со всем забыл, родная. Уж ты извини. Очень хо-

телось бы мне побыть с тобой, а нельзя.

— Когда же ты приедешь?

— Завтра вечером в последний раз перед уходом. Во вторник мы снимемся с якоря и идем в Транзунд.

— Так скоро? И я не увижу тебя целых два месяца? — проронила адмиральша грустным голосом, даря адмирала нежным взглядом.

— Что делать, Ниночка! — проговорил адмирал и, глубоко вздохнув, смущенно отвел свои глаза, точно боясь выдать свою скорбь и признаться, как тяжела будет для него эта двухмесячная разлука.

Ел Иван Иванович сегодня без обычного своего аппетита и вид имел какой-то расстроенный и смущенный. Нина Марковна это заметила и спросила:

— Ты ничего не ешь? Не нравится ростбиф? Не хороша цветная капуста?

— И ростбиф отличный, и цветная капуста превосходная, Ниночка...

— Так кушай...

— Что-то не хочется...

Нина Марковна остановила взгляд на муже. Глаза ее быстро и холодно оглядели это

некрасивое, красное, широкое лицо, эту толстую, короткую, в складках шею, эту тучную фигуру, точно с трудом дышавшую, эти короткие, крупные, покрытые волосами пальцы, и она вспомнила о своем красавце Нике. Ей казалось, что несчастнее ее женщины нет в мире. И внезапно в голове ее пронеслась дикая, испугавшая ее мысль, заставившая ее вздрогнуть, точно от холода.

Она подумала: «Если бы умер Иван Иванович (при его тучности легко умереть от удара), она вышла бы замуж за Нику и была бы счастлива, а теперь»...

Но в следующее же мгновение молодая женщина ужаснулась этой мысли. Желать смерти, и кому? Доброму, безгранично любящему «Ванечке», который балует и лелеет ее и всегда так ласков, деликатен и доверчив? Господи! Какие ужасные мысли могут придти в голову!

Охваченная чувством стыда, раскаяния и жалости, она с особенною нежною заботливостью спросила мужа:

— Ты, верно, нездоров, Ванечка?

Маленькие, заплывшие глазки адмирала

светились выражением бесконечной любви и нежности, когда он их поднял на Нину Марковну и встретил ее тревожный взгляд.

«Жалеет меня. Заботится о моем здоровье вместо того, чтобы ненавидеть. Добрая, голубушка!» — благодарно подумал умилившийся старик и, стараясь казаться спокойным, промолвил:

— Я здоров, Ниночка. Совсем здоров, родная, — что мне делается! Ты только не захворавай на даче...

И Иван Иванович, уже несколько дней занятый мыслями о том, как бы рассеять свою Ниночку, чтобы смягчить остроту горя первого времени разлуки с любимым человеком, и решивший, что лучше всего ей куда-нибудь уехать, — издалека повел речь о подлейшем петербургском лете («Сегодня вот жарко, а завтра собачий холод!») и об этих «легкомысленных» дачах, в которых легко схватить ревматизм, и после долгого предисловия, наконец, сказал:

— Знаешь ли, Ниночка, что я придумал?

— Что? — спросила Нина Марковна, не понимавшая, к чему это Ванечка, разразился

против петербургского лета и дач.

— Не хочешь ли куда-нибудь прокатиться, а?

— Куда прокатиться? — воскликнула адмиральша, удивленная этим неожиданным предложением.

— Мало ли мест, где лето хорошее. Куда хочешь, Ниночка... В Крым или на Кавказ, а то к сестре в Малороссию.

— С чего это тебе пришло в голову меня посылать? — спросила, пожимая плечами, Нина Марковна.

— Да так, пришло в голову, и шабаш! — с обычным своим простодушием отвечал Иван Иванович. — Здесь разве лето?. Так, дрянь какая-то... И, наконец, ты, пожалуй, одна соскучишься...

— Отчего ты думаешь, что я непременно должна скучать? — с пытливой настойчивостью и скрытой тревогой допрашивала адмиральша и пристально посмотрела в глаза мужа.

Но Иван Иванович храбро выдержал взгляд и, усмехнувшись, заметил:

— Отчего люди скучают?. Ты одна, никого

близких... Я в море... Здесь однообразие... И вообще.

Он не знал, что дальше сказать, и прибавил:

— И вообще путешествие вещь приятная, Ниночка... Не правда ли?

— Не спорю, что приятная, но разве не безумие бросать дачу, за которую заплачено четыреста рублей, и тратить деньги на поездку?. Положим, без тебя мне будет скучнее, но не в первый же раз мы расстаемся.

И адмиральша, поблагодарив мужа за предложение, решительно отказалась, по крайней мере теперь, куда-нибудь ехать. Она совершенно здорова и постарается не скучать без Ванечки. Она приедет на несколько дней повидаться с ним в Ревель, когда туда придет эскадра. Ведь он даст ей телеграмму? И в Транзунд приедет раз, если можно. И почему ему кажется, что дача сырая? Дача отличная. Не первый же год они живут на этой даче. И знакомые здесь есть: мадам Свербицкая, баронесса Курц... Она будет купаться, гулять, читать, варить варенье.

— Нет, в самом деле, объясни мне, Ванеч-

ка, отчего это ты вдруг вообразил, что я непременно должна скучать здесь и что мне надо куда-нибудь ехать?. Это любопытно! — прибавила Нина Марковна с каким-то нервным ненатуральным смехом.

С языка ее готов был сорваться вызывающий вопрос:

— Уж не думаешь ли ты, что отъезд Скворцова меня так огорчил?

И вслед за тем она расхохоталась в глаза Ванечке. Как он мог предположить такой вздор. Она была дружна со Скворцовым, но чтобы...

Что-то однако удержало адмиральшу от этой комедии.

А Иван Иванович уже испугался, что, пожалуй, раздражил «бедную Ниночку», и виновато проговорил, пощипывая свою бороду.

— А ты не сердись, Ниночка. Ну, пришла, знаешь ли, глупая идея, что ты и захвораешь, и соскучишься, я и того... сказал тебе. И, в самом деле, зачем тебе ехать в Крым или на Кавказ... Признаться, я рад, что ты не поедешь. По крайней мере, увижу тебя летом... Надеюсь, хоть изредка и весточки о себе бу-

дешь давать...

— Еще бы, я буду тебе писать раз в неделю аккуратно.

— Вот и отлично!

— А если надоест быть одной, я приглашу к себе погостить Ваву.

— Вместе и на эскадру соберитесь. А уж как мы вас встретим, двух красавиц! — шутил адмирал.

Эта «Вава» была кузина адмиральши, цветущая, полная, миловидная и кокетливая вдовушка лет тридцати, с которой Нина Марковна была прежде очень дружна и часто с ней виделась. Но в последнее время между ними пробежала кошка. Адмиральша ревновала к ней Нику и перестала звать ее к себе.

— Однако, пора! — проговорил адмирал, поднимаясь из-за стола и взглядывая на часы.

Пришли доложить, что лошадь готова.

— Ну, прощай, Ниночка.

И адмирал почтительно и нежно поцеловал женину ручку, потом, по обыкновению, перекрестил жену три раза и уехал, хотя ему так хотелось провести день около Ниночки.

Адмиральша тотчас же ушла в кабинет и

стала писать Скворцову.

Это первое, после разлуки, письмо на нескольких листках изящной почтовой бумаги, от которой шел тонкий запах духов, написанное порывисто и страстно за один присест, с многочисленными восклицательными знаками и орфографическими ошибками, говорило в несколько приподнятом тоне о любви, о тоске, о первой бессонной ночи (хотя адмиральша и спала эту ночь), во время которой дорогой образ Ники не покидал ее ни на минуту. Может ли он любить ее так сильно и ценит ли он ее любовь? Она вспоминала последнее их свидание наедине, заочно целовала его «милые глаза» и опять спрашивала, любит ли он свою Нину. «О, Ника, не забывай, что я для тебя всем пожертвовала и в первую минуту отчаяния готова была умереть», — писала, между прочим, Нина Марковна, почти уверенная в эту минуту, что валерьян мог лишить ее жизни. Письмо было смочено слезами.

Окончив свое послание, Нина Марковна вложила его в красивый из толстой бумаги конверт и задумалась, печально склонив

свою хорошенькую головку.

Она думала о своем положении, о Нике, о Ванечке. Целый год одиночества и тоски. Целый длинный год не видеть милого Ники и скрывать свою тоску, ради мужа. Трагическое положение! И ей казалось, что судьба к ней безжалостна и что она бесконечно несчастна. Она жалела себя, воображая, что она героиня-старадалица, жертвующая собой ради долга, и слезы снова текли по ее щекам.

Из открытого окна веяло ароматом цветов на террасе.

Кругом была тишина. «Как бы счастливо провели они лето с Никой вдвоем!»

И в воображении Нины Марковны пронеслись воспоминания о недавнем счастье, об этих свиданиях, об этих безумных, горячих ласках красавца Ники. И глаза ее загорались блеском, и пышные губы полураскрывались, точно для поцелуя...

Нет, она не может жить без Ники!

В голове ее блеснула радостная мысль, и на лице появилась улыбка... Она воспользуется предложением Ванечки, конечно, не теперь — это было бы совсем неприлично — а

осенью или зимой... Она поедет за границу. То-то обрадуется Ника, если она неожиданно, сюрпризом, приедет в Ниццу и вызовет его телеграммой... А, может быть, их крейсер будет где-нибудь долго стоять, она поселится вблизи, и они будут часто видеться.

Адмиральша замечталась об этом... Она не напишет ни слова о своем намерении Нике... ни за что. Пусть радость его будет неожиданная.

Повеселевшая, она сама пошла бросить письмо в ящик и, вернувшись, уселась на террасе с романом Поля Бурже в руках.

— Лейтенант Неглинный! — доложил вестовой из матросов Егор, одетый в черную парю.

— Просите сюда, — сказала адмиральша, оправляя прическу.

XVIII

Осторожно ступая своими длинными неуклюжими ногами и щуря близорукие голубые глаза, Неглинный, обещавший другу навещать адмиральшу, нерешительно и робко вошел на террасу и, отвешивая низкие поклоны, приблизился к адмиральше.

Нина Марковна знала, что этот «милый и смешной бука», как она шутя прозвала Неглинного, был преданным другом Ники, и, вероятно, вследствие того, тотчас же приняла сдержанно грустный и томный вид женщины с затаенным горем на душе, которое она должна скрывать от людей... Пусть Ника и от друга узнает, как она горюет.

Слегка кокетничая своим положением страдалицы, она с кроткой, приветливой и в то же время полугрустной улыбкой, которая очень шла к ней, промолвила тихим, ласковым голосом:

— Очень рада, что задумали навестить отшельницу. Это по-христиански. Спасибо вам, Василий Николаевич.

И, отложив в сторону маленький желтый томик французского романа, дружески протянула руку, значительно обнаженную из-под короткого полупрозрачного рукава.

Неглинный, в качестве большой «фефелы», был тронут и умилен видом этой «тихой скорби», воплощенной в образе очаровательной женщины, которую он прежде видел всегда живой, бойкой и веселой.

«Бедная! Как она изменилась!»

И словно бы боясь сделать больно этой маленькой, нежной, холеной ручке, блестящей кольцами, он как-то особенно бережно и почитательно пожал ее в ответ на крепкое, по-английски, пожатие адмиральши и, смущенно и сердито отводя взгляд, нечаянно скользнувший по роскошному бюсту, словно облитому тонкой светлой тканью лифа с большим вырезом у ослепительно белой шеи, — торопливо и взволнованно проговорил, краснея до корней своих рыжих волос:

— Я давно собирался к вам, Нина Марковна, чтобы засвидетельствовать вам и Ивану Ивановичу свое глубочайшее почтение... («Эка, как длинно и глупо!» пронеслось у него в голове)... Еще до отъезда вашего на дачу, я, собственно говоря, имел это намерение, но, к сожалению, экзамены помешали... Я лишь на днях окончил последний экзамен из астрономии...

«О, дурак! Какое ей дело до моих экзаменов!» — опять подумал Неглинный и, в отваге отчаяния, немилосердно теребя свою фуражку, оборвал свою речь вопросом:

— Как здоровье Ивана Ивановича?

— Ванечка здоров. Он только что уехал на свой корабль и обещал завтра приехать проститься...

— Завтра? — почему-то счел долгом переспросить Неглинный.

— Да. Послезавтра эскадра уходит, и я останусь одна, совершенно одна... Впрочем, мне не привыкать к одиночеству, — как бы мимоходом, вставила адмиральша. — А с вашей стороны очень мило, что вы, наконец, собрались... Очень мило... Садитесь, Василий Николаевич, снимайте свой кортик и кладите фуражку... Ведь вы, конечно, обедаете со мной? Надеюсь? — прибавила приветливо Нина Марковна.

Застенчивый вообще с женщинами и в особенности с теми, которые ему нравились, Неглинный обрадовался приглашению и в то же время малодушно трусил возможности остаться вдвоем с Ниной Марковной. А как ему хотелось побыть подольше около этой «страдалицы» и хоть своим присутствием несколько отвлечь ее от тяжелых дум («Какой, однако, болван и бездушный эгоист

Скворцов!»). Но разве он способен на это, дубина? О чем он будет говорить с ней в течение нескольких часов? Нельзя же сидеть в гостях, как пень, и хлопать глазами. Он только наведет на нее скуку, если останется! Еще если бы был дома адмирал, ну тогда...

И, проклиная в душе свою «подлую» застенчивость, он проговорил:

— Я несказанно благодарен за ваше любезное предложение, Нина Марковна, но дело в том, что я, видите ли, рассчитывал...

— И не думайте отказываться, — перебила адмиральша, заметившая колебания своего гостя и знавшая его застенчивость. — Разве приезжают на дачу на четверть часа? Давайте-ка мне вашу фуражку и кортик.

Застенчиво и покорно, стараясь скрыть радостное волнение, Неглинный подал фуражку и кортик вместо того, чтобы самому положить их. Он спохватился о своей неловкости, когда уже адмиральша положила вещи на стол, и порывисто опустился на кресло против Нины Марковны.

— Теперь вы у меня в плену, Василий Николаевич... После обеда мы пойдем гулять, а

затем я вас отпущу, если уж вы очень соскучитесь. Видите, какая я эгоистка с добрыми знакомыми! — прибавила адмиральша с очаровательной улыбкой, открывавшей ряд мелких жемчужных зубов, из которых, впрочем, пять было вставных.

«Обработка» Неглинного уже началась, помимо желания молодой женщины. Подавленный ее ласковым приемом, полный восторженного сочувствия к ее положению и восхищенный ее красотой, напомнимшей ему вдруг неземную красоту «мадонны», — молодой, долговязый блондин решительно не знал, что ему ответить, и только благодарно и глупо улыбался и лицом, и глазами, и неистово крутил свой рыжий вихор тонкими длинными пальцами, точно в нем он хотел найти дар слова.

В его мягкой и нежной душе внезапно исчезло то чувство грустного разочарования и снисходительной жалости, которое заочно питал он к адмиральше, узнав об ее связи со Скворцовым, как к женщине, оскорбившей его идеальные верования в ее чистоту и добродетель. И он, напротив, считал себя теперь

безмерно виноватым за то, что осмелился обвинять ее так поспешно, не взвесивши всех обстоятельств («а еще математик»), и проникся к адмиральше восторженно-благоговым чувством, окружив ее маленькую, изящную и подавленную горем фигурку ореолом незаслуженного несчастья и безвинного страдания. Бедная страдалица! Какая драма в ее сердце, навеки разбитом! Она и не знает, что Скворцов ее не любит... болван эдакий!

Не могла же она, молодая, цветущая и прекрасная, любить своего мужа, этого доброго, симпатичного Ивана Ивановича, невольно погубившего ее жизнь. Он слишком стар, и любовь к нему невозможна... противна природе. Чем же виновата она, что полюбила Скворцова, и как еще полюбила... Но сколько перенесла она мук из-за этого и как должна страдать, бедная!

— А я вот читала «Les Mensonges» Поля Бурже, — продолжала Нина Марковна, указывая на книгу крошечным мизинцем, на котором сверкал небольшой бриллиант, — подарок Скворцова. — Вы знаете эту вещь, Василий Николаевич?

— Читал.

— В переводе? — любопытствовала адмиральша, почему-то предполагая, вероятно, по скромному виду Неглинного, что он не должен знать иностранных языков.

— В подлиннике, — отвечал, краснея, молодой академик, основательно знавший три иностранных языка.

— И что же?. Нравится вам роман?

— Нет, не нравится, — решительно проговорил Неглинный. — И вообще я не люблю Бурже! — прибавил он.

— Не любите? Почему же? — удивленно поднимая на молодого человека глаза, спросила Нина Марковна.

Она сама была большая поклонница этого писателя и нередко в героинях его романов видела себя.

Прежде, чем ответить на этот вопрос, Неглинный, по обыкновению, на несколько мгновений задумался.

Его худощавое, застенчиво покрасневшее, в веснушках лицо, далеко не красивое, но необыкновенно располагающее своим открытым видом, опущенное кудрявой рыжеватой

бородкой, с высоким, большим лбом, несколько великоватым носом и добродушными, крупными и сочными губами, полуприкрытыми маленькими усами, — тотчас же сделалась серьезно и строго. И только голубые глаза его, умные и вдумчивые, светились выражением чего-то необыкновенно кроткого, чистого, почти детского.

— Мне кажется, — заговорил он, — автор слишком односторонен и клеветает на женщин, представляя их несравненно испорченнее и лживее, чем они есть... Вот хоть бы эта героиня. Разве возможна такая женщина, которая обманывает сразу трех и принадлежит всем трем? Нет, это невозможно! Это слишком безнравственно! — воскликнул Неглинный, оживляясь.

Его застенчивость почти исчезла, когда он заговорил об отвлеченном предмете. Как все целомудренные молодые люди, неиспорченные слишком близким знакомством с женщинами, идеализировавшие их, он продолжал восторженно и не без красноречия свою защиту, не догадываясь, конечно, что этот дифирамб был суровым обвинительным актом

против этой самой, вдохновлявшей его, прелестной «мадонны»-адмиральши, которая за время своего пятнадцатилетнего супружества с Иваном Ивановичем сама бывала в затруднительном положении героинь Бурже. И если адмиральша, как героиня французского романиста, и не принадлежала одновременно трем, то двоим — во всяком случае, причем обманывала и мужа и любовника. Один только Скворцов имел счастье безраздельно пользоваться ее любовью.

Адмиральша, любившая не только «жертвовать всем» ради чувства, но и вести теоретические разговоры о чувствах, особенно с молодыми людьми, слушала Неглинного с снисходительной улыбкой, как слушают наивный ребячий лепет, и когда он окончил и вдруг притих на своем кресле, словно чувствуя себя виноватым, что много говорил, — Нина Марковна покачала головой и медленно промолвила:

— Как посмотрю я, совсем еще вы юнец, Василий Николаич, и вовсе не знаете женского сердца... Верно, вы редко бываете среди дам?

Неглинный смутился.

— Это верно... Я редко бываю... некогда как-то и вообще я не умею с ними разговаривать, но все-таки те женщины, которых я имею честь знать...

— Ангелы? — смеясь, перебила его Нина Марковна.

— Заслуживают глубочайшего уважения! — серьезно и восторженно закончил Неглинный и снова покраснел, опуская глаза.

«Однако, он совсем забавный, этот застенчивый, добрый бука! Верно, влюблен в какую-нибудь юную барышню и считает ее неземным созданием!» — решила адмиральша и не без любопытства взглянула на «забавного» молодого человека.

— Вы чересчур идеализируете нас, милый Василий Николаич, — заговорила она ласковым тоном старшей сестры, дающей наставление, — и это очень невыгодно и для женщин, и для вас...

Неглинный серьезно и вопросительно взглянул на адмиральшу, как взглядывал, бывало, на профессора, когда какое-нибудь положение казалось ему непонятным, и снова то-

ропливо и смущенно отвел в сторону взгляд, любопытно остановившийся на несколько мгновений на этот раз на красивой обнаженной руке молодой женщины, и мысленно обругал себя за это «святотатство» скотом. Еще слава богу, что она не заметила!

— Хоть вы и очень милый и добрый человек, — я ведь кое-что слышала о вас от вашего друга, Николая Алексеича! — но, благодаря своему идеальному представлению о женщинах, наверно, беспощадно осудите ту из них, в которой разочаруетесь... а это так легко!.. Вы не простите ей ошибки, слабости, увлечения... И будете несправедливы, как и большая часть мужчин... А ведь женщину так легко осудить!! — прибавила адмиральша и вздохнула.

«Господи! Неужели она догадывается, что я знаю об ее отношениях к Скворцову, и думает, что я могу ее осудить!»

Эта внезапно блеснувшая мысль повергла Неглинного в ужас и отчаяние.

А ведь он действительно раньше осмелился осуждать ее!

«Ах, зачем я пустился в теоретические рас-

суждения, осел эдакий!» — подумал он в тоске, не зная, как ему быть теперь. И, необыкновенно деликатный по натуре, Неглинный совсем упал духом.

А Нина Марковна, ничего не подозревавшая и, разумеется, не думавшая, что Ника кому-нибудь расскажет об их отношениях, между тем продолжала:

— Сердце женщины очень сложный инструмент, милый Василий Николаич, и с ним надо обращаться бережно... очень бережно... Вот вы сказали: «неужели бывают такие лживые и безнравственные женщины, как героиня романа Бурже?..» Разумеется, бывают... Я, конечно, не защищаю ее... Она несимпатична, она не возбуждает даже сожаления, эта бездушная эгоистка... Но случается, что и порядочная, честная женщина бывает поставлена в такое положение, что ей приходится обманывать, как это ни тяжело. И какой страдальческий крест несет она за это... А вы, мужчины, не понимая женщины, готовы бросить в нее камнем...

Неглинный горячо протестовал.

Разве он говорил про таких женщин? О,

он, хоть и мало знает их, но в состоянии понять, что жизнь создает трагические положения, когда самой чистой, нравственно прекрасной женщине приходится таить что-нибудь на сердце. Осудить подобную женщину-страдалицу — святотатство.

— Ужели вы считаете меня способным на такую... такую низость, Нина Марковна?

Всю эту тираду, и особенно заключительные слова, Неглинный произнес таким восторженно горячим тоном, с такой искренностью и чуть не со слезами на глазах, что Нина Марковна с изумлением взглянула на взволнованного Молодого человека и поспешила его успокоить.

— Отчего вы так волнуетесь? Я верю вам, вполне верю, — ласково промолвила она и заметила, что Неглинный просиял.

— Такие люди, как вы, нынче редкость... Вы слишком большой идеалист и за то вас ждет много разочарований... Что делать! В юности и я была идеалистка, а с годами стала недоверчивее к людям. Да и многие ли так относятся к женщине, как вы?. Многие ли ее понимают? Да, милый Василий Николаич, вы

правы, в нашей жизни бывают трагические положения! — как-то загадочно протянула адмиральша и мечтательно-грустно задумалась, склонив чуть-чуть свою голову на руку.

Ей очень хотелось «высказаться» и дать яснее понять другу Ники, что и ее судьба трагична. Многие женщины ведь любят драпироваться в тогу непонятой страдальцы, особенно когда рассчитывают встретить горячее сочувствие. А этот доверчивый и несколько «смешной простофиля», по мнению адмиральши, с его идеализмом и застенчивостью, был таким благодарным слушателем.

И, после минутного молчания, адмиральша, словно бы очнувшись, проговорила:

— Наш разговор напомнил мне грустную историю одной моей хорошей знакомой, даже можно сказать, приятельницы, и я о ней задумалась... В самом деле, ее жизнь не из счастливых... Судите сами, Василий Николаич. Моя приятельница еще молода, ей тридцать лет, полна жизни, недурна собой...

«Прелестна!» — мысленно перебил адмиральшу Неглинный, догадавшийся, о ком идет речь.

— ...Вышла она замуж совсем юной, не испытавши еще настоящего чувства, за превосходного человека, которого она уважала, но не любила... Этот брак *par raison*[8], конечно, был ошибкой с ее стороны, но не она была в ней виновата... я знаю... Она мне рассказывала...

Ну, а далее обыкновенная история... Через несколько лет супружества, моя подруга впервые узнала настоящее чувство... Она боролась с ним и не могла побороть его... Она полюбила другого безумно, горячо... Что ей было делать?. Сказать мужу, который боготворит ее, смотрит ей в глаза и живет ею? Разбить жизнь человека, которого она уважает и любит, как верного и доброго друга? На это у нее не хватает решимости, ей жалко его... И, наконец, какое она имеет право?

«О, какая святая женщина!» — снова пронеслось в голове молодого человека, и он, умиленный, продолжал слушать с благоговейным вниманием, взглядывая по временам на грустное лицо рассказчицы с сочувственным восторгом. Она сама, казалось, была расстрогана чужой несчастной судьбой, и голос

ее, тихий и нежный, звучал скорбными нотками.

Справедливость требует, однако, заметить, что адмиральша, рассказывая эту повесть о своей «бедной подруге», несколько отступила от действительности, вероятно для более сильного художественного впечатления на такого «фефелу», как Неглинный.

Вместо того, чтобы прибавить своей «подруге», как это обыкновенно водится, годик, другой, третий, она, напротив, великодушно сбавила ей целых пять лет, но зато, впрочем, скромно назвала ее «недурной», хотя считала очаровательной. Забыла она также перечислить в хронологическом порядке все ее увлечения и с «пожертвованием всем», и без жертвований, а только с флиртом, которые бывали до того времени, когда она «впервые» полюбила «другого». Кроме того, рассказчица значительно отступила от истины, приписав своей «подруге» и «тяжелую борьбу с чувством» и «страх» разбить жизнь «боготворившего» ее человека. В действительности — и адмиральша это отлично знала — «подруга» без особенной борьбы обманывала доверчи-

вого мужа, пользуясь его частыми уходами в море.

Впрочем, какая же повесть, да еще рассказанная женщиной тридцати пяти лет, с пылким темпераментом и только что расставшейся с любимым человеком, — бывает без художественных красот!

И Нина Марковна, заметившая, что ее рассказ производит на слушателя потрясающее впечатление, продолжала:

— И бедная моя подруга должна была скрывать свое чувство, казаться веселой, когда грустно, играть комедию, когда на сердце драма... Разве это не ужасно?

— Ужасно! — ответил Неглинный с таким искренним сочувствием и таким подавленным трагическим голосом, точно он сам в эту минуту переживал все перипетии этой драмы.

— Признаюсь, я не могла бы обвинить эту несчастную женщину, несмотря на то, что она и обманывает мужа. Она ведь сама страдает, хотя в обществе и носит маску... А ведь ее многие обвиняют... Про нее бог знает что рассказывают, на нее клеветают...

— Какие-нибудь негодяи! — энергично воскликнул Неглинный, готовый в эту минуту, несмотря на свою кротость, задушить каждого «мерзавца», который осмелился бы сказать что-нибудь дурное об адмиральше.

— Не негодяи, а так называемые порядочные люди из общества и больше всего, разумеется, дамы, которых вы считаете такими ангелами, добрейший Василий Николаич, — с едва заметным раздражением проговорила Нина Марковна.

— Но эта святая женщина, надеюсь, не обращает внимания на эти гнусные сплетни... Она выше этого?

— Еще бы! Слишком было бы много чести для них! — ответила адмиральша с высокомерной, презрительной усмешкой. — Сами осуждающие каковы!

Разговор о порядочных женщинах, часто несущих страдальческий крест и кару несправедливого осуждения, продолжался еще несколько времени. Говорила больше адмиральша, а Неглинный подавал только сочувственные реплики или делал восторженные восклицания. К концу беседы он так был оча-

рован адмиральшей, обладавшей способностью приноравливаться к людям и тем легче нравиться им, что пожалей она теперь хотя бы какую-нибудь страдалицу-«подругу», принужденную, по примеру героини Бурже, любить и обманывать троих разом Неглинный, при всей своей суровой добродетели, не имел бы сил осудить ее.

За обедом адмиральша завела давно желанную речь о Нике. С кем же и поговорить о нем, как не с другом, да еще таким преданным!

Она очень просто и, нисколько не смущаясь, как ожидал ее собеседник, смутившийся невольно сам, когда речь зашла о Скворцове, — заметила, что ей очень жаль, что Николай Алексеич так внезапно уехал. Он так часто бывал у них и к нему она и Ванечка так привыкли.

— Ведь вы, вероятно, знаете, что мы были большие друзья с вашим другом. Он такой славный и неиспорченный, этот милый Николай Алексеич... И я, и Ванечка смотрели на него, как на родного, близкого человека. Ванечка его очень любит, — почему-то нашла

нужным подчеркнуть адмиральша. — Что ж вы не пьете вина?

И адмиральша любезно сама налила, слегка нагнувшись к Неглинному, красного вина в маленький стаканчик. Молодой человек совсем зарделся и от этого любезного внимания и, главным образом, от близкого соседства этого благоухающего склонившегося бюста с открытым вырезом, из-под которого тихо колыхалась грудь. И он, никогда не пивший вина, с какой-то отвагой смущения выпил стакан залпом.

Адмиральша снова наполнила стакан.

— О, благодарю вас... Не беспокойтесь, — пролепетал Неглинный, благоразумно не поднимая кверху глаз и только благоговейно любуясь маленькой рукой.

— Это легкое вино... И я даже пью его целую рюмку. — Верно, и вам было жалко расстаться с Николаем Алексеичем!

Он далеко не чувствовал теперь того сожаления о друге, какое чувствовал еще сегодня утром, но счел долгом сказать, что «очень жалеет».

— И мы с Ванечкой жалеем, что на время

лишились доброго, милого знакомого. Целый год его не увидим.

— Два года! — добросовестно поправил Неглинный...

— Как два года? — воскликнула адмиральша. — Николай Алексеич говорил, что уходит на год...

«Ах, обманщик!» — подумал Неглинный и тотчас же поправился:

— Виноват... Два года будет плавать крейсер, а Скворцов, послан, кажется, на год... Да, именно на год! — решительно прибавил он, не желая выдавать друга, и снова залпом дернул стаканчик красного вина.

— Как ни жаль, а мы все-таки порадовались за Николая Алексеича... Молодому офицеру надо плавать...

— Обязательно... Необходимо даже...

«Эдакий болван... уйти от такой мадонны!» — добавил он мысленно...

— Сам-то он, кажется, неохотно пошел в плавание... Или ему хотелось? Как вы думаете. Василий Николаич?.

Застигнутый врасплох этим неожиданным вопросом адмиральши, Неглинный чуть бы-

ло не брякнул, что «Колинька» очень был рад назначению, но вовремя спохватился, ужаснувшись при мысли, какую бы нанес рану в сердце «страдалицы», если б сказал правду... Она ведь так любит эту неблагодарную и легкомысленную скотину!

И он торопливо сказал:

— Совсем не хотел... Проклинал, что его назначили...

— Но почему его вдруг назначили?. Кто-нибудь просил за него? выспрашивала подозрительная адмиральша.

«Держи, брат Неглинный, ухо остро!» — подбадривал себя молодой человек и ответил:

— Кому же, собственно говоря, хлопотать за него, если он не хотел уходить... Скворцов говорил, что сам морской министр назначил...

Они еще долго разговаривали о Скворцове. Адмиральша хвалила его ум, доброту и почему-то особенно напирала на его неиспорченность и на его способность быть постоянным в привязанности.

— Вот хоть бы ваша дружба. Сколько лет она продолжается! — прибавила, точно уте-

шая себя, адмиральша...

«Черта с два постоянен... Шабала какая-то всегда был и будет! А она, бедняжка, верит!»

И, несмотря на зарождавшуюся уже ревнивую неприязнь в душе Неглинного, он самоотверженно расхваливал своего друга и даже гораздо более, чем следовало.

Но зато адмиральша так ласково на него глядела и промолвила задушевым тоном, вставая из-за стола:

— Какая редкость такая дружба. Как вы его любите! Надеюсь, что и мы с вами будем приятелями! — прибавила она с дружеской простотой и протянула ему руку.

Неглинный снова бережно и почтительно дотронулся до маленькой ручки, не догадавшись поцеловать ее, и адмиральша как будто бы изумилась, бросив на молодого человека несколько удивленный взгляд.

— Ну, теперь пойдем гулять! Я сейчас приду.

Она через минуту вернулась в какой-то необыкновенной красивой, обшитой кружевами шляпе, в изящной жакетке, в желтых перчатках.

Они вышли за калитку сада и направились в рощу.

— Давайте-ка вашу руку, Василий Николаич. Неглинный неловко и застенчиво подал руку, счастливый, что адмиральша предложила ему быть ее приятелем (смел ли он ожидать такой чести!), и все время держал свою руку неподвижно в сторону и как-то напряженно, боясь каким-нибудь неловким движением коснуться адмиральша. Но скоро он почувствовал близость ее тела, аромат духов, с ужасом заметил, что рука его, во время поворотов лица адмиральши, касается ее груди, и замер от стыда, смущения и страха. Наконец, его положение сделалось настолько мучительным, ему было так совестно, и рука его так задеревенела, что он, наконец, прошептал умоляющим голосом, отнимая свою руку:

— Простите, я совсем не умею водить дам под руку. У меня рука... заболела, — прибавил он, краснея, как рак.

Адмиральша едва заметно усмехнулась и сказала:

— И видно, что вы совсем не дамский кавалер, Василий Николаич.

— Вы меня простите... Я... я, собственно говоря...

— К чему вы извиняетесь?. Я ведь так... шучу... Мне Николай Алексеич про вас рассказывал, как вы боитесь дам... Это правда?

— Правда...

— И хорошо делаете, — протянула Нина Марковна и задумалась.

Гуляли они недолго. Неглинный остался пить чай и засиделся до десяти часов. Он долго и много философствовал, желая занять адмиральшу, говорил о науке, о своих занятиях, о жизни вообще и неожиданно сорвался с места, взглянув на часы, и стал прощаться.

— Надеюсь, что не в последний раз вы навещаете отшельницу, Василий Николаич? Приезжайте и поскорей — поболтаем, как сегодня!.. Будете писать Николаю Алексеичу, кланяйтесь ему от меня... Спасибо вам, что навестили и развлекли в моем одиночестве! — говорила адмиральша, крепко пожимая Неглинному руку.

Неглинный только молча кланялся, окончательно «втюрившийся».

Возвратившись в свою крошечную комна-

ту на Офицерской, он долго ходил из угла в угол в мечтательно-восторженном состоянии, с просветленным лицом и сияющими, точно устремленными внутрь глазами. Ночь он почти не спал и просидел у открытого окна. Душу его охватила какая-то безотчетная, тихая, приятно ласкающая нервы грусть, и образ маленькой, необыкновенно изящной адмиральши в светлом платье, с задумчивым печальным взором, с полуобнаженными красивыми руками и открытой, словно выточенной шей, стоял перед ним в лучезарном свете, наполняя все существо молодого человека благоговейным восторгом.

XIX

После первого посещения Неглинным адмиральши, образ ее не выходил уже из головы молодого человека. Он думал об адмиральше по целым дням, грезил по ночам, пробовал даже писать стихи, но дальше второй строчки не дошел, и мечтал о том, как бы сделать адмиральшу веселой и счастливой, вознаградив ее за все пережитые ею страдания, причем, разумеется, с самоотверженным бескорыстием устранял свою особу из этих ком-

бинаций счастья, предоставляя себе только радоваться со стороны вместе с Иваном Ивановичем, который должен же понять, что он лишний, и явить великодушие, отказавшись от своих прав в пользу другого.

Неглинного неудержимо тянуло туда, в Ораниенбаум, на эту милую дачку, утонувшую в саду, где одиноко и терпеливо страдала эта «святая» женщина; но, несмотря на ее приглашение навещать ее, он все-таки не решился ехать. Она, быть может, просто из любезности пригласила его, такого неинтересного для нее «застенчивого болвана», а он и обрадовался и явился, как какой-нибудь нахал. Нечего сказать, хорошее она составит о нем мнение.

Ему и хотелось скорей увидеть свою «мадонну», услышать ее мягкий и чарующий голос, и в то же время становилось жутко при мысли, что он вдруг так, ни с того ни с сего, явится и вдруг увидит ее вопросительный взгляд: чего, дескать, ты приехал?

Он крепился целую неделю и, наконец, не выдержал.

— Будь, что будет — еду! — решительно

произнес он вслух и стал одеваться.

Одевался он сегодня с особенной тщательностью и без обычной своей рассеянности. Он тщетно старался пригладить непокорный рыжий вихор, повязал новый галстук и, окончив туалет, с грустной задумчивостью поглядел в зеркало на свое, как казалось ему, самое «безобразное» лицо на божьем свете.

— Эка, какой сапог! — обозвал он с невольным вздохом свою физиономию и, выйдя на улицу, взял извозчика и поехал на Балтийский вокзал.

С замиранием сердца, точно в чем-то виноватый и в то же время бесконечно счастливый подъехал он к даче и вместо двугривенного дал извозчику целый полтинник.

— Дома адмиральша? — робко спросил он вестового Егора, когда тот открыл двери после тихого нерешительного звонка.

— Дома, пожалуйста, ваше благородие! — весело и приветливо отвечал ему Егор, протягивая руки, чтобы снять пальто.

— Да, может быть, адмиральша занята? Я, братец, могу приехать в другой раз.

— Нисколько не заняты... Как следует,

одевшись, ваше благородие.

— Или вообще не принимает... Так вы доложили бы прежде.

— Не извольте сумлеваться, ваше благородие. Очень даже принимают. Пожалуйте, ваше благородие! — с веселой ободряющей улыбкой, скаля свои белые зубы, говорил молодой чернявый матрос, взглядывая на робющего лейтенанта не без некоторого недоумения.

И, снявши пальто, прибавил:

— Барыня на балконе... Извольте без опаски идти, ваше благородие. Вас завсегда велено принимать.

«Эка робок! Не то что лейтенант Скворцов. Тот, небось, молодчага; не робел с адмиральшей. Ну, да и этого начисто отполирует адмиральша-то!» — прошептал, усмехнувшись, молодой матрос, оставшись один.

Поздно вечером возвращался Неглинный с дачи и был бесконечно счастлив. Нина Марковна приняла его очень радушно и любезно попеняла, что он не был целую неделю. Какой чудный день провел он с этой умной женщиной, и как он был доволен, что, кажется,

несколько развлек ее. По крайней мере она два-три улыbnулась и была оживленнее, чем в первое его посещение.

Совсем очарованный ласковым приемом и милым, настойчивым напоминанием «не забывать отшельницы» и приезжать, когда вздумается «поскучать с ней», Неглинный зачастил. Сперва он навещал адмиральшу два раза в неделю, а затем бывал почти ежедневно и даже отложил предполагаемую поездку в Смоленскую губ. к родным, чувствуя, что не в силах добровольно отказаться от счастья видеть адмиральшу.

По обычаю влюбленных, вначале он придумывал различные предлоги своих посещений. То он привозил обещанную книгу, то приезжал за книгой, то объяснял, что был у знакомых в Петергофе (хотя никаких знакомых у него там не было) и воспользовался близостью, чтобы позволить себе зайти на минутку — осведомиться о здоровье Нины Марковны и спросить, не будет ли у нее каких-нибудь поручений в Петербурге. Он с удовольствием исполнит их... Не зайти ли к портнихе... Не привезти ли новые книги?

Адмиральша с едва заметной улыбкой слушала эти порывистые, произносимые несколько взволнованным голосом, объяснения молодого человека и, делая вид, что им верит, ласково, тоном доброй знакомой, журила Василия Николаевича за то, что он словно оправдывается, что зашел к ней. Это нелюбезно с его стороны, и она может обидеться, что видит его, лишь благодаря каким-то петергофским знакомым. Ведь он знает, что она всегда рада видеть его, рада отвести душу в беседе с умным и развитым человеком.

— Нынче ведь это такая редкость между молодыми людьми... По большей части, они или пусты, или циничны и самонадеянны... А ведь вы не такой, Василий Николаич? — прибавляла любезно адмиральша с самой очаровательной улыбкой.

Сконфуженный и польщенный этим комплиментом, Неглинный порывисто благодарил, садился и вместо «минутки» оставался на долгие часы: читал вслух и после обеда гулял с адмиральшей по парку и приучился даже ходить с ней под руку, хотя, надо сказать правду, стеснялся по-прежнему и держал

свою руку в напряженном положении. Нередко эта рука вздрагивала, словно от электрического тока, и когда адмиральша заботливо спрашивала: «не холодно ли ему?» — отвечал несколько растерянно, что напротив... Но у него невралгия, застарелая невралгия...

И Нина Марковна, хорошо понимавшая подобные «невралгии» у очень молодых влюбленных людей, гуляющих под руку с хорошенькими женщинами, участливо советовала ему лечиться, не запускать болезни, пока она еще вначале...

«Уже поздно!» — думал про себя молодой человек. Он, разумеется, вполне был уверен, что его восторженная любовь — тайна, о которой Нина Марковна никогда не узнает. Она, конечно, видит, что он предан ей и безгранично ее уважает, вот и все, но несомненно далека от мысли, чтобы он «осмелился» полюбить ее.

Но адмиральша была слишком опытная в любовных делах женщина, чтобы не увидеть, и очень скоро, что этот «милый и смешной идеалист» влюблен в нее до безумия, верит каждому ее слову, тайно любит ее и вер-

нейший ее раб, готовый ради нее броситься хоть с колокольни. И сознание своего обаяния доставляло ей эгоистичное чувство удовольствия, льстило самолюбию и служило приятным развлечением в ее одиночестве и печали от разлуки с «Никой». Она, конечно, любит, страстно любит своего дорогого «Нику» и никого на него не променяет, но отчего же не пококетничать немножко с этим застенчивым рыцарем, отчего не вызвать его робкого признания и в ответ не сказать нескольких слов теплого участия, предложив ему дружбу сестры, и не поощрить его к невинному флирту? Пусть себе целует ее руки и исполняет поручения! И, наконец, интересно, как эта «красная девица» пропоет ей свою песню любви и покроет ее маленькую ручку поцелуями и оросит слезами... Таких застенчивых поклонников она еще не видала!

И Нива Марковна с привычным искусством «обрабатывала» беднягу Неглинного, кокетничая пред ним своим положением непонятой, страдающей женщины, и полунамеками, заставляющими догадываться, что она — жертва, и умными разговорами и сво-

им пикантным, необыкновенно подвижным, быстро меняющим выражения, лицом. Она вела длинные разговоры о чувстве любви и дружбы (она признает, что можно быть очень дружной с женщиной, не думая о любви. Она знает такие примеры, хоть они, к сожалению, и редки). Она возмущалась положением женщины, терпеливо слушала философские рассуждения Неглинного о будущем царстве правды и добра на нашей грешной земле и о том, какую громадную роль будут играть женщины, спорила о романах Золя и Бурже, заставляла читать вслух, присаживаясь около с работой, вспоминала о Скворцове и на прощанье давала самые разнообразные поручения, начиная с покупки лент до привоза бочонка голландских селедок от Елисеева, и «кстати уж, если Василия Николаича не затруднит, пусть он потрудится привезти картонку с платьем от портнихи», прибавляла нередко адмиральша с обыкновенной своей обворожительной улыбкой и вручала Неглинному деньги. Нечего и говорить, что он с восторгом принимал поручения, готовый возить для адмиральши хоть сотню картонок,

а не то что одну.

Она, впрочем, сама была в этом уверена и ценила в молодом человеке такую, редкую в наши времена, трогательную преданность и, главное, совершенно бескорыстную. Он даже, к удивлению адмиральши, ни разу, хоть бы в награду за селедки и картонки, не просил позволения поцеловать эту маленькую, благоухающую ручку и только украдкой, когда адмиральша, казалось ему, не замечала, взглядывал на нее жадным, загоревшимся взором. И ей нравилось перехватывать эти восторженно-смущенные взгляды, останавливающиеся на ее лице, шее, руках, и видеть, как он («глупый», — усмехалась про себя адмиральша) краснел весь при этом, опуская глаза, и робко притихал, как притихают виноватые дети, наивно воображая, что маленькая адмиральша, не смущавшаяся на своем веку ни «мирными», ни «страстными» поцелуями, может возмутиться его восторженным созерцанием, которое он считал «святотатством». И он радостно светлел, когда снова слышал ласковый и приветливый голос адмиральши и видел ее улыбающиеся глаза, в которых не

было и тени неудовольствия. Напротив, они словно ласкали и, казалось, ровно ни о чем эти черные, большие, прелестные не догадывались глаза.

Эта робкая и восторженная молодая любовь, тайна которой невольно выдавалась всем существом молодого человека, приятно щекотала нервы адмиральши, умаляла горечь разлуки и вообще скрашивала дачную жизнь. Ей любопытно и весело было следить за быстрым развитием этого чувства и ждать той минуты, когда оно, наконец, выльется в горячем признании. Как ни застенчив Неглинный, но не будет же он вечно только краснеть и щурить свои глаза!

И адмиральша с тонким мастерством опытной кокетки, делая вид, что не догадывается об его любви, поощряла Неглинного к признанию. Ей доставляло какое-то жестокое удовольствие чувственной женщины дразнить целомудренно-страстную натуру влюбленного и будить его инстинкты, наблюдая, как он то краснеет, то бледнеет, смущенно и сердито хмурится от слишком близкого ее соседства. Адмиральша, конечно, и не догады-

валась, что после таких минут Неглинный, полный раскаяния, считал себя величайшим негодяем, оскверняющим нечистыми помыслами и свою любовь, и эту святую женщину.

«Если бы она знала, какие преступные желания охватывают его по временам! Как бы ему хотелось прильнуть к этой маленькой ручке и целовать ее без конца! Если б она знала, какие сны снятся о ней!? По счастью, она слишком чиста, чтобы догадываться об этом... Но ведь она может заметить его „скверные“ взгляды „циника“ и тогда, оскорбленная и негодующая, лишит его своей дружбы и не пустит более на порог дома. Что может быть ужаснее, и какое несчастье сильнее этого?»

Так, расстроенный и смятенный, бичуя себя за «подлость» и «нахальство», нередко думал Неглинный, гораздо более сведущий в астрономии и высшей математике, чем в психологии женщин, подобных адмиральше. Полный решимости не допускать более подобного унижения человека, не профанировать своего чувства, он давал себе слово, твердо, как и подобает философу-стоику, выдерживать всякие испытания, тая свою любовь и

не давая торжествовать «зверю», сидящему в нем.

А испытания — и довольно-таки тяжелые для двадцатипятилетнего влюбленного аскета, почти не знавшего женщин — бывали на его тернистом пути и все чаще и чаще с тех пор, как между адмиральшей и молодым лейтенантом установилась прочная дружба; он стал в доме своим человеком и с восторгом возил и бочонки с сельдями, и картонки с платьями и кофтами, бегая по нескольку раз в день к портнихе с усердием поистине изумительным.

Объявление дружбы последовало в один из теплых июльских вечеров, на садовой скамейке, под липой и рябиной, после нескольких секунд задумчивого молчания, наступившего вслед за маленьким монологом адмиральши о том, как приятно иметь преданного, верного друга, на которого можно положиться...

Так как Неглинный лишь меланхолически водил сапогом по песку, не решаясь, по скромности и застенчивости, заявить, что он вернее собаки и преданнее самого вернопод-

данного негра, то адмиральша, после небольшой паузы, с чувством проговорила, понижая, вероятно для большей убедительности, свой мягкий и нежный голос почти до шепота:

— И я имею претензию считать вас таким другом, Василий Николаич!

В первую секунду Неглинный онемел от восторга. А Нина Марковна между тем продолжала:

— Ведь мы друзья, не правда ли? И наша дружба ничем не омрачится?

И с этими словами адмиральша протянула руку, почти уверенная, что даже и такой «влюбленный олух», как Неглинный, выразит, по такому торжественному случаю, свою благодарность по крайней мере тем, что покрывает ее руку, а то и обе, долгими почтительными поцелуями, тем более, что в саду стояла темнота, вечер был такой теплый, и звезды так приветливо мигали сверху.

Но ожидания адмиральши не сбылись.

Вместо того, чтобы поцеловать ручку, он как-то неловко и осторожно ее потряс и, тотчас же опустив ее, прерывающимся голосом,

в котором дрожали слезы, с глубоким чувством произнес:

— О, поверьте... я... я... Именно дружба... И вы знаете... конечно, знаете, как бесконечно я вас уважаю... Нет слов...

И, подавленный великостью своего счастья, замолк, не окончив речи.

Адмиральша давно уже «верила» и «знала», но признаться, никак не ожидала, что он такой уж застенчивый «дурак», совсем не умеющий благодарить, как следует, за дружбу хорошенькой женщины. И она невольно вспомнила, как многие мичмана, при подобных же случаях, изъявляя свою благодарность и уверяя в вечной дружбе, целовали всегда ее руки с такой горячностью и так долго, что даже ей приходилось умерять их восторги...

«А этот... совсем осел!» — подумала она без досады обманутого ожидания и насмешливо взглянула на своего поклонника, который, казалось, совсем замер на своем месте, бесконечно счастливый и радостный.

С этого вечера окончательно установились дружеские отношения, и Неглинный являлся

почти каждый день. Адмиральша держала себя с очаровательной простотой и чисто дружеской интимностью. Случалось, что она, на правах друга, выходила к молодому человеку в капоте, изящном, отделанном кружевами, белоснежном капоте, плотно облегавшем роскошный бюст, в маленьком кружевном чепце, из-под которого выбивались колечки черных волос, с открытой шеей и обнаженными из-под широких рукавов, полными красивыми руками в браслетах и кольцах.

Этот костюм шел к ней и моложавил ее.

Свежая, цветущая и благоухающая, выходила она на террасу, здоровалась с ошалевшим от восхищения молодым человеком, крепко пожимая ему руку, извинялась, что с ним без церемоний, по-домашнему («сегодня так жарко!»), благодарила за привезенные покупки и, завтракая с Неглинным, расспрашивала, что нового в газетах, был ли он у портнихи, и сообщала, что получила письмо от Ванечки и что Ванечка шлет ему поклон. После завтрака адмиральша уводила его в тот самый маленький, прохладный кабинет, в котором она хотела отравиться валерьяном, и

просила Неглинного читать ей вслух, указывая ему место на маленьком диване, около которого стоял столик, и сама опускалась в кресло неподалеку.

Надо сказать правду: этот костюм приводил беднягу Неглинного в некоторое смущение. Но, памятуя, что он порядочный человек, а не «презренное животное», Неглинный добросовестно отводил глаза, стараясь не смотреть на эту ослепительную, маленькую изящную женщину или по крайней мере смотреть только прямо в лицо... И еще славу богу, что она приказывала читать. По крайней мере ему легче было переносить свое испытание.

И он читал, читал усердно, но не особенно хорошо. Голос его дрожал, звуча глухими нотами. Он почти не понимал, что читал, словно одурманенный красотой этой женщины, чувствуя ее близость и вдыхая тонкий аромат ее любимых *Violettes de Parme*.

— Вы, голубчик, сегодня что-то тихо читаете.

И адмиральша пересаживалась на диван, рядом с чтецом. Он ощущал теплоту ее ног и, в ужасе и смущении, осторожно отодвигал

ногу, отодвигался сам подальше от этого белого капота, но чтение от того не выигрывало. Он торопился, волновался, глотал слова, пропуская целые строки. Кровь стучала ему в виски, и по спине пробегали мурашки. Ему было и жутко, и стыдно, словно он виноват был в чем-то нехорошем и нечистом. Одним словом, это было не чтение, а какая-то бесконечная пытка. И он должен был мужественно скрывать ее, чтобы не оскорбить этой благородной, доверчивой женщины. Украдкой взглянув на нее, он видел, с каким серьезным и сосредоточенным видом она слушает, быстро перебирая вязальной иглой какое-то рукоделье.

«О, чистое создание! Какая я скотина перед тобой!» — проносилось в голове у Неглинного.

— Не довольно ли читать? Вы, кажется, устали, Василий Николаич!

— Нет... отчего же... как угодно.

— Вижу — устали...

Адмиральша бросала вязанье и, подвинувшись к гостю совсем близко, закрывала книгу, оставляя на ней, перед самым носом

Неглинного, свою, слегка обнаженную, руку и постукивая по переплету тонкими, розовыми пальцами.

Неглинный только щурил свои голубые глаза, морщил лоб и неистово закручивал в сосиску рыжий вихор, имея растерянный вид человека, решительно не знающего, куда ему деться и что предпринять.

— Да что с вами сегодня, Василий Николаич? Вы и читали не так прелестно, как всегда, и вообще какой-то рассеянный... точно вам не по себе...

— О, нет... я... ничего... Жарко только, — отвечал, еще более краснея, молодой человек.

И внезапно, с решимостью отчаяния, поднимался с дивана и объявлял, что ему необходимо ехать в город.

— В город? Зачем?

— Дело есть, — врал молодой человек, думавший найти спасение в немедленном бегстве.

— Какие летом дела?. Не сочиняйте, пожалуйста... Уж не влюбились ли вы и не потеряли ли в городе сердца?. То-то сегодня вы такой странный... Признавайтесь и расскажите

мне, как другу, всю правду... Блондинка или брюнетка?.

Неглинный застенчиво пролепетал, что они в кого не влюблен.

— Это правда? — допрашивала, улыбаясь, адмиральша. — Так-таки и ни в кого?.

— Ни в кого! — храбро отвечал Неглинный, чувствуя, что кровь заливают щеки.

— Ну, так вам нечего ехать в город... Дела завтра можете сделать... Оставайтесь!

Разумеется, Неглинный малодушно соглашался, однако на диван более не садился, а забирался куда-нибудь подальше.

— Я сегодня заказала к обеду ваши любимые битки в сметане, а вы вздумали было убежать... Видите, как я внимательна к своим друзьям... Благодарите и целуйте руку!.

Неглинный порывисто бросился с места и благоговейно, словно прикладываясь к образу, едва прикоснулся губами к протянутой руке и вернулся на свое место, не заметив, конечно, недовольной гримаски адмиральши.

Однако, в этот день он уехал тотчас же после обеда, несмотря на приглашение почтить вслух... Это было сверх его сил.

Немало было в течение лета подобных тяжких испытаний, но Неглинный — надо отдать ему справедливость — всегда оставался на высоте своего положения «влюбленной фефелы».

Наступили осенние дни. Нервы адмиральши начинали пошаливать; на нее напала хандра; письма от «Ники» принимали все более и более описательный характер и становились менее регулярными. И Неглинный совсем не оправдал ее ожиданий. Несомненно влюбленный и бывая почти ежедневно в течение двух с половиной месяцев на даче и, большею частью, наедине с адмиральшей (толстушку-кузину свою Нина Марковна так и не позвала погостить), он, несмотря на травлю его адмиральшей, не только не сделал трогательного признания со слезами и робкими поцелуями, но даже, болван, ни разу не решился сам поцеловать ее ручку, хотя это счастье, и пожалуй большое, было всегда так «близко и возможно», не будь он таким простофилей. Он, словно черт ладана, боялся тех положений, которые для других были бы счастьем, и решительно не понимал, что легкий

флирт доставил бы несчастной «страдалице» большее развлечение, чем его трогательная и робкая любовь и его философские рассуждения о будущем царстве правды и добра. Хорошенькая женщина и с таким мужем, как Иван Иванович, ищет сочувствия и утешения, предлагает дружбу сестры, а он, идиот, толкует о том, что будет в неизвестном столетии!

Подобное бескорыстное поклонение, как оно ни было трогательно, несколько удивляло и очень раздражало хорошенькую адмиральшу, чары которой вдруг оказались бессильными перед этим мальчишкой.

Так иногда размышляла адмиральша и нередко спрашивала себя с досадой обманувшейся женщины:

— Есть ли еще такой влюбленный балбес на свете, как этот Неглинный?

И она вспоминала, как, бывало, во время вечерних прогулок в парке, когда они сидели вдвоем в самой чаще при лунном освещении, он начинал ей читать лекцию из астрономии и перечислять звезды, вместо того, чтобы...

— Ах, Ника, Ника! Зачем ты уехал? — шеп-

тала адмиральша, прерывая неприятные воспоминания о «балбесе», и, вздохнув, утирала набегавшие слезы.

В такие дни хандры она встречала приезжавшего «влюбленного балбеса» так холодно, что бедняга приходил в отчаяние, не понимая, чем он провинился, и уезжал, не смея показываться на глаза, пока не получал на другой или на третий день маленькой раздушенной записочки, в которой адмиральша давала ему поручения и просила его поскорей их исполнить и приезжать.

Если Неглинный, как поклонник, и не вполне отвечал требованиям адмиральши, зато как комиссионер, не оставлял желать ничего лучшего. Все многочисленные поручения он исполнял точно, добросовестно и быстро, с усердием настоящего друга, познакомившись за лето со многими, прежде мало известными ему принадлежностями дамского гардероба и испытав неаккуратность и лживость портних при назначении сроков. Приобрел он также некоторую опытность при покупке бакалейных товаров, цыплят и индюшек. Адмиральша любила покушать и

особенно любила фаршированных индеек, а так как в Ораниенбауме они не всегда бывали, то Неглинный и возил их из Петербурга, предварительно расспросив свою квартирную хозяйку о том, как отличить старую индюшку от молодой, какая им цена и т. п. Конфеты и фрукты он поставлял адмиральше за свой счет и, благодаря этому обстоятельству, а также и расходам на поездки на дачу и обратно, финансовые его дела были настолько плохи, что он написал своему богатому дяде в Саратовской губернии, который обещал сделать его наследником, чтобы тот выслал двести или триста (лучше триста) рублей.

Весьма полезной оказалась любовь Неглинного и для приискания квартиры для адмиральши и адмирала. С осени они переселились в Петербург, — Ивану Ивановичу уже было конфиденциально сообщено, что он получает спокойное береговое место после последнего плавания, — и Неглинный целые две недели, в начале августа, бегал, как угорелый, по улицам, осматривая квартиры и вычерчивая потом их планы. К вечеру уже он летел на дачу и показывал планы, пока адми-

ральша не остановилась на одном из них и, приехавши в город, не наняла, по выбору Неглинного, очень хорошенькой, уютной и сравнительно недорогой квартиры. Он же вместе с Егором распорядился переборкой из Кронштадта, и в первых числах сентября адмиральша переехала в город, поджидая в скором времени и возвращения Ванечки, которого навестила в течение лета два раза.

Вернувшись из плавания, Иван Иванович сперва было очень обрадовался, что Ниночка, кажется, немного успокоилась, и что Неглинный довольно часто навещает их. Неглинный очень нравился адмиралу, и старик был доволен, что Ниночка за лето с ним покороче познакомилась и часто пользовалась его обществом. «Все же, бедняжка, не так скучала!»

Но в скором времени Ивану Ивановичу пришлось убедиться, что Неглинный как будто избегает посещать их в такое время, когда адмирала нет дома, и гораздо свободнее и оживленнее беседует с ним, чем с Ниночкой. Что Неглинный влюблен в Ниночку, в этом, разумеется, не было сомнения, но любовь эта была такая уж почтительная и застенчивая

(адмирал это скоро заметил), что старик, хоть и еще больше привязался к Неглинному, но тем не менее втайне тревожился за Ниночку, замечая, что она становится все раздражительнее и раздражительнее, чаще жалуется на нервы и иногда бывает безжалостна к этому покорному и преданному Василию Николаевичу. Попадало, по временам, и ему самому, но он на это, конечно, не был в претензии, а бедного Неглинного было жаль... И, главное, такой он безответный с ней, и это как будто еще более сердит Ниночку. И его застенчивость раздражает...

«Ниночка не любит таких!» — не раз повторял старик и вздыхал.

Он тешил свою Ниночку подарками, изящными безделками, советовал выезжать, но ничто не помогало. Адмиральша видимо хандрила.

И хоть бы этот Василий Николаевич развлек ее как-нибудь, посидев с ней вечером, а то нет... Зайдет утром, пообедает иногда и тотчас за шапку.

И когда адмирал просил его, по секрету от Ниночки, остаться и поболтать с Ниночкой,

пока он соснет часок-другой, Неглинный обыкновенно краснел и говорил, что ему надо готовиться к лекции. «Завтра у него урок в морском корпусе», — объяснял недавно назначенный преподаватель.

Возвращаясь домой, он готовился к лекциям, но часто бросал их и долго ходил по своей маленькой комнатке, полный дум об адмиральше. Боже! Как он любит ее и чего бы он не дал, чтобы видеть ее счастливой!

Но при мысли о том, что не он, а другой счастливец пользуется ее любовью, его охватывало жгучее чувство ревности... Скворцова он ненавидел в такие минуты. И безумные грезы овладевали его мозгом. В мечтах он прижимал к сердцу эту очаровательную женщину, осыпал ее поцелуями, припадал к ее ногам и, пробудившись от грез, бросался на постель и плакал, как малый ребенок, чувствуя мучительную прелесть своей безнадежной, невысказанной любви...

В ноябре адмиральша получила от «Ники» письмо, сообщавшее, между прочим, что ему предстоит проплавать еще год, — так начальство решило. На другой же день Нина Мар-

ковна поехала к одному модному врачу и объявила, что у нее бессонница, беспричинная тоска, головные боли...

Врач сделал серьезное лицо, выстукал ее, потыкал в плечи и шею иглой, расспросил об режиме и объявил, что у нее легкая форма неврастения.

— Ничего опасного... Обливание водой, мочен...
цион...

— А если переменить климат, доктор... Поехать на зиму в Италию?

— Чего же лучше... отлично, а пока я вам пропишу пилюльки. По три в день: одну утром, другую перед завтраком и третью перед обедом.

Вернувшись домой, Нина Марковна сообщила, что доктор нашел у нее сильное нервное расстройство и советует ехать за границу...

— Что ж, поезжай, Ниночка, с богом... Надеюсь, ничего опасного?

— Опасного ничего, но все-таки лучше переменить на время климат... Пожить зиму на юге... Как ты думаешь, Ванечка?

Через три недели адмирал и Неглинный,

оба грустные, провожали адмиральшу.

XX

В это погожее декабрьское утро на Ривьере, тихое и солнечное, полное свежей остроты зимнего воздуха, крейсер «Грозный», после трехнедельного плавания у сирийских берегов, сияющий блеском и чистотой, крупный и внушительный, входил, имея на бизань-мачте контр-адмиральский флаг, в Виллафранку — маленький порт, рядом с Ниццей, у подножия отрогов Приморских Альп, под нависшими скалами, на которых высится Монако.

Небольшая, глубокая бухточка, уютная и закрытая, отливала нежным изумрудно-голубым цветом почти неподвижной воды, и на ней, казалось, замерли рассеянные повсюду рыбацьи лодки. Маленький городок, приютившийся под высоким берегом и по склону горы, сверкал под солнцем своими белыми домами, среди зеленых куп, и казался необыкновенно живописным.

Застопорив машину и чуть-чуть двигаясь вперед, «Грозный», обменявшись салютами, наконец, отдал якорь неподалеку от военно-

го французского авизо стационара. Через несколько минут с «француза» отвалила шляпка и, по обычаю морской международной вежливости, на «Грозный» явился молодой офицер в полной парадной форме — поздравить с приходом и предложить услуги. После того, как француз проговорил свое приветствие, его пригласили в кают-компанию, угостили шампанским и отпустили. Других военных судов на рейде не было. У берега стояло несколько каботажных судов с отданными для просушки треугольными, так называемыми «латинскими» парусами, да вблизи стационара красовалась щегольская английская морская яхта, изящная и стройная трехмачтовая красавица с белой, как снег, дымовой трубой. На палубе, под тентом, было целое общество англичан, видимо туристов, среди которых мичмана успели уже в бинокли «запеленговать» двух прехорошеньких англичанок, одну «ничего себе» и одну — «ведьму» с лошадиными челюстями. На этой яхте, как узнали потом, путешествовал какой-то лорд с семейством и с несколькими приглашенными друзьями, и на переходе из Англии

яхта выдержала сильнейший шторм у Бискайского залива.

На «Грозном» вот уже третья неделя «сидит», как выражаются моряки, адмирал.

Совершенно неожиданно, во время стоянки в Неаполе, начальник эскадры прислал флаг-офицера сказать, что «пересядет» через час на «Грозный», к вечеру приехал и с рассветом приказал сниматься с якоря.

Нечего и говорить, что и капитан, не забывший еще пирейского смотра, и многие офицеры, и в особенности веселый и жизнерадостный ревизор, хвалившийся, что привезет кое-что из плавания, далеко не были довольны присутствием адмирала. Хоть он и держал себя просто, не кричал, не вмешивался в распоряжения капитана, не «разносил», был со всеми ровен, но всякий чувствовал, что он зорко ко всему приглядывается, все видит и, по-видимому, не совсем удовлетворен. По крайней мере он нередко хмурился во время разных маневров и учений, которые приказывал делать на ходу под парусами и в свежую погоду... Хмурился, и слушая ответы мичманов на морские вопросы, которые он

им задавал... Хмурился, узнавая цену угля, и раз даже сказал ревизору, что уголь, кажется, дорог...

«Скорей бы убрался с крейсера!» — не раз шептал в злобе капитан «Грозного» Налетов, ненавидевший от всей души этого скромного, не игравшего в начальники адмирала, этого «законника» и «педанта», который отправил следствие о незаконно наказанном матросе в Петербург со своим заключением о предании Налетова суду, вместо того, чтобы замять это «пустяковое» дело, как сделали бы другие, не такие «формалисты», как Тырков. Правда, Налетов, при помощи жены, уже заручился в Петербурге обещаниями, что дело до суда не дойдет и окончится пустяками, тем не менее Налетову вся эта история была неприятна.

Ненавидел Налетов адмирала еще и за то, что Тырков был рыцарь без страха и упрека, который недаром пользовался во флоте репутацией честнейшего человека, неспособного ни на какие сделки, противные совести, и Налетов, свободно обходившийся без такой роскоши, чувствовал, что адмирал относится к нему без уважения и насквозь понимает его.

Налетов не ошибался. Адмирал, действительно, в душе презирал командира «Грозного», считая его бесшабашным карьеристом и хлыщом, человеком совсем неразборчивым в средствах; наглым с подчиненными и льстивым с сильными и влиятельными лицами. Кроме того, он кое-что знал и относительно небрежливости этого быстро делающего карьеру выскочки по сделкам с разными поставщиками в компании с ревизором.

Сам адмирал был совершенной противоположностью Налетова.

Прослуживший тридцать пять лет, из них двадцать в море, сведущий специалист и образованный человек, Тырков был одним из лучших представителей того симпатичного типа моряков, суровых рыцарей долга и в то же время необыкновенно гуманных с подчиненными, который появился во флоте в освободительную эпоху шестидесятых годов. Про таких именно моряков и наслушался Скворцов, бывши отроком, из восторженных рассказов своего отца о прежних плаваниях. В служебной лямке Тыркова не было ни одного пятна. Он не интриговал, не заискивал, не

умел вовремя попадаться на глаза начальству и говорить ему приятные вещи. Он не сочувствовал многому, что делалось во флоте в отдаленные времена нашего рассказа, но молчал, находя, что раз он служит, он нравственно не имеет права выражать свои мнения, но когда начальство спрашивало его мнений, он, не стесняясь, выражал их. Нечего и прибавлять, что Тырков, несмотря на командование судами да еще в дальнем плавании, не имел ничего, кроме жалованья.

Как бесстрашный моряк, хладнокровный в опасности и горячо любящий свое дело, Тырков был достойным учеником адмирала, известного в шестидесятых и семидесятых годах под прозвищем «беспокойного и свирепого адмирала», который во время своих нескольких кругосветных плаваний с эскадрами школил офицеров, не давая им покоя, и, сам энергичный, лихой моряк, беззаветно любивший свое ремесло, требовал от офицеров такой же любви, развивая в них эту любовь. Требовательный по службе, вспыльчивый нередко до бешенства и бесконечно добрый, он никого не погубил, никого не аттестовал

негодяем, никому не мстил, получая иногда в ответ на дерзость такую же дерзость, и многих сделал хорошими моряками.

Произведенный, наконец, в адмиралы и назначенный командовать эскадрой, Тырков, по примеру бывшего своего начальника и подчас сурового учителя, горячо взялся за дело, а не отбывал только «почетную повинность» с равнодушием своего предместника, доброго, веселого адмирала, который проводил время большею частью на берегу, в виду эскадры, простаивавшей на рейдах по нескольким неделям, ни во что серьезно не входил, считая, что совершенно достаточно делать получасовые смотры, оканчивающиеся общими благодарностями, и, конечно, не знал, каковы у него на эскадре капитаны и офицеры. «От сих и до сих», чтобы все с внешней стороны было прилично и благополучно, чтобы учения и занятия производились по расписанию, чтобы не было никаких «историй», а входить в подробности, образовывать моряков и внести так сказать «живой дух» в дело, для этого нужно много энергии, забот, любви к ремеслу. Да и к чему, в самом деле,

утруждать себя и волноваться? Еще только можно нажать неприятности... Не лучше ли тихо и спокойно... Откомандовал два года, получил награду, и делу конец. Возвращайся домой с изрядным кушем подъемных и жди, в очередь, следующей награды, как человек хороший, покладистый, не доставляющий никому беспокойства, а, напротив, всем приятный.

Тырков смотрел на свое назначение несколько иначе, не боясь никаких неприятностей ни сверху, ни снизу. Он хотел лишь добросовестно исполнить свой долг, занявши пост начальника эскадры. И он переплывал на всех судах, чтобы ближе познакомиться с порядками на них, с выправкой команд, с их положением, с капитанами и офицерами. Ему хотелось довести свою эскадру до возможного совершенства и вселить в офицерах тот морской дух, без которого, по его мнению, морская служба немислима и немислимы настоящие моряки. Он с упрямством несокрушимой воли хотел вывести многое, что считал распущенностью и несоблюдением закона.

Но почтенный адмирал как будто забыл,

что надо считаться с духом времени, имевшим влияние на целое поколение моряков и дававшим тон, столь несимпатичный адмиралу. И он скоро увидел, что его, казалось, вполне естественные требования исполнения закона и любви к делу далеко не пользуются сочувствием, а, напротив, вызывают во многих скрытое неудовольствие и исполняются нередко только формально, по долгу дисциплины. С тяжелым чувством пришлось ему убедиться, что, несмотря на его внушения и приказы, многие молодые офицеры по-прежнему бьют матросов, и что того «духа живого» в службе, о котором он так хлопотал, нет еще на эскадре. Его влияние оказывалось бессильным... А главное, смущал адмирала «ярыжнический» дух среди молодежи, ее взгляды на службу, отношение к матросам... Конечно, далеко не все были такие — боже сохрани! — но во многих чувствовалось какое-то понижение.

Адмирал нередко собирал к себе в каюту молодых мичманов пить чай и дружеским тоном старшего товарища говорил на эту тему, но чувствовал, что его слушают с почтитель-

ным вниманием подчиненных, но не убеждаются его доводами и про себя, вероятно, посмеиваются над рацеями старого адмирала... Для него не было секретом, что многие юнцы презрительно называли своего адмирала «филантропом» и «либералом» за то, что он особенно заботился о матросах. В одной газете даже появилась анонимная корреспонденция, в которой автор проливал крокодиловы слезы о том, что на некоторых судах в заграничном плавании падают и дисциплина, и престиж власти капитанов, благодаря «филантропическим» взглядам «некоторых» начальников.

В этой разнице взглядов пятидесятипятилетнего адмирала и многих молодых, еще начинающих жизнь, моряков было что-то угрожающее.

И адмирал подчас с презрительной и печальной усмешкой говорил в интимной беседе с доктором Федором Васильевичем:

— Я, старик-с, должен проповедовать молодым офицерам, что бить по зубам стыдно! Как вам это нравится, а?. Да-с, нынче как-то все шиворот-навыворот-с! В наше время пакости

скрывали, а теперь точно хвастают ими... Каждый норовит без всякого труда карьеру сделать... Духа рыцарского нет... Пройдошество да нажива-с. Совсем безобразие... Иные птицы, иные песни!

Адмирал обыкновенно грустно задумывался на минутку-другую и энергично прибавлял:

— Хоть я здесь почти и один в поле воин, а все-таки от своих требований не отступлю, нет-с. Пусть начальство считает меня беспокойным человеком и пусть сместит меня — это его дело... Я ведь знаю, у нас не любят беспокойных людей! А мое дело — свято выполнить долг, по крайнему моему разумению... И я не позволю офицерам безобразничать — пиши хоть миллион корреспонденции. Меня ими не испугаешь! Уж я писал в Петербург, что отрешу Налетова от командования, если его не уберут... И не поцеремонюсь с ним, да-ром что у него связи. Вот что-с.

И, начинавший озлобляться скрытым противодействием, адмирал не щадил никого, неуклонно и систематически преследуя то, что считал злом. Он, не стесняясь, давал в

приказах по эскадре выговоры капитанам, особенно преследовал офицеров-дантистов, сажал их под арест, грозил отдачей под суд и, что особенно оскорбило многих, — написал приказ по эскадре, приказав прочесть его матросам, в котором объяснил, что закон не разрешает телесные наказания, кроме случаев предусмотренных, и потому всякие отступления от закона будут строго им преследоваться. Он выслал в Россию за вопиющее нерадение по службе двух мичманов, и в том числе одного титулованного маменькина сына с большими связями, и назначил комиссию для проверки всех книг жизнерадостного и веселого ревизора «Грозного».

Мнения о Тыркове на эскадре были крайние. Большинство офицеров его терпеть не могли, писали о нем в Петербург черт знает что и ругали на чем свет стоит. Меньшинство, напротив, превозносило его до небес. Зато среди матросов спорных мнений не было. Адмирала прозвали «справедливым адмиралом», и матросы говорили, что он «поблажки своему брату не дает».

Месяцев через шесть эскадра заметно под-

тянулась, но адмирал хорошо понимал, что все это не то. И он часто думал, что куда ей до той лихой эскадры былых времен, под начальством «беспокойного» адмирала, в которой все, начиная с адмирала и кончая матросом, были одушевлены одним общим, приподнятым и сильным духом, создающим настоящих моряков, а не бесшабашных карьеристов и торгашей, как он презрительно называл Налетова и ему подобных.

XXI

Почта из России, доставленная адмиралу тотчас же по приходе «Грозного» на рейд, принесла две крупные новости: «Грозный» назначался в состав эскадры Тихого океана на два с половиною года, и Налетов отзывался в Россию. Вместо Налетова ехал новый командир. В числе разных официальных бумаг и предписаний было и конфиденциальное собственноручное письмо от старика-адмирала из Петербурга.

После любезностей и благодарностей за примерное командование эскадрой, старик сообщал, что делу о Налетове хода дано не будет, во избежание «огласки и скандала, вооб-

ще нежелательных». И этот самый старик-адмирал, когда-то подавший громовую записку о беспорядках во флоте и требовавший широкой гласности, теперь, бывши у власти, довольно прозрачно намекал своему подчиненному, что как ни похвальны меры, принимаемые им для пользы службы, тем не менее их энергичность может подать повод к преувеличенным представлениям о недостатках во флоте, что едва ли полезно. «Уже я теперь по поводу приказов вашего превосходительства в Петербурге циркулируют нелепые слухи об эскадре, проникшие в печать», — писал старик и в конце письма выражал сожаление, что начальник эскадры не испробовал всех мер для исправления нерадивых молодых людей, а выслал двух мичманов в Россию.

— Хвалят за энергию и хотят, чтоб ее не было! — горько усмехнулся адмирал, прочитав письмо. — Чтобы все было шито да крыто, и чтобы я был пешкой... Благодарю покорно-с!

И, задетый за живое, адмирал, отлично понявший, что им недовольны, написал ответ, в котором сообщал, что поступает, как ему ве-

лит долг и присяга, и что если его деятельность и усердие по приведению эскадры в надлежащий вид не соответствуют видам начальства, то просит его уволить от командования.

В тот же день обе новости были известны на крейсере и взбудоражили офицеров. Многим очень не хотелось идти в Тихий океан еще на два года плавания, и в тот же день в Петербург полетело несколько длинных телеграмм к родным с просьбами похлопотать об избавлении от плавания. Двое офицеров, у которых не было никаких связей в Петербурге, подали рапорты о болезни.

Скворцов, напротив, был очень рад, что придется сделать кругосветное плавание и с другим командиром, которого он знал, как очень порядочного человека. Вдобавок, и симпатичный доктор Федор Васильевич, с которым он сошелся, остается на «Грозном». Остался и добряк старший офицер, хотя и охал, что разлука с семьей продлится на целый лишний год. Ревизор был несколько смущен. Хотя книги его, как он и заранее был уверен, найдены были комиссией в порядке и с над-

лежащими оправдательными документами и счетами поставщиков, в которых, конечно, не показывались «скидки», составляющие изрядную сумму, тем не менее будущее, судя по репутации нового командира, не предвещало ему приумножения средств в том размере, в котором он приумножал их до сих пор. И он, если бы было возможно, не прочь был списаться с крейсера. Слава богу, тысяч пятнадцать он уже скопил и рад был бы снова служить с Налетовым.

Матросам, и особенно женатым, новое назначение крейсера, разумеется, не доставляло удовольствия. Но радостная весть об уходе «собаки-капитана» несколько примирила их с лишним годом плавания и тяжелой, полной опасностей, службы в море.

Нечего и говорить, что в кают-компании был взрыв восторга при известии о том, что Налетова «убрали наконец». Один только ревизор не выражал удовольствия и благоразумно ушел в каюту во время шумных толков по этому поводу. Обе новости были так значительны, что многие, торопившиеся на берег, в Ниццу, сулившую морякам столько удоволь-

ствий, замешкались, занятые оживленными разговорами. Почти все злорадствовали, что «собаку-капитана» отзывают, не давая ему никакого назначения.

— Теперь карьера его заколодит, господа, это верно!

— Раскусили, что это за наглый хам!

— Однако, судя по виду, он не очень-то опустил хвост... Напротив.

— Дурака валяет, скотина! Уязвленное самолюбие!

Так рассуждали в кают-компании, пользуясь отсутствием старшего офицера, который, конечно, не допустил бы таких разговоров.

А Налетов действительно имел вид, казалось, еще более наглый и заносчивый, точно ничего неприятного для него не случилось. Дело в том, что и жена его, имевшая влиятельные родственные связи и молившаяся на своего мужа, и один из близких к начальнику штаба людей извещали, чтобы он нисколько не придавал значения тому, что его отзывают. Конечно, он и сам рад не идти на два года в Тихий океан, а по возвращении в Россию его, вероятно, назначат командиром строяще-

гося броненосца 1-го ранга. Назначение блестящее. Один из влиятельных адмиралов вполне на его стороне и просил сообщить ему об этом, прибавив, чтобы он не беспокоился. Да и «старик» не особенно доволен Тырковым за то, что он поднял историю о высеченном матросе и вообще слишком усердствует, раздувая всякие пустяки и давая пищу толкам. Высылка мичмана графа Тараканова подняла целую бурю. «Старику» не давали покоя из-за непростительной бестактности Тыркова.

Эти письма несколько смягчили сухой лаконизм предписания и значительно успокоили Налетова. В самом деле, гораздо лучше быть на глазах, чем вдали, да и его вовсе не тянет в море. Черт с ним! А по приезде в Петербург уж он постарается обелить себя и, где только возможно, расписать Тыркова.

— Будет доволен! — со злостью прошептал он, знавший очень хорошо, как и на кого именно надо действовать.

И, полный ненависти к адмиралу, вздумавшему ему «напакостить», Налетов в уме уже набросал общий план той «свиньи», которую он подложит адмиралу. Удаление графа Тара-

канова распишется в известных кружках, как вопиющая несправедливость. Приказ Тыркова, прочитанный матросам, о том, что офицеры не имеют права драться, Налетов считал большим козырем в своих руках. Тут можно расписать самые пикантные узоры насчет подрыва власти и дисциплины, и вообще всю деятельность Тыркова можно будет представить именно в таком цвете — тема благодарная, если ее обработать умеючи и пустить, куда следует... Небойсь, скоро уберут этого законника и «филантропа» и сдадут в архив... Туда же лезет со своими порядками! Какой-то новый дух хочет заводить, старая дура!

Не дожидаясь приезда нового командира, которого ждали через неделю, Налетов подал адмиралу рапорт о болезни и, сдавши временно командование крейсера старшему офицеру, собирался немедленно уехать в Россию. Никаких обычных проводов ему, конечно, не устроили. Ревизор вздумал было заикнуться о прощальном обеде, но общее негодование в кают-компании не дало ему продолжать.

— Устраивайте ему сами обед, коли хотите,

а мы не хотим! — раздалось голоса.

Когда вечером через три дня, в отсутствии адмирала и большей части офицеров, бывших на берегу, вельбот с отъезжавшим, ни с кем не простившимся, бывшим капитаном «Грозного» отвалил от борта, многие из матросов на баке перекрестились.

— Спасибо справедливому адмиралу, избавил нас от собаки... — проговорил один из матросов, выражая общее настроение.

К удивлению, и скорей приятному, чем грустному, Скворцов вот уже целый месяц не имел от адмиральши писем, несмотря на то, что у нее было точное расписание, куда и в какое время адресовать на эскадру письма. В Виллафранке тоже не было на имя Скворцова узенького, длинного, надушенного конверта с надписью, сделанной мелким почерком, обыкновенно возбуждавшим завистливое любопытство многих мичманов в кают-компании, почему-то не веривших, что эти письма от сестры, как уверял Скворцов.

«Сестры, мол, такие толстые конверты не посылают!» — говорили, казалось, их улыбающиеся насмешливые взгляды.

Верно, Нина Марковна (Скворцов уже и мысленно называл адмиральшу не Ниной, а Ниной Марковной) совсем успокоилась, — размышлял он, успокаивая себя, — и, получив письмо о лишнем годе разлуки (прежде скрытом из трусости), догадалась, что любовь не бывает вечною. Недаром она писала, что Неглинный летом часто у нее бывал. За лето Неглинный, конечно, вполне обработан, — адмиральша на это мастерица! — и теперь она донимает влюбленного раба божия Васеньку сценами ревности и упреков с финалом клятв и поцелуев, черт побери его, однако! Интересно было бы увидеть этого фефелу. Какую он теперь разводит теорию об амурах! Как бедняга себя чувствует, воображая, что обманывает добряка Ивана Иваныча? Дай бог ему всего лучшего, этому прелестному Ивану Иванычу! Если бы не он, быть бы ему, злополучному лейтенанту, до сих пор как бычку на веревочке... А теперь свободен, как ветер!.. И хоть бы Неглинный написал другу, а то молчит, точно набрал в рот воды, свинья этакая! Видно, в самом деле втюрился с сапогами и перестал валять Иосифа Прекрасного. Васень-

ка хоть и фелелист, а ничего мальчик.

Так раздумывал Скворцов, стоя на вахте вечером в день прихода в Виллафранку, и — признаться — не испытывал чувства ревности к другу. Напротив, значительно охладевший к Нине Марковне и более правильно оценивший ее за время разлуки, он искренно жалел друга, предполагая, что он немало потерпит от пламенной и сумасбродной адмиральши, если только она уже всем для него «пожертвовала», и он перед такой жертвой не задал, по своему благородству, тягу... Ну, а тогда Васеньке капут... Мертвая петля! Неглинный из нее не выскользнет, как выскользнул он. Не такой Васенька человек. Адмиральша как по нотам будет разыгрывать на его благородстве! Бедный Неглинный!

— Фалгребные наверх! — крикнул он вслед за докладом сигнальщика, что адмирал едет.

Адмирал, благоволивший к Скворцову и считавший его дельным и исправным офицером, проходя к себе в каюту, спросил его:

— Ну что, довольны, что идете в Тихий океан?

— Доволен, ваше превосходительство.

— Быть может, вы предпочли бы остаться здесь. Тогда я вас оставлю.

— Благодарю, ваше превосходительство. Я предпочту идти на «Грозном».

— В таком случае, рад за вас... В Тихом океане у вас будет больше морской практики, и плаванье серьезнее... Да и новый капитан ваш прекрасный моряк... А я было думал...

Адмирал на секунду остановился и, улыбувшись, прибавил:

— Думал, что вас тянет скорее вернуться в Россию... Рад, что ошибся... Такому бравому офицеру, как вы, грешно сидеть на берегу... Наш флот очень нуждается в дельных моряках... Спокойной ночи!

И адмирал, пожав Скворцову руку, прошел к себе в каюту.

«Верно, и адмирал кое-что слышал о моем увлечении адмиральшей!» — подумал Скворцов, очень польщенный комплиментами адмирала, к которому чувствовал восторженное уважение и был самым ярким его защитником в кают-компании.

Выспавшись отлично после вахты и пообещав своему любимцу вестовому купить на бе-

регу на платье «куме» в Кронштадте, о которой вестовой нередко вспоминал с большим увлечением, Скворцов вместе с доктором Федором Васильевичем отправились в Ниццу, рассчитывая вечером послушать оперу.

Минут через десять поезд доставил их на ниццскую станцию, где в это же время стоял парижский экспресс, прибывший почти в одно и то же время. Они торопливо пробирались в толпе, как вдруг кто-то дернул Скворцова за рукав, и чей-то знакомый, радостный и нежный голос произнес у самого его уха:

— Ника!

«Ника» совсем ошалел от изумления. Перед ним была адмиральша в изящном дорожном платье, с алой розой в петличке жакетки, и весело и властно протягивала ему свою маленькую ручку.

XXII

Ошалевай, не ошалевай, а как бы то ни было, адмиральша была тут, точно свалившись с небес, по-прежнему свежая, цветущая и пикантная, с подведенными слегка глазами и главное, по всем признакам, такая же любящая, решительная и считающая «Нику» сво-

им верноподданным, как и шесть месяцев тому назад, когда еще «Ника» не знал, что Валерьян не спроваживает человека на тот свет.

Более пораженный, чем обрадованный, чувствующий, что ему придется «заметать хвост» и, — уж надо признаться, — изрядно-таки струсивший при мелькнувшей мысли о неизбежности решительного объяснения и бурных сцен. Скворцов с какою-то нервной возбужденностью слабохарактерного человека, застигнутого врасплох, пожимал и потрясал ручку адмиральши и, стараясь казаться необыкновенно обрадованным, растерянной громко восклицал, обращая на себя внимание проходящих:

— Какими судьбами, Нина... Нина Марковна?. Вот никак не ожидал!.. Признаюсь, приятный сюрприз... Надолго ли в Ниццу?. Как поживает Иван Иванович?. Вы из Парижа? Давно ли из России?

Кидая эти вопросы и чувствуя себя все-таки виноватым перед этой маленькой женщиной, которая не только для него «всем пожертвовала», но еще и прикатила сюда, очевидно, для свидания с ним («эдакая фефела

этот Неглинный!») и, разумеется, для истребования отчета, как он себя вел за время разлуки. Скворцов в то же время беспокойно оглядывался и искал глазами своего спутника, чтобы сказать ему, что приезд кузины, что ли, мешает ему провести день вместе с доктором. Но Федор Васильевич, услышавший интимное восклицание адмиральши и догадавшийся по выражению ее лица, что эта дама едва ли родственница Скворцова, поспешил деликатно исчезнуть, предполагая, что его приятелю несравненно будет приятнее эта неожиданная встреча без постороннего свидетеля.

— Ты кого это ищешь? — спросила, вместо ответа, адмиральша, внезапно насторожившись, и в ее глазах блеснул хорошо знакомый Скворцову огонек, верхняя губа, подернутая пушком, вздрогнула, и ноздри раздулись.

И с этими словами она обернулась.

На несчастье злополучного лейтенанта, совсем близко, в двух шагах от них, стояла хорошенькая, бойкая, пестро одетая француженка, одна из тех фривольных дам, которые на станции ищут случайного попутчика, ко-

торый доvez бы до Монте-Карло и дал бы два золотых, чтоб попытать счастья в рулетке. Вдобавок, и она, признав в Скворцове иностранца, взглядывала на молодого, красивого лейтенанта с большой выразительностью.

Адмиральша метнула на нее подозрительный взгляд, на который француженка ответила гримаской и хохотом, — и взволнованно проговорила, хмуря брови:

— Быть может, я помешала... Вас ждут...

— Никто меня не ждет... Я сию минуту приехал... Я искал доктора... Федора Васильевича... Мы с ним вместе съехали на берег...

В голосе Скворцова звучала нотка раздражения.

— Ну, прости... прости, Ника... Ты в последнее время так редко писал... Мало ли какие мысли приходили в голову!.. Я так страдала... такая без тебя была тоска, что я не выдержала и поехала повидаться с тобой... Однако едем, Ника... Вези меня в гостиницу. Какая здесь лучшая? Пошли носильщика за моим багажом... Пусть его пришлют в отель...

Через пять минут все было устроено, и адмиральша с Скворцовым села в карету и по-

ехала в Grand Hotel de Nice...

Дорогой адмиральша, радостная и веселая, держала в своих маленьких руках руку Скворцова и взглядывала ему в лицо с властной нежностью, словно бы говоря своим взглядом: «Ну, голубчик, теперь ты снова мой, и уж я тебя не отпущу!» И Скворцов, несколько смущенный своим положением пленника, слушал, как она «страдала без него» и как она счастлива теперь.

— Ты видишь, как я тебя люблю, Ника, как я верна тебе? А ты? Ты не разлюбил свою Нину? Ты ведь рад, что я к тебе приехала? Говори, рад, мой милый?

У кого хватит жестокости сказать женщине, да еще хорошенькой, которая приехала из Петербурга в Ниццу для свидания, что ей не рады? Да и Скворцов, хоть и значительно охладевший к адмиральше после своего бегства и хорошо еще помнивший, какой «бамбук» было его положение в качестве любимого человека, тем не менее был очень польщен приездом, свидетельствующим и об ее, совсем неожиданном постоянстве, и о «фефелистости» Неглинного, да вдобавок, и этот неж-

ный чарующий голос, поющий о любви, расстрогал молодого человека. И он, разумеется, отвечал, что очень рад, бесконечно рад, и в доказательство пожал ее руку, так как более убедительным образом выразить свою радость на улице было невозможно...

Слушая разные нежности и, между прочим, получив комплимент, что «Нике очень идет статское платье», Ника не переставал все-таки думать о предстоящем объяснении... Нельзя ли его отложить, по крайней мере... хотя на день, на два... А то как же сразу огоршить ее известием, что он уходит в Тихий океан?... Положим, валерьян его не испугает, но все-таки... И надо же, наконец, объяснить ей, что он недостоин, что ли, ее любви и... и вообще... не настолько любит, чтобы связать с ней свою судьбу. Надо уяснить ей все это... А еще лучше бы ничего не говорить об уходе в Тихий океан. Через неделю «Грозный» уйдет из Виллафранки... Можно в день ухода отправить ей письмо, подробное письмо, в котором добросовестно изложить все обстоятельства, обещав сохранить о ней навсегда благодарную память, и дело с концом... Тю-тю! Ищи

его! Небойсь, в Тихий океан адмиральша не приедет требовать любви и объяснений... Далеконько! «А какая же, однако, она хорошенькая, эта адмиральша!» — внезапно прервал свои размышления Скворцов, взглядывая на Нину Марковну.

— Что, постарела я? — кокетливо спросила она.

— Напротив, такая же хорошенькая, как и была, — совсем уже искренно проговорил Скворцов.

И неожиданно спросил:

— А что подельывает Неглинный? Он мне не пишет ни строчки.

— Неглинный? — протянула, слегка краснея, адмиральша и сделала такую гримаску, что Скворцову вчуже стало жаль своего друга. — Ничего, здоров, философствует и изредка заходит к нам...

— Он, кажется, влюблен в тебя до безумия?

— А ты откуда знаешь?

— Догадался из его единственного письма ко мне...

— А может быть, хотя он и не удостоил меня чести признания, — промолвила адми-

ральша, усмехнувшись...

— Страдает молча, бедный Васенька?

— Не знаю... Пусть себе!.. И вообще твой Неглинный, хоть и добрый человек, но...

Адмиральша остановилась на минутку, вспомнив, каким балбесом вел себя Неглинный в течение лета, и, бессовестно забыв остальные его заслуги в качестве идеального комиссионера, с презрительной усмешкой прибавила:

— Но, по правде говоря, невыносимо скучен... Он не может нравиться женщинам... А ты, Ника, уж не ревнуешь ли к своему другу? Нашел к кому ревновать! — расхохоталась адмиральша. — Да разве я тебя на кого-нибудь променяю, моего ненаглядного?. Я ведь до конца моих дней твоя, верная твоя Нина, и ты мой...

«Ну, это шалишь!» — подумал в ту же секунду Скворцов, охваченный внезапным страхом от такой приятной перспективы дальнейшей своей судьбы. Но он малодушно промолчал, тем более, что карета подъехала к подъезду, и представительный, с превосходно расчесанными бакенбардами швейцар вы-

шел отворить дверцы.

Тотчас же явился не менее представительный господин во фраке, хозяин гостиницы, и пригласил приезжих посмотреть комнаты. Адмиральша выбрала себе хорошенький, мило убранный номер в две комнаты и когда подала свою карточку, то хозяин, и без того любезный, стал еще любезнее.

— А для вас тоже нужна комната? — спросил хозяин Скворцова.

— И брату нужна, — поспешила ответить адмиральша, заметив колебание молодого лейтенанта.

«Однако, — подумал Скворцов, — она мною распоряжается, как собственно-стью!» — и покорно последовал за хозяином.

— Через четверть часа приходи, Ника, — кинула вслед адмиральша. — Я тебе расскажу о моих планах... Будешь доволен.

Хозяин повел было Скворцова в номер того же этажа, но тот благоразумно попросил его отвести ему комнату повыше и не очень дорогую.

Оставшись один в номере, Скворцов заходил по комнате, полный внезапной решимо-

сти немедленно же объясниться с адмиральшей. Подло же в самом деле ее обманывать.

Но когда он вошел к адмиральше, и она, только что переодевшаяся в изящное парижское платье с вырезным воротом и с короткими рукавами, красивая и, казалось, помолодевшая, бросилась к нему навстречу и, обняв его шею руками, прильнула к его губам, вся трепещущая от счастья, — Скворцов, несмотря на свое твердое намерение объясниться, вместо объяснений безмолвно сжимал адмиральшу в своих объятиях.

После первых безумно-страстных минут свидания после долгой разлуки, адмиральша, поправив свою смятую прическу, заалевшая и счастливая, присела на диван и, усадив возле себя Скворцова, стала, излагать свой план.

План в самом начале был заманчивый.

Она хорошо понимает, как Нике тяжела разлука, и как он не хотел идти в плавание. Неглинный ей об этом не раз говорил («Нечего сказать, удружил!» мысленно шепнул Скворцов, обозвав про себя Неглинного идиотом). Еще год куда ни шло, но два года — это невозможно...

— И знаешь, Ника, что я придумала? — с победоносным видом сказала адмиральша.

— Что такое? — спросил далеко не весело Скворцов.

— Я попросила Ванечку дать письмо к Тыркову...

— К Тыркову?. Зачем?

— Глупый! Разве не понимаешь? Чтобы он тебе по болезни, что ли, разрешил вернуться в Россию... Я сама хорошо знакома с Тырковым, — мы с ним большие приятели, — и попрошу его, он наверно не откажет... И тогда мы вместе уедем и проведем несколько месяцев вдвоем... Поедем в Италию, в Испанию, куда хочешь... Не правда ли, как хорошо?.

Но, к изумлению адмиральши, лицо Скворцова далеко не выражало радости...

Напротив...

И он только что хотел заговорить, как в двери постучали.

Скворцов, как достойный ученик адмиральши, быстро пересел с дивана на отдаленное кресло и принял почтительную позу человека, пришедшего с визитом.

— Entrez![9] — крикнула адмиральша.

В дверях показалась низенькая, плотная фигура адмирала.

— Ни слова ему! Мне надо прежде объяснить с тобой! — шепнул Скворцов, когда адмиральша с приветливой, милой улыбкой поднялась навстречу адмирала.

XXIII

Адмиралу не шло статское платье, и в мешковатом, плохо сидевшем черном рединготе, с цилиндром в руках, в съехавшем набок узеньком галстуке, он представлял собою далеко неказистую фигуру, совсем непохожую на того адмирала, который стоял на мостике «Грозного» в своем потертом, коротком пальто и в сбитой назад фуражке и, расставив фертом ноги, спокойно и зорко посматривал во круг во время учений и маневров в свежую погоду.

Приветствуя Нину Марковну, которую он знал, когда она еще была девушкой, и, кажется, в то время был к ней равнодушен, и почтительно целуя душистую ее ручку, адмирал Тырков, казалось, несколько смутился, увидав Скворцова и догадавшись по его далеко не веселому виду, что прервал приятное

tete-a-tete[10], явившись нежданным гостем. Вероятно, поэтому он поспешил объяснить, благодаря какой счастливой случайности узнал, что Нина Марковна здесь. Он, видите ли, завтракал в этом отеле и, уходя, увидал на доске ее фамилию и не отказал себе в удовольствии засвидетельствовать Нине Марковне свое почтение.

Адмиральша, разумеется, была «несказанно обрадована такой счастливой случайностью» и снова пожала руку адмирала, благодаря его за милое внимание и очень довольная в то же время, что адмирал не оказал «милого внимания» четвертью часами раньше и не помешал первым счастливым минутам радостной встречи с «Никой».

— Я сегодня же хотела написать вам, Василий Петрович, что приехала и жду своего доброго приятеля, — продолжала адмиральша с обычной своей чарующей приветливостью, улыбаясь глазами, словно лаская ими. — Я от Николая Алексеича узнала, что «Грозный» здесь близко, и вы на нем. Надеюсь, вы знаете этого молодого человека! — прибавила адмиральша, указывая взглядом на Скворцова, ко-

торый встал, при входе адмирала, и теперь почтительно кланялся.

— Еще бы не знать! Мы с Николаем Алексеичем большие приятели! — промолвил приветливо адмирал и крепко пожал молодому лейтенанту руку.

— Наша встреча с ним была совсем неожиданная! — воскликнула адмиральша, усаживаясь на диван. — Вообразите, Василий Петрович... Только что приехала я сегодня из Парижа в Ниццу, выхожу на дебаркадер, гляжу: Николай Алексеич.

— Мы с доктором из Виллафранки приехали в одно время с Ниной Марковной. Поезда тут скрещиваются, — счел почему-то нужным вставить слегка смущенный Скворцов, обращаясь к адмиралу и точно оправдываясь.

— Ну, я, разумеется, остановила его и, по праву доброй знакомой, заставила проводить меня в отель... Надеюсь, что он и впредь не откажется иногда быть моим чичероне...

— Не смеет отказаться. Я его откомандирую в ваше распоряжение, Нина Марковна, пока «Грозный» будет стоять в Виллафранке, — шутливо заметил адмирал.

— Не бойтесь, я не злоупотреблю вашей любезностью и не заставлю проклинать соотечественницу, Николай Алексеич! — с веселым смехом промолвила адмиральша, бросая на молодого человека пристальный и пытливый взгляд и тотчас же отводя его.

Скворцову оставалось только проговорить с любезной улыбкой, что он «всегда к услугам Нины Марковны», а в голове носилась тревожная мысль: «как бы адмиральша не вздумала теперь же „брякнуть“ адмиралу о том, что он желает вернуться в Россию! Пожалуй, еще и письмо Ивана Иваныча передаст? То-то выйдет „бамбук“! И на кой черт Иван Иванович просит за меня, когда я его об этом не просил? Верно, она его заставила, эта неугомонная женщина, желающая распоряжаться мною, как своим покорным рабом... Шалишь, Нина Марковна! Дудки! Не увезете вы меня в Россию! Уж приму сегодня лучше сразу наказание, но объяснюсь!»

В свою очередь и адмиральша, несмотря на оживление и веселый смех, в душе испытывала тревогу, тщательно скрываемую перед гостем. В самом деле, отчего Ника не вы-

разил восторга от предложенного ею плана, сулившего им обоим столько счастья? Ведь не балбес же он вроде Неглинного, чтобы добровольно отказываться от радостей жизни? И отчего он требовал, чтобы она ни слова не говорила Тыркову? Какое он хочет иметь объяснение?

Так думала адмиральша, полная жгучих ревнивых подозрений, и еще оживленнее и любезнее говорила адмиралу, что Ванечка, слава богу, здоров и просил очень кланяться, что он получил береговое место, и с сентября они переселились из Кронштадта в Петербург...

— Как же, читал в газетах и порадовался за Ивана Иваныча. Он, конечно, доволен?

— А то как же? Место покойное, содержания больше... И надоело ему, бедному, уходить в плавание. Слава богу, поплавал... Теперь уж нам не придется каждое лето врозь жить...

— А вы сюда надолго, Нина Марковна? Надеюсь, что пожаловали не для лечения. Глядя на вас, было бы просто грешно предположить, что вы могли бы быть больны? — про-

говорил адмирал, застенчиво краснея, и, взглядывая на цветущую адмиральшу, припомнил и свое бывшее увлечение ею, и то, что она предпочла ему Ивана Ивановича.

— Не судите по наружности, Василий Петрович... Меня послали сюда доктора.

— Что с вами? — участливо и удивленно спросил адмирал.

— У меня, Василий Петрович, неврастения, — отвечала Нина Марковна, отчеканивая это слово с внушительной торжественностью и словно бы несколько гордясь, что у нее болезнь с таким мудреным и в то же время красивым названием. — Неврастения! — повторила адмиральша, принимая вдруг серьезный вид женщины, одержимой недугом. — Так Ижевский определил... Знаете, знаменитый специалист Ижевский...

— Какая же это болезнь?

— Расстройство всей нервной системы... Я сильно страдала и лето, и осень от этого... Пока болезнь, слава богу, в начале, но запустить ее, говорят, очень опасно... Ижевский так и сказал, и советовал непременно провести зиму на юге, дать окрепнуть нервам, отдохнуть

в теплом климате... Признаться, я не хотела ехать... Жаль было оставить Ванечку одного...

— А что же Иван Иваныч не поехал с вами, Нина Марковна?

— Звала его, но, вы понимаете, ему неловко было брать отпуск, получивши только что новое назначение.

«Эка врет как и не моргнет глазом!» — пронеслось в голове у Скворцова.

Адмиральша между тем не переставала заниматься не особенно речистого адмирала и, между прочим, сообщила о слухах, и довольно вероятных, что адмирал-старик оставляет свой пост.

— Мало ли какие ходят слухи, Нина Марковна! — промолвил адмирал и, просидев еще минут пять, поднялся с места.

«Слава богу, промело!» — подумал Скворцов и, радостно вздохнув, тоже встал и взял с окна свой котелок.

— Куда же вы, Василий Петрович? — воскликнула адмиральша. — Посидите...

— Простите, не могу. Если позволите, в другой раз.

— Не только позволю, но прошу, очень

прошу и чем скорее навестите меня, тем лучше... И я к вам приеду на «Грозный». Позволите? — с кокетливой улыбкой промолвила адмиральша.

— Буду весьма счастлив принять вас, Нина Марковна, — с галантной любезностью отвечал адмирал, низко кланяясь. — Когда вам будет угодно?

Решено было, что на следующий же день Нина Марковна приедет обедать к адмиралу. Адмирал пригласил и Скворцова, поручив ему привезти адмиральшу на крейсер.

— А вы долго думаете простоять в Villafranche?

— Неделю, Нина Марковна...

— Неделю только? А затем?

— Я пойду на «Грозном» в Мальту и пересяду на свой флагманский корабль, который меня там ждет.

— А «Грозный»?

— Разве вы не знаете?. Он уходит в Тихий океан на два года.

— В Тихий океан? — воскликнула адмиральша.

Голос ее чуть-чуть дрогнул. Несмотря на

уменьше владеть собой, адмиральша едва скрыла тревожное волнение, охватившее ее при этом неожиданном известии, и то благодаря батистовому носовому платку, который ей вдруг понадобился и на минуту закрыл ее лицо.

«Отчего Ника скрыл от меня это? Он меня обманывает!» — с гневным чувством подумала адмиральша, бросая украдкой взгляд на Нику.

Тот выдержал этот, хорошо знакомый ему, быстрый и молниеносный взгляд черных подведенных глаз адмиральши, предвещающий ураган, с наглой отвагой человека, сознающего безвыходность своего положения и решившего защищаться до крайности. «Вляпался!» — мысленно повторял он, соображая, что теперь уж нет никакой возможности «втереть ей очки» при объяснении, на что он легкомысленно надеялся.

И он с самым решительным видом ждал, что будет дальше и как «все объяснится».

Адмирал между тем пояснил адмиральше, что «Грозный» назначен телеграммой из Петербурга.

— Вот только ждем приезда нового командира.

— А Налетов?

— Он сменен, Нина Марковна, и уезжает в Россию.

— А вы, Николай Алексеич, и не сообщили мне всех этих новостей? промолвила адмиральша, уже овладевшая собой.

И самым равнодушным тоном спросила:

— И вы, конечно, идете на «Грозном»?

— Иду, Нина Марковна.

«И как он говорит спокойно, бессовестный!»

— Как же, идет, Нина Марковна, идет-с, — весело подтвердил адмирал, приветливо поглядывая на Скворцова. — Признаюсь, у меня было намерение взять Николая Алексеича к себе флаг-офицером, и я вчера предлагал ему остаться в Средиземном море.

— И он, разумеется, не хочет? — перебила адмиральша.

— Не хочет, Нина Марковна. И умно делает-с. Умно и похвально. Молодому моряку надо поплавать в океане, — когда еще представится случай опять попасть в дальнее плава-

нье. А океан — превосходная школа, особенно для такого бравого офицера, как Николай Алексеич.

«Окончательно зарезал!» — пронеслось в голосе «бравого офицера», и он решил «исчезнуть» смеете с адмиралом, чтобы не компрометировать адмиральши своим долгим визитом и — главное — избежать первых взрывов ее гнева.

— Еще бы!.. Где же и учиться, как не в океане!.. И Ванечка, который так любит Николая Алексеича, всегда говорил, что из него выйдет отличный моряк... Очень рада за вас, Николай Алексеич! — прибавила адмиральша с веселой, обворожительной улыбкой, нервно сжимая в своем маленьком кулачке батистовый платок и чувствуя, что к горлу подступают слезы.

— Так до завтра, Нина Марковна? — проговорил адмирал, целуя ручку.

— Непременно, Василий Петрович, если только опять не зашалят нервы... А вы, Николай Алексеич, тоже бежать? — обратилась адмиральша к Скворцову, заметив, что и он собирается уходить. — Нет, я вас не отпущу...

Полюбуйтесь, Василий Петрович, какие нынче молодые люди?. Обещал мне показать Ниццу и хочет уходить... Оставайтесь и сейчас же поедem кататься...

— Это нехорошо, Николай Алексеевич, — заметил адмирал. — Надо слушаться начальства! — шутливо прибавил он и, пожав молодому человеку руку, ушел, обещая адмиральше навещать ее, пока «Грозный» здесь.

XXIV

Проводив адмирала до дверей, Нина Марковна медленно и слабой походкой, точно с трудом передвигая свои маленькие ножки, печально склонив на грудь голову, прошла к дивану и опустилась на него тихая, скорбная и подавленная, не произнося ни слова, не поднимая глаз, прикрытых длинными, густыми ресницами.

Несколько долгих минут прошли в томительном молчании среди тишины, царившей в этой уютной, небольшой комнате, залитой ярким светом чудного солнечного дня, врывающимся в два большие окна. Звуки мандолины вдруг раздались под окном, и мягкий тенор уличного певца-итальянца донесся в

комнату... Песенка, которую пел певец, говорила, казалось, о любви, о счастье... Адмиральша вздрогнула и снова замерла в своем безмолвном горе.

Такою Скворцов никогда не видал адмиральшу во все время их знакомства. Пораженный, он тоже притих в кресле, пощипывая свою бородку, смущаясь все более и более и чувствуя себя виноватым. Еще бы не смутиться молодому лейтенанту, и не догадывавшемуся о разнообразии репертуара хорошенькой адмиральши! Он ждал урагана, ждал взрыва упреков, проклятий, трагических жестов и истерики — и вдруг вместо всего этого перед ним эта маленькая, изящная женщина в виде покорной, безмолвной жертвы.

«И хотя бы она заговорила!» — подумал Скворцов, бросая тревожный взгляд на адмиральшу...

Слезы медленно катились по ее щекам. Она их не вытирала, и эти слезы как бы свидетельствовали о великости преступления молодого лейтенанта.

Наконец она произнесла:

— Николай Алексеич... объясните мне... я

не могу понять... что все это значит?

«О господи! Что за кроткий, мягкий голос! И сколько покорности в ее взгляде! Как она изменилась в характере за это время! Решительно следует ей сказать всю правду!» — подумал Скворцов.

— Нина Марковна, — начал он тихим и робким, слегка дрожащим голосом, каким говорят подсудимые, сознающие свою вину и надеющиеся на снисхождение такого же доброго на вид судьи, каким в настоящую минуту казалась адмиральша, — я не стану перед вами оправдываться... Я хотел вам все объяснить, когда вы звали меня в Россию, но пришел адмирал, и вы от него узнали, что я иду в Тихий океан, хотя бы мог остаться и мог бы даже с вами уехать в Россию... Но я не поеду. Не могу и не смею ехать. Я не достоин той привязанности, какую имел честь заслужить... Вы навсегда останетесь светлым, чудным воспоминанием в моей жизни, но...

На этом месте Скворцов запнулся, приискивая возможно деликатную форму выражения, и после паузы продолжал:

— ...Но, проверив в разлуке свое чувство, я

пришел к заключению, что оно не такое сильное и глубокое, каким я его считал прежде... Это была не настоящая любовь, Нина Марковна, а увлечение, безумное, страстное, но только увлечение... Я чувствую, что не мог бы дать вам счастья, какого вы стоите, и решил, что всего лучше нам расстаться... Простите, Нина Марковна, но я обязан это сказать по чистой совести... Я виноват, что, из боязни причинить вам зло, не написал всего этого раньше. Но я думал, что вы сами догадаетесь...

Проговорив свою защитительную речь, Скворцов ожидал приговора не без некоторой наивной надежды получить если не полное оправдание, то по крайней мере снисхождение. Адмиральша, казалось, так кротко и терпеливо слушала, ни разу не прерывая и все время склонив голову на руку. Правда, выражения ее лица он не видал, лицо было прикрыто рукой, но, судя по спокойствию адмиральши, надо было думать, что она поймет и вполне оценит всю искренность и деликатность его объяснения.

Но в ту же секунду Скворцов увидел вне-

запное превращение. Кроткое, притихшее, покорное создание снова сделалось прежней бешеной адмиральшей. Грозная и решительная, с сверкающими глазами, раздувающимися ноздрями и судорожно подергиваемой верхней губой, необыкновенно красивая в своем гневе, она, словно ужаленная, вскочила с дивана и крикнула ему знакомые слова:

— Так вот ваша расплата за то, что я всем для вас пожертвовала, и за то, что я так вас любила! Вы увлекли порядочную женщину, а затем: «простите, я увлекался». Благородно, очень благородно! О, подлый обманщик! К чему вы клялись в любви? Зачем писали нежные письма? Зачем еще сейчас, полчаса тому назад, вы так горячо меня целовали и говорили, что так рады меня видеть? Значит, все это была ложь, одна ложь и притворство.

И, чувствуя всю жгучую боль оскорбленного самолюбия избалованной женщины, которой говорят, что ее не любят, обманутая в своих ожиданиях, адмиральша разразилась целым потоком обвинений.

Он — негодяй, каких она еще не видывала. Негодяй и лжец, вкравшийся, как вор, в серд-

це доверчивой женщины и обольстивший ее своими речами... Не он ли клялся в вечной любви!? Не он ли ползал у ее ног, вымаливая ласки!? И она имела глупость поверить искренности, поверить клятвам и, тронутая ими, сама, глупая, имела несчастье полюбить его... и первый раз в жизни нарушить долг порядочной женщины... О, презренный человек! Ведь из-за него она обманывала благородного Ванечку! Из-за него он, быть может, втайне страдает! Из-за него ее жизнь разбита и в душе вечное раскаяние, что она была неверной женой...

— Вы, вы, подлый, развратный человек, во всем виноваты! — закончила адмиральша трагическим шепотом, вся побледневшая, и подняла обнаженную руку, словно бы призывая проклятие на опущенную голову «подлого человека».

Это, наконец, взорвало Скворцова, и он проговорил:

— Но позвольте, Нина Марковна... Разве уж я так виноват, как вы говорите?. Разве я, в самом деле, изверг, а вы моя жертва?. Припомните все... Чего вы хотите? Чтоб я сделал-

ся снова тем покорным рабом, каким был, и чтоб вы опять терзали меня сценами ревности, упреками и пугали меня валерьяном? Благодарю покорно! Я свободы хочу, а не цепей... А главное...

— Уходите! Я вас презираю! — злобно прошептала адмиральша и указала своей маленькой ручкой на дверь.

Скворцов поклонился и вышел. Очувтившись на улице, он облегченно вздохнул.

На следующий день адмиральша известила Тыркова, что она больна и, к сожалению, не может приехать на «Грозный». Вместе с тем она писала, что доктор, приглашенный ею вчера вечером, — так она чувствовала себя нехорошо, нашел, что ветры, дующие в Ницце, очень вредны для неврастеников, и советовал ей, как можно скорее, уехать куда-нибудь в Италию, и она завтра же уезжает и просит адмирала приехать проститься.

Побывав в Риме и в Неаполе и почувствовав себя здоровой, адмиральша через месяц возвратилась в Петербург. На вокзале ее встретили Иван Иванович и Неглинный, оба радостные и сияющие. И адмиральша так

крепко пожалала руку Неглинного и так ласково взглянула на него, промолвив, что рада его видеть и соскучилась без него, что Неглинный чуть не заплакал от восторга, зардевшись, как маков цвет. И вскоре после возвращения в Петербург, однажды вечером, когда Иван Иванович был в Английском клубе, а адмиральша после ванны сидела в своем кабинете в капоте с распущенными волосами и хандрила, она послала за Неглинным. В этот самый вечер она рассказала ему историю своей жизни, сообщила, как она несчастна и как ценит такого верного друга, как милый Василий Николаич, и, осчастливив совершенно неожиданно молодого «друга» поцелуем «сестры», несколько, впрочем, долгим и страстным для такого назначения, заставила-таки Иосифа Прекрасного не только признаться в безумной любви и покрыть поцелуями и слезами ее маленькие ручки, но и восторженно объявить, что он готов сию же минуту умереть за нее. Приказывайте!! Она улыбнулась нежно и кротко и разрешила ему жить на божьем свете, тем более, что и сама чувствует к нему нечто более, чем дружбу. И

через несколько дней адмиральша уже сделала влюбленного Неглинного самым счастливым человеком в подлунной, вернейшим своим рабом и лучшим комиссионером в Петербурге, причем находила, что милый Вася далеко не такой балбес, каким она его прежде считала.

Нечего и прибавлять, что с этих же пор Неглинный сделался непримиримым врагом бывшего своего друга, о чем добросовестно и известил его сухим письмом, в котором, не объясняя причин, извещал, что отношения их прекращаются.

Скворцов понял, что Неглинный вполне «обработан», и что объясняться с ним теперь невозможно.

XXV

Прошло два с половиной года.

В одно летнее утро «Грозный», салютуя крепости, входил в Кронштадт и бросил якорь на большом рейде после долгого плаванья, прискучившего уже морякам, которые с шумной радостью теперь поздравляли друг друга с счастливым возвращением на родину.

В тот же день Скворцов съехал на берег и

пошел в клуб, надеясь там встретить кого-нибудь из знакомых, кто мог бы сообщить ему о Неглинном. Скворцов очень интересовался судьбой своего бывшего друга и, несмотря на его странное письмо, по-прежнему горячо его любил. За это время он не имел о Неглинном никаких сведений. Где он и что с ним? Из газет он знал, что честнейший и благороднейший добряк Иван Иванович внезапно умер от удара вскоре после возвращения адмиральши из-за границы, когда она ездила на свидание, окончившееся разрывом, но что с адмиральшей, по-прежнему ли бедняга Васенька у нее в крепостном состоянии, или она «жертвует всем» кому-нибудь другому, — все это ему было совершенно неизвестно.

«Верно „милая фефела“ до сих пор у адмиральши в плену! А то бы наверно откликнулся и извинился за это дурацкое „прекращение отношений“», — решил Скворцов, направляясь в летнее помещение клуба.

Там было несколько офицеров, совсем незнакомых, и Скворцов одиноко присел к столу, спросив себе обед, как на счастье его через несколько минут в клуб зашел один из

товарищей. Обрадованный Скворцов радостно приветствовал приятеля: они обедали вместе и распили бутылку шампанского, поставленную Скворцовым. Первым делом он, конечно, осведомился о Неглинном.

— Ты разве ничего не знаешь?

— Ничего не знаю...

— Неглинный сделал большую глупость — женился.

— Женился? На ком?

— А на той самой адмиральше, с которой ты, кажется, путался...

— И не думал! — энергично запротестовал Скворцов. — Так женился? На Нине Марковне? — изумился молодой лейтенант.

— Вернее, она его на себе женила... Ну, а он... известно, блаженный Васенька... Говорят, совсем был «втюрившись», даром что адмиральша лет на десять его старше и вообще «бабец» очень занозистый...

— И давно он женился?

— Да года полтора тому назад, как получил от дяди большое наследство. Раньше он так, в свободную любовь играл. Не рука была адмиральше лишаться пенсионна, ну, а как Неглин-

ный стал богат, адмиральша навечно закрепила Васеньку. Крепче, мол, будет. Баба ловкая. И еще очень того... аппетитная, хоть и подводит глаза и подкраску любит...

— А Неглинный по-прежнему преподает?

— Как же... Астрономию читает...

— Ну и что же, счастлив ли он, по крайней мере, с Ниной Марковной? Ты бываешь у них?

— Бываю. Совсем наш Вася под башмаком у супруги. Всегда они вместе. Без нее никуда! Не смеет. Такая у них конституция, заведенная «бабцом»... Ревнивая, как Отелло... Уж теперь он, брат, два вихра в сосиски закручивает, а не один, как прежде, помнишь? — рассмеялся товарищ.

— Ах, милая фефела! — проговорил Скворцов.

В тот же вечер Скворцов написал Неглинному письмо, просил «забыть все» и немедленно приехать на «Грозный». «Ужасно хочется с тобой увидеться и расцеловать твою милую рожу», — заканчивал письмо Скворцов.

На другой день Неглинный приехал. Друзья радостно бросились друг другу в объятия

и облобызались, и затем Скворцов повел друга в свою каюту, чтобы поговорить наедине.

В первую минуту оба были несколько сконфужены, особенно Неглинный. Ни тот, ни другой не проронили ни слова об адмиральше, точно ее и не было на свете.

— Ну как, голубчик, поживаешь? — первый заговорил Скворцов, с любовью глядя на милое, слегка растерянное лицо своего друга. — Вижу — поправился... пополнел, не то что перед экзаменами, помнишь? По-прежнему преподаешь? Заставляешь теперь других зубрить, зубрило-мученик? — продолжал весело Скворцов и снова горячо и порывисто обнял Неглинного.

— Ничего себе, живу... Астрономию читаю... А ты как... Доволен плаванием?

— Очень... Капитан превосходный моряк и честнейший человек, не то, что прежний... этот бесшабашный Налетов... Он ведь нынче особа... Где-то в штабе?. То-то постарается мне гадить. Ну, да черт с ним... Чуть что, я и в коммерческий флот уйду... Буду плавать, а на берегу не закисну и на рейдах «дохнуть» не соглашусь... Ах, брат, что за чудное дело эти

дальние плаванья, если командир хороший, да кают-компания попадетя хорошая!.. Сколько поэзии, сколько новых ощущений, сколько закалки характера!

И Скворцов с увлечением стал рассказывать о своем плавании, о штормах, которые «Грозный» выносил «молодцом», об урагане, который они выдержали в Индейском океане и во время которого потеряли фок-мачту, о прелести тропических стран и океана, о матросах которые ожили после ухода Налетова и при другом капитане совсем иными стали...

— И что за славные эти люди, в большинстве, наши матросики, если б ты знал! — прибавил Скворцов. — Умей только быть человечным с ними, и они отплатят тебе сторицей...

Долго еще просидели друзья, не замечая, как идет время. Вспоминали морское училище, первые годы мичманства, перебирали начальство...

— Кстати, где Тырков. — любопытствовал Скворцов. — Вот прелестный человек.

— Говорят, он выходит в отставку.

— В отставку?. Эдакий чудный адмирал!?

Почему?

— Не знаю, брат...

— Обидно... Непременно съезжу к нему за-
свидетельствовать ему свое почтение... А я
думал, что он старший флагман, и вдруг...
прекраснейший моряк оставляет флот...

Неглинный остался обедать на «Грозном»
и просидел до вечера. Скворцов упрашивал
его остаться ночевать, но Неглинный, застен-
чиво краснея, объявил, что ему нельзя, никак
нельзя...

Скворцов догадался, что друг его боится ад-
миральши, и объявил, что в таком случае он
сам проводит его до Петербурга.

Когда, наговорившись досыта, они приеха-
ли в Петербург, Скворцов просил не забывать
его и приезжать в Кронштадт.

Неглинный обещал и вдруг сказал:

— А знаешь, Коля, ведь и я иду нынче ле-
том в дальнее плаванье.

— Ты!? — воскликнул в изумлении Сквор-
цов.

— Да... я, брат, на три года! Спасибо, назна-
чили...

— А преподавание?

— Бросаю, бог с ним.

— И на три года в море? — снова спросил Скворцов.

— То-то на три года! — как-то виновато промолвил Неглинный, и Скворцов при свете фонаря увидал, как его друг кротко улыбнулся своими добрыми глазами. Ну, прощай! — добавил Неглинный и, крепко пожав руку Скворцова, торопливо уселся на извозчика.

Бедняга! Даже и ты, кроткая душа, улелепываешь от адмиральши в море! невольно прошептал Скворцов вслед.

Светлый праздник

I

Целых двое суток Страстной недели нас жестоко-таки трепало в Индейском океане, столь нелюбимом моряками за его частые и коварные сюрпризы. Благодаря предусмотрительности капитана, вовремя приказавшего спустить брам-стенги и поставить штормовые паруса, мы с честью выдержали ураган, благоразумно избегнув его центра, и не получили никаких серьезных повреждений. Только вельбот смыло волной — вот и все.

Наконец, на третий день ураган ослабел, а в пятницу и совсем прекратился. Ветер уже бешено не ревел, словно надрываясь какой-то исполинской грудью, и, подло переходя через все румбы, не крутил, дробя в алмазную пыль, верхушки громадных волн, разбивающихся со страшным гулом одна о другую. Океан не походил на грозного, разъяренного, могучего зверя, готового поглотить одним глотком ничтожную деревянную скорлупку с сотней смелых пловцов. Темные, зловещие тучи исчезли; волна, утомленная, улеглась, баро-

метр быстро поднимался, и солнце, жгучее и ослепительное, снова весело глядело на маленький трехмачтовый клипер с высоты бархатного голубого неба, подернутого, словно белоснежным кружевом, перистыми, нежными облачками.

Еще в ночь на субботу отдали все рифы у марселей, поставили фок, грот и брамсели, и ходкий грациозный «Голубчик», борющийся с ураганом в крутой бейдевинд и почти не двигавшийся с места, понесся теперь с ровным попутным муссоном, точно птица, расправившая крылья, покойно и плавно покачиваясь, узлов по десяти, по одиннадцати в час, поднимаясь к недалекому уж экватору, за которым ждала нас, после долгого и длинного перехода, стоянка в роскошной Батавии. Вахтенный офицер и вахтенные матросы вздохнули свободней и не находятся в нервном напряжении, — вахты перестали быть «каторжными».

Снова были открыты задраенные наглухо люки, и снопы света и волны чистого свежего воздуха ворвались в душный кубрик и в палубу. С раннего утра затопили камбуз, эти дни

бездействовавший по случаю адской качки, и у камбуза в это утро царило необычайное оживление и суматоха. Все три кока (повара) в белых колпаках торопились приготовить к разговенью куличи, яйца и окорока; многие матросы охотно им помогали в этом деле, и около камбуза постоянно толпилась кучка матросов. Снова одетые в летние белые рубахи и босоногие, они то и дело выползали наверх и собирались на баке, у кадки с водой, чтобы покурить и полясничать. И офицеры после подъема флага гуляли по шканцам, любясь погожим утром и улыбаясь проказам общей любимицы Соньки. Куда-то забившаяся во время урагана маленькая обезьянка снова появилась наверху и, веселая и забавная, как сумасшедшая летала по вантам, спускалась вниз и задирала дремавшего у пушки, на солнышке нашего степенного и ленивого косматого водолаза Муньку, дергая его за хвост и тотчас же удирая на ванты, когда Мунька начинал сердито ворчать.

Старший штурман, довольный, что солнце, скрывавшееся три дня, светит теперь, как он выражался, «во всю рожу», уже берет высо-

ты, а старший офицер Василий Иванович, давно уже осмотревший весь клипер вместе с боцманом, попыхивая папироской, благодушно допивает свой третий стакан чая, сидя на диване в кают-компании, принявшей снова свой обычный безукоризненно чистый вид. Одного лишь капитана не видно. Он отсыпается после трех суток, почти беспрерывно проведенных им у штурвала, около рулевых. Во время урагана он лишь на два, на три часа спускался днем, чтобы обсушиться и вздремнуть, и снова, на вид спокойный и серьезный, с осунувшимся лицом и скрытой тревогой в душе, выходил наверх защищать свой любимый «Голубчик» от ярости урагана и спасти вверенных ему людей.

В эту Страстную субботу, среди океана, вдали от родины и более привычной для всех береговой обстановки, большая часть матросов, преимущественно старики, были в каком-то особенном, торжественном настроении, видимо бесконечно довольные, что трепка прекратилась и можно встретить праздник, не штормуя, а похоже, как и на берегу: честь-честью помолиться за светло-христовой заутре-

ней и разговеться после недели поста. В этот день, после обычной утренней уборки клипера, никаких учений и занятий не было, и свободные от вахты могли заниматься своими делами. Матросы ходили к образу, перед которым старый матрос Щербаков (образной) с раннего утра уже затеплил лампаду, молились, кладя земные поклоны, и уходили наверх, вынося свои парусинные чемоданчики. Примостившись на палубе, они осматривали чистые, большею частью собственные, белые рубахи, шейные платки, парусинные башмаки, чинились и прибирались. Сбившись по разным углам кучками, многие слушали евангелие, читаемое нараспев каким-нибудь грамотным матросом. Вообще готовились к великому празднику истово и серьезно. В этот день почти никто не пил перед обедом своей чарки, и некоторые ничего не ели. Разговоры велись более или менее соответствующие настроению, и все воздерживались от привычных крепких слов. Даже старый боцман Щукин, не умевший сказать трех слов, не уснастив их самой отборной руганью, и тот сегодня имел несколько сконфуженный вид и

ругался меньше.

В палубе красили яйца в ситцевых лоскутках старых матросских рубах и складывали их на столе. Матросы красильщики видимо с увлечением занимались этим делом. Около них толпились кучи молодых матросов, и раздавались веселые замечания:

— Ровно бабы на деревне яйца красите!

— И впрямь бабы!

С неменьшим любопытством смотрели матросы, однако в почтительном отдалении, чтоб не рассердить коков, как они вынимали окорока и куличи, которые уносились тотчас же к баталеру. Коки были в профессиональном азарте и, несмотря на Страстную субботу, ругались немилосердно, чувствуя себя героями дня, на которых обращено общее внимание. Положение их было в самом деле трудное. Благодаря урагану, надо было за один день испечь пропасть окороков и куличей для команды. Как тут не выругаться!

Чистивший невдалеке серебряное кадило, благочестивый Щербаков, старый хороший баковый матрос и образной, исполнявший также во время треб и обязанности дьячка,

протяжно вздыхал и с сокрушением качал головой, слыша раздававшуюся в палубе ругань коков.

— Греховодники... Такой день, а они...

— Никак им нельзя, Тимофеич, — заступился за поваров стоявший около вестовой ревизора, бойкий молодой матрос с медной сережкой в ухе.

— Отчего это нельзя?

— Потому в самом полном ходу они у самого этого камбуза... Спешка. Одних куличов сколько... Опять же окорока... А левизор беспрерывно требует, чтобы все было готово. Сами знаете левизора, какой он зубастый... С им, прямо сказать, и день какой — забудешь, потому зубов не пожалеет, отшлифует их форменно. И то сказать: надо же к празднику нам разговеться...

— И пустое однако ты говоришь, Ефимка...

— То-то не пустое, а побудьте вы сегодня примерно заместо этих самых коков...

— Аксюткина послать! — раздался громкий раздраженный голос из открытой двери кают-компания.

— Есть! — крикнул в ответ Ефимка. — Слы-

шали, как зыкнул? — прибавил он, обращаясь к Тимофеичу, словно бы в защиту поваров, и побежал в кают-компанию.

Ревизор, довольно вспльчивый лейтенант, действительно не жалевший матросских зубов в минуты гнева, несмотря на строгое приказание капитана не драться, был сегодня в самом возбужденном настроении. Капитан просил, чтобы для матросов было устроено обильное разговенье, а тут, как нарочно, три дня нельзя было развести огня в камбузе.

И ревизор, желавший в точности исполнить капитанское приказание, к тому же и сам искренно ему сочувствовавший, так как понимал, как приятно матросам справить праздник как следует, целый день суетился, и его сухощавая, маленькая подвижная фигурка то и дело мелькала в палубе, направляясь к камбузу и обратно. Он донимал баталера и коков, спрашивая их: «все ли будет готово», и обещал кокам по доллару на водку, если они постараются, и «разнести вдребезги», если что-нибудь будет скверно. Нечего и говорить, что коки обещали стараться.

В свою очередь и мичман Коврайский, месяца два тому назад выбранный содержателем кают-компании и, как все содержатели, весьма щекотливый к критическим замечаниям относительно обедов и ужинов и вообще очень самолюбивый человек, — намеревался удивить всех роскошью и изобилием кают-компанейского пасхального стола. Разумеется он держал в строгом секрете, чем именно он поразит, так как вся живность, взятая из Порто-Гранде еще полтора месяца тому назад, была давно уже съедена, и мы сидели на солонине и консервах, нетерпеливо ожидая «берега», а с ним и свежего мяса.

Правда, на клипере оставался еще в живых Васька, молодой и весьма жирный боровок, взятый еще поросенком из Кронштадта. Но все содержатели щадили этого любимца команды, выдрессированного одним из матросов, татаринном Апаркой, когда-то бывшим медвежьим поводырем, который очень любил своего ученика и вел дело его воспитания с терпением и обдуманностью, сделавшими бы честь многим педагогам. Этот Васька плавал с нами восемь месяцев и своей смышле-

ностью и разными штуками доставлял на баке матросам большое развлечение, столь ценное при однообразной судовой жизни, вообще бедной удовольствиями. Он носил поноску, становился на задние лапы и шел за подачкой, бежал на зов и каждое утро, когда мыли палубу, терпеливо выносил окачиванье из брандспойта и, наперекор свиной натуре, был очень чистоплотен. Когда свистали всех наверх и шла авральная работа, Васька немедленно убирался в свой маленький домик из старого ящика, устроенный заботливым пестуном и содержавшийся в большом порядке, — и выходил оттуда, лишь когда раздавалась команда: «подвахтенные вниз!» При словах «боцман идет!» Васька, при общем смехе матросов, со всех ног улепетывал под баркас, испуганно хрюкая, а когда спрашивали: «хочешь водки?» вертел куцым хвостиком и весело хрюкал. Одетый иногда в матросскую рубаху, сшитую Апаркой, в матросской шапке на голове, Васька, бывало, давал, под руководством своего воспитателя, целые представления и был вообще *persona grata*[11] на баке, деля лавры с забавной Сонькой. Еще

бы! Сколько неподдельного удовольствия доставлял и сколько вызывал дружного смеха этот смышленный Васька, развлекая матросов от томительной подчас скуки долгих переходов. Да и не одних матросов.

Разумеется, озабоченный устройством пасхального стола мичман даже и мысленно не решался посягнуть на матросского фаворита, и он, проплавав с нами три года, вернулся на «Голубчике» в Кронштадт упитанным и умудренным боровом и, по справедливости, поступил во владение Апарки.

Несмотря на отсутствие животных, которые могли бы быть зарезаны, мичман не унывал и еще накануне таинственно о чем-то совещался с буфетчиком и поваром и с раннего утра метался, как угорелый, с озабоченным и в то же время победоносным видом человека, уверенного в успехе. Он считал себя тонким знатоком и гурманом и, вероятно, потому отчаянно надоедал повару, объясняя ему тайны соусов и приправ, о которых и сам имел довольно смутные понятия. И сегодня он раз десять бегал к камбузу, пробовал окорок, куличи и засматривал в печь, где готовились сюр-

призы, в виде консервованных куропаток.

— Ну, а как, Иванов, насчет пасхи? Выходит что-нибудь, братец? озабоченно спрашивал толстенский и румяный молодой мичман, возымевший дерзкую мысль сочинить пасху из консервованных сливок.

Пожилой рыжий матрос Иванов, давно уже ходивший на судах офицерским «коком» и любивший свою профессию главным образом, кажется, потому, что большую часть спиртных и винных порций, дававшихся ему для приправ, вливал в себя, — с обычным своим невозмутимым апломбом отвечал:

— Выйдет, ваше благородие.

— Ты еще не начинал?

— Никак нет, еще успею... Долго ли!

— Что ж ты положишь в стущенные сливки?

— А всего положу, как докладывал, в порции... Рисовый пюрей, значит, изюм, миндаль, сахар, ваниль для духу, и выйдет вроде быдто настоящая пасха... и не узнать... А убор на ней будет из сухих фрухт.

— Как бы гадости какой не вышло! — беспокойно спрашивал толстенский мичман,

зная хвастовство Иванова.

— Не извольте сомневаться, ваше благородие. Скусная пасха должна выйти. Слава богу, всякие пасхи делал... Отчего ей не выйти? — прибавил Иванов с хладнокровной самоуверенностью.

И, чтобы отвязаться от надоедавшего ему мичмана, Иванов с самым свирепым видом начал двигать кастрюли, стоявшие на плите, а затем заглянул в духовую печь и стал вытаскивать куличи.

Мичман ушел торжествующий, что поразит всех нас пасхой, не предвидя, разумеется, какую невозможную гадость состряпает ни в чем не сомневающийся Иванов. После нескольких стаканов водки, потребованных им для быстреего подъема теста и в значительной степени поднявших дух самого Иванова, он готов был сделать пасху, из чего прикажут, хотя бы из капусты.

II

Вечер был прелестный, ветер не свежел, и потому капитан разрешил в эту ночь стоять на вахте лишь одному отделению, чтобы большее число матросов могло быть у заутре-

ни.

В половине двенадцатого нижняя палуба была полна по-праздничному одетыми и прифранченными матросами. Впереди, у переборки, отделяющей кают-компанию от жилой палубы, была устроена маленькая походная церковь с разборным иконостасом, и у него, перед аналоем, стоял в траурной епитрахили наш батюшка, отец иеромонах Виталий, и сильным баском, слегка распевая, читал страсти господни. Вблизи от него стояли офицеры, имея во главе капитана. Все были в шитых золотом мундирах, в орденах и при саблях. Немного поодаль стояли боцмана, подшкипер, баталер, фельдшер, писаря, словом, вся, так называемая, баковая аристократия, разодетая в пух и прах (особенно «чиновники»), а сзади плотной стеной толпились матросы.

В палубе стояла мертвая тишина и царил полумрак. Несколько свечей паникадила перед большим образом клипера да с десятков развешанных фонарей еле освещали серьезные и напряженные лица матросов, с благоговейным вниманием слушавших евангелие, хотя и не все понимавших в его славянском

тексте. Но если они и не все понимали, то, разумеется, чувствовали величие страданий и смерти того, кто был защитником всех простых, обремененных и трудящихся. А не они ли именно эти самые трудящиеся, простые матросы, постоянно подвергавшиеся опасности?.

Словно понимая, что за таких простых людей страдал Спаситель, они, кротко и умиленно душевно настроенные, безмолвно молились и, чувствуя под собой покачивавшуюся палубу, быть может, в эти минуты поминали в молитвах кровных и близких, оставленных в далеких бедных деревушках, все еще дорогих сердцам матросов, несмотря даже на долгую их морскую службу. И просмоленные шершавые их руки, безуданно делающие трудное матросское дело, складываясь в трехперстие, медленно осеняли их груди широкими, мужицкими крестами.

Батюшка окончил чтение Евангелия и вошел в алтарь. Прошло несколько минут, как из открытого люка прозвучали удары колокола, медленно пробившие восемь склянок, и с последним ударом грянул выстрел из орудия.

Тотчас же палуба осветилась сотней зажженных восковых свеч и фонарями. Отец Виталий появился в светлой блестящей ризе и, в предшествовании хора певчих с фонарями в руках, двинулся обходить клипер в сопровождении капитана, офицеров и всей команды. Наш отличный хор пел: «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех», и с этой песнью все поднялись на палубу.

Ночь была чудная, теплая. Клипер, слегка накренившись, бесшумно шел узлов по семи, и наша процессия медленно двигалась по этому оторванному уголку далекой родины, а ярко мигающие звезды, среди которых Южный Крест лил свой нежный свет, ласково смотрели сверху.

Когда обход был окончен, и батюшка, вернувшись с другой стороны, благословив начало заутрени, запел своим сиплым, слегка дрожащим баском: «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ», хор подхватил, и вслед за ним подхватили и все матросы радостно и торжественно, с внезапно просиявшими, умиленными лицами.

Подхватили и наверху вахтенные, толпив-

шиеся у открытого люка, и эта радостная песнь сотни моряков разнеслась и замерла среди тихо шумевшего океана.

Началось богослужение.

По случаю великого праздника, батюшка служил не так, как обыкновенно, торопясь, словно на почтовых, зная, что морякам некогда, а медленно и благолепно, так что заутреня и обедня затянулись до двух часов, к крайнему нетерпению мичманов и гардемарин, уже чувствовавших аппетит и жажду в виду шампанского, обещанного толстенским мичманом.

Наконец служба окончена, и началось христосование.

Сперва христосовались с батюшкой, а затем подходили к капитану. Все до последнего матроса целовались — и не иудиним, а хорошим поцелуем — с этим благородным и добрым человеком, ни разу не осквернившим своих рук битьем и ни разу не позволившим наказать матроса розгами. Каждый получал от капитана по красному яичку из большой корзины, стоявшей около него. Затем христосовались с офицерами и друг с другом.

А наверху по всей палубе уже были разостланы брезенты для каждой артели, и на каждом брезенте красовались окорок, кулич и крашеные яйца, освещенные фонарями. На шканцах уже стояла ендова с водкой и при ней, конечно, баталер с ассистентами.

Все шумно высыпали наверх и там продолжали христосоваться. Отец Виталий, и сам значительно проголодавшийся и едва ли не чувствующий еще более жажды, на этот раз довольно скоро освятил все яства и пошел освящать пасхальные столы у капитана и в кают-компании, где уже почти все были в сборе. При появлении батюшки кто-то весело крикнул:

— Скорей, батя... Ведь и вам хочется разговеться... Коньяк здесь стоит прелесть... и мадера... и шампанское...

Наверху просвистали к водке. Капитан первый зачерпнул из ендовы чарку и сердечно крикнул:

— С праздником, ребята!

— И вас также, вашескобродие! — гаркнули в ответ матросы.

После раздачи водки началось разговенье.

Кончилось оно, когда звезды погасли и наступил предрассветный сумрак. А на востоке далекий горизонт уже загорался багрянцем, предвещающим близость восхода.

Маленькие моряки

I

— Ты чем думаешь быть, а?

Такой вопрос задал мне тихим, слегка гнусавым голосом высокий, худой, болезненный на вид старик с коротко остриженной седой головой, с темными пронизательными глазами, от взгляда которых веяло холодом, в адмиральском сюртуке с золотыми генерал-адъютантскими аксельбантами через плечо — когда однажды после парадного обеда с музыкой, недели за две до высадки в Крым союзной армии, отец подвел меня, десятилетнего мальчугана, к почетнейшему из своих гостей — главнокомандующему войсками и любимцу императора Николая, князю Меншикову.

Он сидел, прихлебывая кофе, по-видимому, хмурый и скучающий, в числе других гостей, на широком балконе, выходявшем в сад, обширного каменного дома командира порта и военного губернатора оживленного и веселого Севастополя.

С этими словами этот неприветливый и,

как мне казалось, важный и надменный старик, которого все присутствующие как будто боялись, скривил свои губы в подобие улыбки и, к удовольствию матери, потрепал меня по щеке своей сухой, костлявой рукой.

— Инженером, — почему-то вдруг ответил я.

— Инженером? Печи класть, казармы чинить и... и воровать казенные деньги? — промолвил насмешливо князь, взглядывая на меня своими умными холодными глазами. — Не советую, мой милый. Не иди в инженеры! — прибавил, морщась, старик.

Я, совершенно сконфуженный, молчал, решительно не понимая, зачем мне печи класть и воровать казенные деньги. Я знал, что это нехорошо. Отец всегда выражал негодование против тех, кто грабит казну, и я помнил одного безногого генерала, бывавшего у нас в доме, который вдруг куда-то исчез. Говорили, что он был разжалован в солдаты за то, что обкрадывал арестантов.

В эту минуту самым горячим моим желанием было удрать в сад от этого неприятного старика, который наводил на меня страх.

— Вы разве хотите, любезный адмирал, сделать этого молодца Клейнмихелем? спросил князь отца все тем же своим ироническим тоном.

Среди присутствующих раздался сдержанный смех.

— И не думал, ваша светлость, — почти-тельно отвечал отец. — Я отдам его в паже-ский корпус.

— Все же лучше, — опять поморщился князь и заговорил с матерью.

Я исчез с балкона и долго ломал голову: ка-кая это служба «быть Клейнмихелем», над ко-торою все смеялись, и решил не быть «Клейн-михелем».

Мне довелось еще раз увидеть этого на-смешливого старика, которого потом вся Рос-сия бранила за первые наши поражения в Крыму и за ту беспечную неприготовлен-ность, которая обнаружилась во всей своей позорной наготе с первых же дней войны. Встреча эта была в тот самый день, когда отцу принесли с семафорного телеграфа известие, что неприятельский флот в количестве ста вымпелов бросил якорь у Евпатории, и что на

нем десант.

Я живо припоминаю взволнованное, полное изумления лицо отца, когда он читал депешу и затем объявил эту новость матери. Высадке, как кажется, не хотели прежде верить. Я помню, как у нас в доме многие весело говорили, что неприятель не посмеет сунуться. Накануне великой драмы никто, казалось, не провидел севастопольских развалин, и везде с восторгом читали модное тогда патриотическое стихотворение:

*Вот в воинственном азарте
Воевода Пальмерстон
Поражает Русь на карте
Указательным перстом.*

В тот день после обеда я ходил с гувернанткой гулять на Графскую пристань. Мы присели на скамейку, любуясь красивыми кораблями, стоящими на рейде. У пристани кого-то дожидался щегольской катер. Знакомый молодой моряк, подошедший к гувернантке, объяснил, что ждут главнокомандующего, который переедет через бухту на Северную сторону, чтобы оттуда ехать на позиции к войскам.

Действительно, скоро мы увидели у колоннады Графской пристани старого князя. Он о чем-то говорил с каким-то генералом и стал тихо спускаться по ступенькам пристани в сопровождении двух адъютантов и полковника Вунша, который в своем лице соединял и должность начальника штаба, и должность интенданта и потом судился, как кажется, за злоупотребления. Старик был гораздо сумрачнее, чем тогда у нас на балконе. Его бледно-желтое лицо то и дело морщилось, и губы складывались в гримасу, точно он испытывал какую-то боль.

Я не спускал с него глаз, и мне почему-то вдруг стало жаль этого совсем не страшного для меня теперь старика. В моем детском умишке невольно возникало смутное подозрение, что, верно, что-нибудь не совсем ладно, если князь едет встречать неприятеля, которого, как я постоянно слышал, мы закидаем шапками и уничтожим, такой печальный и задумчивый вместо того, чтобы быть веселым и радостным.

Он проходил совсем близко от скамейки, на которой мы сидели. Я встал и поклонился.

Старик на минуту остановился и, ласково усмехнувшись, проговорил:

— Так в инженеры, а?

— Я не пойду в инженеры! — решительно ответил я.

Но князь, казалось, не обратил внимания на мои слова и тихо, совсем тихо сказал:

— Кланяйся отцу и скажи, чтобы он скорее отправлял вас отсюда...

И, потрепав меня по плечу, старик спустился к катеру.

Вернувшись домой, я застал у нас несколько человек гостей. Мне бросилась в глаза необычайная серьезность всех лиц. Разговоры насчет высадки неприятеля уже не отличались прежней самоуверенностью и не сопровождались веселым смехом. Говорили, что у нас мало войск, плохие ружья, и что город беззащитен.

Отец сидел в кабинете, занятый делами, когда я пришел к нему и передал слова князя. Он, видимо, смутился и приказал никому об этом не говорить. В этот же памятный день к отцу заходил адмирал Нахимов. Они о чем-то долго говорили, запершись в кабинете.

Несмотря на предупреждение князя, отец не делал никаких распоряжений о выезде нашем из Севастополя, хотя многие семьи на другой же день стали выезжать. На вопрос матери: «не лучше ли уехать?» отец ответил: «Еще успеете».

Мои уроки с этого дня внезапно прекратились. К нам ежедневно ходил заниматься со мной И. Н. Дебу, петрашевец, отбывавший наказание в качестве солдата. Несмотря на суровое николаевское время, севастопольское начальство относилось к нему замечательно гуманно и снисходительно. Моряки, казалось, не умели быть жестокими преследователями и без того достаточно наказанного человека. Вне службы он ходил в статском платье, был принят во многих домах и давал уроки, между прочим, и мне, губернаторскому сыну. И никто не видел в этом ничего ужасного. Об И. Н. Дебу у меня сохранилась до сих пор благодарная память, как о замечательно добром, мягком учителе, прихода которого я ждал с нетерпением. Он как-то умел заставлять учиться, и уроки его были для меня положительно удовольствием. Довольно было ска-

зять И. Н. Дебу одно лишь слово: «стыдно», чтобы заставить меня горько сокрушаться о неприготовленном уроке и просить его не сердиться. Я не только любил, но был, так сказать, влюблен в своего учителя. И вдруг он не пришел и больше уже не приходил! Мать сказала, что ему нельзя приходить теперь, он — солдат и, верно, ушел с полком. Впоследствии И. Н. Дебу, бывший в числе защитников Севастополя, произведенный в офицеры, вышел после войны в отставку.

Восьмого сентября, в день Альминского сражения, целый день до нас долетал отдаленный гул орудий. Отец был взволнован, хотя и старался скрыть свое волнение перед домашними. Он нервно и торопливо шагал по кабинету. В течение этого дня многие адмиралы приезжали к отцу за известиями. Но он ничего не знал об исходе битвы, и почтенные моряки уходили взволнованные и хмурые, казалось, предчувствующие печальные вести и беспокоящиеся о судьбе любимого Севастополя и славного черноморского флота. Накануне был и В. А. Корнилов — высокий, худощавый адмирал с необыкновенно умным и

выразительным лицом, который через несколько дней, когда Севастополь был оставлен на произвол судьбы, явился организатором защиты и героем, ободрившим маленький гарнизон, состоявший преимущественно из матросов, и вскоре был убит, уверенный, что Севастополь погибнет.

Наконец, в шестом часу вечера известия были получены и, видимо, печальные. Отец куда-то уехал. Мать со слезами говорила, что знакомому адъютанту оторвало руку, и что молодой, только-то приехавший из Петербурга офицер генерального штаба убит... Под вечер, у решетки сада, против балкона, остановился на минуту проезжавший верхом знакомый старый генерал в солдатской шинели, окликнутый матерью. На вопрос ее об исходе сражения, он по-французски отвечал, что мы должны были отступить, что такой-то генерал наделал глупостей, и что у него в нескольких местах прострелена шинель.

Проговорив все это, он раскланялся и поехал далее, понуро опустив голову.

За чаем тихо говорили друг другу, что мы разбиты, что войска в беспорядке бежали, что

Меньшиков не мог остановить бежавших и с поля битвы послал своего адъютанта Грейга курьером к императору Николаю с одним словесным приказанием: доложить государю то, что он, Грейг, видел... Рассказывая об этом, все сожалели, что бедному Грейгу выпала печальная доля огорчить государя. И помню я, многие присутствующие главным образом печалились, что будет огорчен государь. [12]

О том, что погибло много солдат в бою, никто не вспомнил. Один из гостей, молодой артиллерийский офицер, приехавший из Петербурга, позволил себе заметить, что теперь Севастополь беззащитен. Его легко взять, если неприятель будет по пятам преследовать армию. Отец резко сказал, что это «вздор», и этим замечанием прекратил разговор; но мне казалось, что он нарочно оборвал артиллериста, но что и сам разделяет это мнение.

На следующее утро, когда я, по обыкновению, пошел гулять с гувернанткой, мы увидели картину, которая до сих пор жива в моей памяти. На улицах то и дело мы видели солдат, — усталых, измученных, раненых, не знающих куда идти, где их части. Они были без

ружей и шатались небольшими кучками. Многие протягивали руки за подающим. «Со вчерашнего дня не ели, барчук!» Это все были солдаты разбитой армии, особенно много было таких солдат на базаре. Раненые, они лежали на земле, ютились у стен лавок и стонали... Торговки заботливо давали им есть. Целые беспорядочные кучи солдат стояли на площади перед Графской пристанью... На самой пристани валялись без призора раненые. Никому, казалось, не было до них дела, не было им никакой помощи.

К вечеру в Севастополе кипела работа. То и дело мимо нашего дома матросы возили на себе орудия с кораблей на бастионы. Несколько дней прошло в томительном ожидании. Меньшиков с остатками своей разбитой армии не возвращался в Севастополь и делал свое фланговое движение, чтобы не быть отрезанным от сообщений с Россией, предоставив Севастополь самому себе. Корнилов героически решил защищать город. Матросы и выпущенные арестанты работали день и ночь, возводя укрепления. Неприятельскую армию ждали с часу на час. Я отлично помню,

как однажды утром, когда я пришел поздороваться с отцом, он сказал взволнованным голосом:

— В нашем доме сегодня может быть Сент-Арно.

И с этими словами отец, обыкновенно суровый, как-то особенно горячо поцеловал меня.

Но неприятель, не подозревавший, что северная сторона беззащитна, не приходил, и Севастополь был на некоторое время спасен. Войска союзников обходили город, направляясь к южной стороне, чтобы начать правильную осаду. С вышки бельведера в нашем саду я смотрел в подзорную трубу, как двигалась узенькая синяя лента французских войск по Инкерманской долине.

Все ожили. Наконец вернулся и Меншиков с армией.

Когда северная часть была свободна от неприятеля, отец приказал матери собираться к выезду. В конце сентября наша семья покинула Севастополь. Мы переехали в Симферополь и жили там, нетерпеливо ожидая вести о победе и об изгнании неприятеля и на-

десять снова вернуться в Севастополь.

II

Намерение отца сделать из меня сухопутного воина не осуществилось.

Скоропостижная смерть в 1857 году старшего брата, моряка, командовавшего только что построенным паровым клипером, готовым к уходу в кругосветное плавание, изменила мою судьбу. Вместо того, чтобы поступить в пажеский корпус, куда я уже был переведен из первого, где, в ожидании вакансии в пажи, пробыл полтора года, — я поступил в морской корпус. Отец желал, чтоб и я, как дед и как он сам, был моряком, и чтобы фамилия наша не исчезла из списков флота после его смерти. Ему в это время уже было под семьдесят лет.

После двухмесячной подготовки из математики с одним штурманским офицером, рекомендованным корпусным начальством, инспектор классов, А. И. Зеленой, проэкзаменовал меня у себя на квартире и затем велел идти вместе с ним в классы.

Он сразу расположил к себе — этот невысокого роста, плотный, с большими баками че-

ловек лет пятидесяти, немного заикающийся, с скрипучим голосом и мягким, ласковым взглядом маленьких и умных темных глаз, блестящих из-под густых взъерошенных бровей, придававших его лицу обманчивый вид суровости. Мне еще придется в своих воспоминаниях говорить об А. И. Зеленом, любимом и уважаемом несколькими поколениями кадет, а пока только замечу, что меня, несколько оробевшего тринадцатилетнего мальчугана, привыкшего к резкости начальства первого корпуса, необыкновенно приятно тогда поразила ласковая простота инспектора, без всякой примеси казармы и внешнего авторитета грозной власти. Этот авторитет как-то сам собою чувствовался и признавался и без юпитерских взглядов, и без суровых окриков, заставляющих трепетать мальчишек. Александр Ильич был добр и гуманен и не видел в отроках, хотя бы и испорченных, неисправимых преступников, как часто видят даже и современные педагоги. Он понимал детскую натуру и умел прощать, не боясь этим поколебать свой авторитет, и на совести этого доброго честного человека не было ни

одного загубленного существа.

Мы вошли с ним в длинный коридор, по бокам которого были классы. Посередине коридор разделялся большим круглым пространством, освещенным сверху, называвшимся почему-то «пикетом» (вероятно, оттого, что там находился дежурный офицер), где, во время перемен, обыкновенно собирались преподаватели. Проходя «пикет», инспектор заметил маленького кадетика, стоявшего на пикете, очевидно, за какую-нибудь вину.

— Ты за что, Орехов? — спросил инспектор, подходя к маленькому белобрысому мальчику с бойкими глазами, который, при виде инспектора, тотчас же сделал постную физиономию невинной жертвы.

— Меня учитель выгнал из класса, Александр Ильич, — жалобно пискнул белобрысый кадетик, бросая на меня быстрый любопытный взгляд.

Инспектор нахмурил брови и казался сердитым.

— Вижу, что выгнал, а ты скажи-ка мне, братец, за что? — говорил он добродушно-ворчливым тоном, далеко не соответство-

вавшим напущенному им на себя строгому виду.

— Право, ни за что, Александр Ильич.

— Так-таки и ни за что!? А ты припомни: может, и напроказил, а?

— Я нечаянно толкнул товарища, Александр Ильич.

— Нечаянно!? — усмехнулся Александр Ильич, прищуривая глаза на кадетика. Ишь ты, какой неосторожный... Нечаянно! Ну, и тебя наказали нечаянно... Постой здесь, вперед будешь осторожнее... Да нечего-то жалобную рожу строить. Эка беда — постоять! — прибавил с добродушным смехом Александр Ильич и пошел дальше.

Через минуту мы вошли в первое отделение (или, как у нас звали, в первый номер) старшего кадетского класса[13]. При появлении инспектора человек тридцать в куртках с белыми погонами встали и в ответ на приветствие инспектора весело отвечали: «здравствуйте, Александр Ильич!» Поднялся сидевший за кафедрой и «француз», т. е. учитель французского языка, — плотный, высокий старик с эспаньолкой, усами и горбатым но-

сом, — видимо не особенно довольный приходом инспектора. Инспектор приказал садиться и, показалось мне, что-то слишком пристально поглядел на очень красное лицо «француза». Затем он приказал мне сесть на заднюю скамейку, где было посвободнее, потрепал по плечу, выразив надежду, что я буду хорошо вести себя и хорошо учиться, и вышел, оставив меня одного под перекрестными любопытными взглядами незнакомых товарищей.

Едва вышел инспектор, как в классе поднялся шум. Все кричали «новичок, новичок!», не обращая ни малейшего внимания на учителя, то и дело кричавшего: «Silence, messieurs, silence!»[14] Наконец в классе наступила относительная тишина, и урок продолжался. У кафедры стоял высокий, здоровый малый лет семнадцати, «старикашка», как звали остававшихся в классе на второй год и пользовавшихся своей силой кадет, и переводил из хрестоматии с французского. Перевод этот так не соответствовал тексту и полон был такой импровизации, быстро поднявшей температуру веселости класса, что

«француз», хотя и не был силен в русском языке, все же догадался, что стоявший у кафедры верзила издевается над своим учителем самым наглым образом. И он сказал довольно добродушно:

— Вы не знайт!

— Нет, знаю, — уверенно ответил импровизатор.

— На мест.

Но вместо того, чтобы идти на место, верзила с самым невинным видом, исключавшим, казалось, возможность подозревать какую-нибудь каверзу, подошел к несколько испуганному и тотчас же насторожившемуся старику-французу почти вплотную и начал было убедительно объяснять, что он урок знает и переводил хорошо, и что «Ляфоша» будет «свинья», если поставит ему менее восьмерки, как вдруг учитель, потянув носом, с гримасой отвращения бросился с кафедры к форточке и отворил ее, прошептав по-французски ругательство, при общем веселом гоготании класса, в то время, как верзила торжественно возвращался на скамейку.

Спустя минуту-другую француз вернулся

на кафедре и с торжественно-решительным видом произнес:

— Silence, messieurs!

Все затихли.

— Господа... Chers messieurs![15] Кто будет воняйт больше, тому баль меньше, а кто будет воняйт меньше, тому баль больше!.. Vous concevez![16]

Признаюсь, я был донельзя изумлен такой оригинальной оценкой занятий французским языком, но никто из класса, казалось, не удивился, и в ответ на это предложение с разных сторон раздались голоса:

— Ладно, знаем!

— Небойсь, не любишь, французский барабанщик!

— Не сердись, Ляфоша... Больше не подведем. Форточку закрой.

Слегка выпивший учитель, кажется, уж не сердился и вызвал переводить другого, благо-разумно попросив его переводить с своего места.

Потом оказалось, что бедный француз, не выносивший скверного воздуха, почти каждый урок повторял свои условия для получе-

ния хороших баллов, но и эти весьма легкие, казалось бы, условия хороших успехов далеко не всегда исполнялись кадетами, найдявшими какое-то жестокое удовольствие травить этого несчастного француза с тонким обонянием. И он терпел всевозможные дерзости и унижения, не смея жаловаться, чтоб не лишиться своего тяжелого куска хлеба, если бы начальство узнало «систему» его преподавания. А эти отроки-кадеты в своих преследованиях учителей, не умевших поставить себя, были изобретательны, злы и безжалостны, как хищные зверьки.

Надо, впрочем, сказать, что этот «француз» в мое время был едва ли не единственным «педагогом», совсем не заботившимся о наших занятиях и которого так жестоко травили кадеты. Вообще персонал учителей по словесные предметы не пользовался особенным уважением, и все эти предметы были в то время не в большом фаворе, но все-таки учителей строгих, не оставлявших безнаказанными шалости, побаивались. Через год этот «француз» был удален из корпуса после того, как однажды он явился в класс, едва держась

на ногах, и вскоре заснул на кафедре, усыпанный мелко нарезанными кусочками бумаги, с склоненной седой головой, увенчанной десятком торчавших в волосах перьев и грамматикой Марго на темени. В таком виде его застал инспектор классов.

Вскоре потом я встретил этого бедняка зимой на улице, плохо одетого, пьяненького, приниженного... Он отвернул от меня взгляд, полный не то ненависти, не то укора. Хотя я лично никогда не травил его, но во мне он увидал одного из тех «врагов», которые довели его до бедственного положения, и этого было довольно.

Кто был он, как попал в преподаватели — никто из нас хорошо не знал. Говорили, что он был французским барабанщиком (что не лишено было правдоподобия), затем был гувернером у какого-то генерала, который за него просил директора корпуса, и таким образом он попал в учителя по вольному найму и пробыл в корпусе учителем лет пять... Добросердечный А. И. Зеленой, верно, догадывался о слабости преподавателя, но едва ли знал, что с ним проделывали кадеты и как он пре-

подавал. А может быть, кое-что и знал, но не обращал особенного внимания, тем более, что такому предмету, как французский язык, и само начальство того времени не придавало никакого значения, и он, собственно говоря, преподавался для проформы всеми нашими «французами». Таким образом, одна лишь случайность — внезапное появление инспектора в момент сна пьяного учителя — была, надо думать, единственной причиной его удаления.

Пока «француз» слушал перевод более деликатного кадета, мои ближайшие соседи не оставляли меня своим вниманием. Меня тихо спрашивали: как моя фамилия, откуда родом, кто меня экзаменовал и т. п. Я отвечал на вопросы, спрашивая, в свою очередь, фамилии новых товарищей, как вдруг, совершенно неожиданно, получил сзади такую затрецину, что у меня посыпались из глаз искры. Обернувшись, я увидел того самого верзилу, который заставил француза бежать к форточке.

— Это для первого знакомства, — проговорил он с наглой усмешкой, удаляясь на перед-

нюю скамейку.

Учитель ни слова не сказал. Все кадеты с большим любопытством смотрели на меня. Никто не протестовал против нападения. Я вспыхнул от негодования и молчал, полный злости на обидчика, чувствуя очень хорошо, что от дальнейшего моего поведения зависит мое будущее положение среди кадет и отношение ко мне товарищей... И я решил план действий, выжидая конца класса.

Мой сосед, небольшого роста востроглазый мальчик, с участием посмотрел на меня и шепнул:

— Он старикашка и сильный... очень сильный... Он всех задирает и всегда новичков бьет, пока они не объявят своей покорности... Ты что думаешь делать... Покориться ему?

— А вот увидишь, — отвечал я прерывающимся от злобы голосом...

— Неужели сфискалишь? Ты этого лучше не делай... — участливо заметил сосед. — Это нехорошо. И тебе еще хуже будет...

— Я не фискал, — произнес я...

— То-то! — весело проговорил мой сосед, видимо нравственно удовлетворенный.

Прозвонили перемену, и «француз» быстро вышел из класса, поставив всем отвечавшим хорошие баллы. Все шумно поднялись со скамеек, собираясь выходить из класса, а я, испытывая в одно и то же время и отвагу, и трусость, решительно направился к обидчику, стоявшему у доски. Тогда кадеты остались в классе, ожидая любопытного зрелища. В классе наступила торжественная тишина. Это еще более возбуждало мое самолюбие. «Старикашка», конечно, и не думал, чтобы я, небольшой, худенький мальчуган, осмелился напасть на него, признанного всеми силача, и когда я, не говоря ни слова, приблизился к нему и изо всей силы дал ему пощечину, — он, совершенно изумленный, не веря такой дерзости, в первый момент опешил. Эффект вышел поразительный.

— Ай да новичок, молодчага! — раздался чей-то негромкий одобрителный голос.

«Старикашка», высокий, здоровый, румяный кадет с пробивавшимися усами, успел уже оправиться и с презрительным высокомерием оглядывал меня.

— Стань кто-нибудь на часы... Я его про-

учу... Давай «хлестаться»!

И с этими словами он бросился на меня. Я не оставался в долгу, и мы с ожесточением хлестались, окруженные тесным кольцом любопытных зрителей этой драки.

Драка была отчаянная и прекратилась по настоянию присутствующих, которые, вероятно, нашли, что честь с обеих сторон вполне удовлетворена, и хотя я вышел из боя в довольно плачевном виде: с разорванной курткой, с громадным синяком и с болью в груди, тем не менее, на меня глядели не без почтительного уважения...

Эта драка была, так сказать, моим «крещением», определившим будущее положение в кадетской среде и сразу давшим мне права неприкосновенности. С этой минуты никто уж не смел нападать на нового члена суровой кадетской вольницы, зная, что нападение не останется безответным.

Но горе было бы новичку, если бы он на первых порах струсил и не дал бы отпора. Таким робким новичкам (особенно в младших ротах) грозила тяжкая доля быть в полном подчинении у «старикашек», откупаясь от их по-

боев безответной покорностью, а то и булками. Вообще всякая трусость и слабость жестоко карались, и «непротивление злу» приносило плачевные результаты. А вздумай новичок жаловаться — ему предстояла опасность быть избитым самым серьезным образом и приобрести презрительную кличку «фискал», на которого смотрели, как на парию.

«Старикашка», напавший на меня, представлял собою любопытный, уже вымиравший в то время, тип закоренелого «битка» — кадета пятидесятых годов, продукт николаевского времени. Семнадцатилетний здоровый юноша, он уже два года сидел в классе, пробив, кажется, по два года в каждом классе, и, не выдержав на третий год экзамена, вышел из корпуса и поступил в армейские юнкера. Мало способный, довольно ограниченный, он с полным презрением относился к учению и был пропитан самыми крепостническими тенденциями, вынесенными еще из медвежьего угла помещичьей усадьбы. Он был хранителем старых кадетских традиций, старался говорить басом, напускал на себя грубость, по принципу считал своим долгом устраи-

вать всякие каверзы начальству и говорил, что не желает учиться назло ему. И действительно не учился. Но зато был отличным фронтовиком, набивал себе мускулы, закаливал себя и был рыцарски честен и верен в слове. Наказания он выносил стоически и ложился под розги с видом человека, собирающегося купаться. Перекрестится — и на скамейку. Закусит руку — и ни звука, и после наказания смотрит гоголем, точно хочет сказать: «что, взяли?..»

После драки со мной он протянул мне руку и сказал:

— Молодец!

И, заботливо оглядев мои синяки, прибавил:

— Подбели их!

При помощи опытных кадет синяки мои были подбелены мелом, куртка приведена в порядок, вихры приглажены. Когда после классов мы вернулись в роту, меня тотчас же одели в новую форму морского кадета, и затем я явился перед лицо ротного командира.

Это был пожилой штаб-офицер с седыми курчавыми волосами и бегающими несимпа-

тичными глазами, бравый и подтянутый служака николаевской выправки. Далекое не строгий, а скорее даже «добрый» с кадетской точки зрения, он, однако, не пользовался ни любовью, ни уважением кадет. Его считали несправедливым, а главное, отчаянным взяточником.

Многие родители высылали ему из деревень всякую провизию. За взятки он ставил хорошие баллы, смотрел сквозь пальцы на дурное поведение и брал в свою роту унтер-офицеров. Он не гнушался ничем: брал деньгами, вещами и съестными припасами. Такими подачками кадеты откупались от порок и других наказаний.

И чуткая брезгливая молодежь, по преимуществу дети или родственники моряков, которые даже и во времена самого наглого казнокрадства в большинстве гнушались такой наживой, — слагала целые некрасивые легенды про ротного командира. При мне он, впрочем, был недолго. Новые веяния коснулись и корпуса. Этот ротный командир вышел в отставку и, как говорили, едва ли по своему желанию.

Окинув взглядом только что полученную от каптенармуса форму и найдя, что все хорошо, он затем осведомился насчет моих синяков.

— Дрался с кем-нибудь?. Кто тебя так изукрасил, а?

Я поспешил ответить, что упал на лестнице, когда шли из классов, и расшибся. И даже, для большей убедительности, вдался в некоторые фантастические подробности, заслужившие видимое восторженное удивление к моей изобретательности нескольких кадет, стоявших около.

Само собою разумеется, что ротный командир не поверил ни одному моему слову. Тем не менее он не только не допытывался далее насчет действительной причины моих синяков, но видимо отнесся с молчаливым одобрением бывшего моряка-кадета к моей нахальной лжи и только, весело и лукаво подмигнув мне глазом, проговорил:

— Вперед, смотри, так не падай и так не расшибайся!

Нечего и говорить, что товарищи находили, что я врал ротному блистательным мане-

ром.

III

Эта тщедушная фигурка бледного, худого, забитого и приниженного четырнадцати летнего белокурого мальчика с красивым лицом и покорным, почти страдальческим взглядом больших серых глаз, — которого почти каждый из товарищей считал своим долгом так, походя, толкнуть, ударить по лицу или презрительно обозвать каким-нибудь ругательством — невольно восстает передо мной при воспоминаниях о первых днях в корпусе. И этот мальчик, князь N, с которым никто не разговаривал, никто не обращался иначе, как с грубым словом, безмолвно переносил все эти пинки, удары и ругательства и только как-то беспомощно ежился и умоляющим взором просил о пощаде. Но пощады ему не было. Он был «парией», «отверженцем» среди этих веселых, жизнерадостных и жестоких кадет.

Когда я в первый же день поступления увидал, как без всякой, по-видимому, причины бьют этого несчастного и спросил: «за что?», мой сосед по классу, востроглазый ка-

дет Иванов, ответил тоном глубочайшего презрения:

— Наушник!

И этим словом было все сказано и, казалось, все объяснено.

— Ты, смотри, с ним не говори... С ним позор говорить! — заметил Иванов. Его и начальство не терпит... Еще бы... Кто может терпеть Иуду предателя! прибавил Иванов.

Потом я узнал историю этого предательства.

Эта печальная история мальчика, избалованного маменькина сына, вероятно, привыкшего дома видеть примеры наушничества прислуги, — рисует довольно характерно кадетские нравы того времени и отношение не только кадет, но и самого корпусного начальства к тому, что впоследствии многими педагогами поощрялось, как похвальная откровенность, и возводилось в принцип и многим из наших детей не казалось, как нам, старым кадетам, величайшим позором.

Изнеженный и избалованный, маленький князь N из-под крыла матери и из атмосферы угодливости крепостной челяди богатой по-

мещицъей усадьбы прямо попал в несколько спартанскую обстановку рассадника будущих моряков, по преимуществу детей из бедных, захудалых дворянских семей. В этом рассаднике крепко держалось кадетское «обычное право», существовали свой кодекс чести, своя этика, которые традиционно передавались от поколения к поколению в свято хранились кадетами до тех пор, пока не рухнула прежняя система воспитания. Понятно, что для маленького барчонка перемена обстановки была резка. Эти насмешливые, задорные и недоброжелательные на первых порах взгляды целой шайки грубоватых, остриженных под гребенку, маленьких разбойников, которые сразу окрестили новичка кличкой «цынготного», что на кадетском жаргоне значило: слабый, трусливый, нездоровый, — эти равнодушно-серьезные лица дежурных офицеров и эти строгие начальственные окрики фельдфебеля и унтер-офицеров, подчас отчаянных тиранов, — не могли не смутить мальчика, да еще такого тепличного. Первая знатная встрепка — «встрепка испытания», — заданная ему, как новичку, несмотря на доброже-

лательный совет какого-то участливого товарища: «не фискалить», — заставила его искать защиты у начальства. Как прежде дома он жаловался на своих обидчиков матери, уверенный, что получит всегда удовлетворение, так и теперь он думал найти защиту у ротного командира и дежурных офицеров. Это было первым шагом дальнейших бед мальчика. За него, разумеется, заступились, но это заступничество было, так сказать, формальное. Начальство того времени не особенно поощряло жалобы кадет друг на друга, полагая, и, пожалуй, не без некоторого основания, что мальчики сами лучше разберутся в своих ссорах.

Обидчика наказали. Новичок торжествовал, но ненадолго. В тот же вечер двое кадет, на которых выпал жребий проучить фискала, в видах его наставления на путь чести, «под фуркой» (т. е. закрыв лица платками) жесточайшим образом избили новичка, причем вновь преподали ему в кратких словах условия, необходимые для честного кадета... Но новичок в ужасе опять побежал жаловаться дежурному офицеру. Разумеется, виновных

не нашли. На следующий день избитый мальчик пожаловался своему ротному командиру.

Этот ротный командир Z тоже был довольно оригинальный тип. Сам до мозга костей «старый кадет», рыцарь чести и справедливости, он нещадно порол своих питомцев, глубоко убежденный, что порка — отличное и единственное педагогическое средство. Он был грозой кадет, которые отлично знали, что раз попался — пощады нет: Иван Иванович выпорет. И только, чего можно было добиться от него, это некоторого уменьшения количества розог при обещании не очень кричать. И он на это сдавался.

Выслушав жалобу новичка с видимым неудовольствием, Иван Иванович по обыкновению закрутил свои длинные усы и, подрагивая ногой, стоял некоторое время в задумчивости, как быть. Наконец, вызвал пять человек из самых отчаянных и повел их за собой для порки. Он хорошо знал, что требовать выдачи виновных бесполезно, и потому «для примера» решил наказать кого-нибудь.

С тех пор новичок был прозван «фискалом». В общих играх он не принимал участия.

С ним никто не дружил, Только трое кадет, падких до угощения, были близки с маленьким N, приносящим из-«за корпуса» по воскресеньям от тетки очень вкусные яства и лакомства. Но и эта близость видимо была корыстная, прекращавшаяся с понедельника, когда все запасы были истреблены, и возобновлявшаяся с пятницы и субботы. Жизнь нового кадета была не из приятных. Ему необходимо было заслужить прощение товарищей, но, вместо того, этот маменькин сынок, привыкший быть баловнем дома, а теперь обиженный, с уязвленным самолюбием, озлобленный против этих сердитых и злых товарищей, совершил, несколько месяцев спустя, поступок, едва ли понимая все его значение и не предвидя губительных его последствий.

Он узнал, что против одного дежурного офицера, которого звали «Свирепой дылдой», готовится заговор. Решено было ночью, когда «дылда» заснет в дежурной комнате, стащить его кивер и саблю и запрятать их подальше куда-нибудь. Если обстоятельства позволят, вдобавок стащить и сапоги — для большего эффекта. Бог знает какие побуждения заста-

вили N решиться сообщить о заговоре дежурному офицеру. Быть может, желание видеть наказанными своих врагов, быть может, страх самому быть наказанным в числе других, а может, и желание подслужиться, но только он, выждав, когда кадеты легли спать, пришел к дежурному офицеру и сообщил ему о заговоре, назвав имена заговорщиков, вполне уверенный, что никто не узнает об его поступке и что «Свирепая дылда» его поблагодарит.

Но нравы педагогов были в то время иные.

«Свирепая дылда» не только не поблагодарил мальчика за «похвальную откровенность», но с презрением оглянул его с головы до ног и грубо прогнал его вон, заметив, что только подлецы выдают товарищей.

Покушение не удалось в эту ночь. «Свирепая дылда» отдал на хранение кивер и саблю дневальному, а когда сделана была попытка снять сапог, он так заворчал во сне, что кадет обратился в бегство... Все недоумевали странной предусмотрительности офицера в эту ночь, но недоумение скоро разъяснилось. На следующее утро, когда рота стояла во фронте,

готовая идти к чаю, дежурный офицер с негодованием объявил при всей роте о поступке князя N и прибавил, что не придает никакого значения его словам и, конечно, не будет преследовать оговоренных, пока они не попадутся... «А если попадутся, ну, тогда... я вам покажу!»

С этой минуты князь N стал «отверженцем». Ротный командир Иван Иванович, узнавши об этой истории, косо смотрел на N и часто на него покрикивал. Жизнь мальчика стала пыткой.

Прошел год. Уж он давно смирился и покорно, не смея жаловаться, сносил презрительные ругательства, толчки и побои, надеясь безответностью вымолить прощение. Напрасно! Клеймо наушника оставалось на нем, и ему не прощали. Напрасно он пробовал объяснять, что больше фискалить не будет, и молил о пощаде. Ему не верили. Его всегда подозревали.

Всю эту скорбную исповедь своих страданий рассказал мне однажды ночью этот несчастный, бледный, тщедушный мальчик, горько рыдая и прося меня о заступничестве

перед товарищами... Наши кровати были рядом, и он видимо питал ко мне благодарное чувство за то, что я не притеснял его. Он спрашивал, что ему, наконец, делать, как избавиться от этого позорного положения отчужденности. Он уже несколько раз умолял в письмах мать взять его из ненавистного заведения, но отец не соглашался.

Мое ходатайство за него пред товарищами не имело большого успеха. И бог знает, чем бы кончил этот отчаявшийся, всеми презираемый мальчик, если б, наконец, не приехала мать и не взяла своего сына из корпуса.

IV

Накануне шестидесятих годов, когда началась кипучая деятельность обновления, морское ведомство, имея во главе великого князя Константина Николаевича, первое вступило на путь реформ, давая, так сказать, тон другим ведомствам, и «Морской Сборник» был в то время едва ли не единственным журналом, в котором допускалась сколько-нибудь свободная критика существовавших порядков, поднимались вопросы, касавшиеся не одного только флота, и печатались, между

прочим, знаменитые статьи о воспитании Пирогова.

Несмотря на это, морской корпус продолжал еще жить по-старому, сохраняя прежние традиции николаевского времени. Большая часть воспитателей и преподавателей оставалась на своих местах, и патриархальная грубость нравов еще сохранялась.

Тем не менее новые веяния уже чувствовались. Нещадная порка, служившая едва ли не главным элементом воспитания будущих моряков, которые, по выходе в офицеры, в свою очередь, дрессировали матросов поркой и зуботычинами, прекратилась еще при мне в старших ротах, а в младших ротах практиковалась далеко не с прежней расточительностью и не иначе, как с разрешения директора, тогда как прежде телесные наказания составляли неотъемлемое право ротных командиров, пользовавшихся им довольно широко. Самые грубые из корпусных офицеров несколько понизили тон, и даже сам батальонный командир, заведовавший строевым обучением кадет, завзятый фронтовик, quasi-моряк, всю жизнь проведенный на сухом пути,

крикун и ругатель, и тот на ученьях старался сдерживаться.

Это был свежий, крепкий и молодцеватый человек, несмотря на свои пятьдесят лет, с лицом, манерами и окриками заправского дореформенного фельдфебеля, готового перервать горло за скверную стойку. Всегда подтянутый, точно готовый во всякую минуту к смотру, с выпученной колесом грудью, с зачесанными вперед на виски рыжими прядками волос, позвякивавший шпорами, которые он носил в качестве батальонного командира, замиравший от восторга при однообразном и отрывистом щелканий ружей во время проделывания ружейных приемов или при красивом учебном шаге, бесновавшийся и называвший бабой и дрянью всякого кадета, слабого по фронту, и нередко заканчивавший ученье приказанием «перепороть» нескольких кадет, — и он, этот представитель шагистики у моряков и нелюбимый кадетами, случалось, вдруг на половине обрывал свою ругательную импровизацию, как-то отчаянно кричал и безнадежно взмахивал рукой, словно предчувствуя, что песня его близка к концу, и что

вся эта муштра, вовсе и ненужная будущим морякам, отойдет в область воспоминаний, и сам он, ни на что более не нужный, удалится из корпуса на покой, чтобы скорбеть о прошлых временах.

Большую часть своей службы он провел в морском корпусе сперва корпусным офицером, потом ротным командиром и затем батальонным. Кажется, он даже что-то преподавал, этот фронтовик николаевского времени, перепоровший на своем веку несколько поколений кадет с бессердечием и жестокостью грубого и озверелого человека.

Достоин замечания, что подобные «моряки» вырабатывались исключительно в балтийском флоте, вблизи от Петербурга. В черноморском флоте таких не было. Несмотря на суровое время, в Черном море не обращали большого внимания на шагистику и «идеальное» равнение, и даже — о, ужас! — моряки там носили «лиселя», т. е. воротнички, несмотря на то, что тогдашняя форма запрещала такое «свободомыслие»... И сам Нахимов ходил с «лиселями», что, впрочем, не мешало ему быть превосходным адмиралом.

Выход в отставку батальонного командира был встречен общей радостью кадет. Его место занял барон де-Ридель, ротный командир, необыкновенно добрый человек, любимый воспитанниками. Близорукий, не особенно воинственный по осанке толстяк, с изрядным брюшком, он не особенно напирал на шагистику. И она, быть может, при нем и пала несколько, но зато учения уже более не сопровождались фельдфебельскими окриками и ругательствами и не оканчивались наказаниями.

Как я уже упоминал, преподавание общеобразовательных наук и накануне шестидесятих годов стояло на очень низком уровне. Моряки выходили из заведения с весьма небольшим общим развитием и с самым малым знакомством не только с общей историей, но даже и с русской, о литературе и праве выносили и совсем смутные понятия, вернее даже — никаких, так что пополнять громадные пробелы своего образования приходилось, если тому помогали обстоятельства, уже самим молодым офицерам за стенами корпуса. Дальние плаванья, знакомство с порядками чу-

жих стран, разумеется, способствовали этому, расширяя умственный кругозор. Нечего и говорить, что просветительное движение шестидесятих годов много помогло тогдашнему поколению моряков, заставивши их встрепенуться, обратиться к книжке и гуманнее относиться к матросам.

Беззаботность насчет литературы и родного языка была в морском корпусе, поистине, поражающая, и известный анекдот об одном почтенном адмирале, который в начале пятидесятых годов любезно разрешил представившемуся ему Нестору Кукольнику давать представления в городе, приняв писателя за фокусника с куклами, — не представлял собою ничего исключительного. Я в шестидесятих годах знавал моряков, которые не знали Гоголя, Тургенева и Достоевского даже по именам.

Хотя в мое время кадетам и известны были имена Ломоносова, Державина, Крылова, Карамзина и Пушкина, но знакомство с названными писателями было, так сказать, шапочное и ограничиваюсь образцами в весьма умеренных дозах. Наш старый Василий Иванович, учитель русского языка и словесности,

бессменно в течение сорока лет преподававший в морском корпусе и заставивший несколько поколений моряков испытывать величайшие затруднения в орфографии, — после Пушкина, кажется, литературы не признавал, да и вообще был педагог-рутинер, который вел свое дело спустя рукава, отбывая лишь повинность для заработка. К Гоголю он относился неодобрительно, называл его карикатуристом и предостерегал в старших классах от чтения «Мертвых душ», утверждая, что оно только развращает молодого читателя и не дает пищи ни для ума, ни для сердца.

«Чтение должно возвышать и просветлять, а не низводить нас до низменных явлений жизни! — говорил обыкновенно учитель, когда кто-нибудь задавал вопрос о Гоголе. — Вот, например, какое чтение возвышает». — И начинал декламировать оду «Бог».

А когда однажды кто-то в нашем классе осведомился: хороши ли стихотворения Некрасова (тогда только что вышел томик его стихотворений), то на старчески румяном, морщинистом лице Василия Ивановича выразилось глубочайшее презрение, тонкие его

губы вытянулись в пренебрежительную улыбку, и он со своей обычной усмешечкой заметил:

— Некрасов?. Я что-то читал господина Некрасова. Читать не рекомендую-с. Пошлость дурного тона и неблагонамеренное направление. Они называют свои писания натуральной школой... Вот такая это школа...

И старик с иронической миной декламировал:

*Возле леса речка,
Через речку мост.
На мосту овечка,
У овечки хвост!*

— Нравится? — продолжал Василий Иванович. — В этаким роде и пишут новейшие поэты и прозаики. Это — образец натуральной школы... Разве тут есть поэзия?. Какое кому дело, что на мосту овечка, и кому неизвестно, что у овечки хвост, а?.

В классе раздался веселый гогот тридцати юных «саврасов», скорее, казалось, одобрявший, чем порицавший это четверостишие. Но Василий Иванович принимал этот гогот, как невольную дань его остроумию, и с важным

видом победителя смотрел на класс, оправляя свои седенькие височки, и затем, в виде сентенции, обыкновенно прибавлял:

— Читать надо, господа, с большим разбором и только то, что разрешают наставники и родители... Лучше поменьше читать, чем читать вредные книги!

И при этом Василий Иванович бросал значительный взгляд на своего сына, который обыкновенно под этим взглядом в страхе опускал глаза.

После подобного назидания, с прибавлением подчас кратких предик о повиновении, Василий Иванович продолжал читать своим тихим, слащавым, слегка скрипучим, старческим голосом какой-нибудь отрывок из Карамзина, причем, в местах чувствительных или патриотически возвышенных его маленькие серые, зоркие глазки, далеко не отличавшиеся добродушием, слегка увлажнились слезой, которую он утирал грязным, испачканным нюхательным табаком, шелковым платком. А не то Василий Иванович объяснял или, вернее, повторял по учебнику, слово в слово, определение хорея или ямба.

Обыкновенно во время этих уроков в классе царила удручающая скука. Никто, исключая сына Василия Ивановича да двух-трех учеников «из первых», не слушал ни чтения, ни объяснений старика. На задних скамейках дремали или готовили уроки из других предметов, а так называемые «битки» (последние по классу ученики), сидевшие на передних скамейках, немилосердно зевали, бессмысленно выпялив глаза на учителя, и радостно оживлялись, когда он прерывал на время свои объяснения, чтоб зарядить обе ноздри своего небольшого носа табаком.

— Пе-р-в-а-я, п-л-и! — шептал про себя ожившийся «биток» после того, как нос был заряжен, и если тотчас же после команды Василий Иванович чихал, «биток» был очень доволен.

По-видимому, и сам Василий Иванович весьма равнодушно относился к успехам своих учеников и не был особенно требователен к устным ответам и к сочинениям, заботясь, главным образом, лишь о том, чтобы в классе у него была благоговейная тишина, и ему самому оказывали почтительное уважение и

никогда не возражали.

Подобным образом действий самые плохие ученики покупали себе удовлетворительные отметки.

И у Василия Ивановича в классе действительно вели себя смиренно, да и к тому же побаивались этого медоточивого, благообразного и доброго на вид старичка. Все знали, что он далеко не добрый, что он злопамятен, очень ревнив в охранении собственного достоинства и к тому же никакой шалости не простит. В случае какой-нибудь кадетской «штуки», и особенно если Василию Ивановичу кто-нибудь ответит дерзко или насмешливо, — он ничего не скажет, только пристально взглянет на виноватого, плотнее сожмет свои тонкие губы и покачает своей седенькой острокопечной головой с видом сожаления. А затем, когда кончится урок, он побежит к инспектору и наговорит ему с три короба, и непременно раздует историю. И если бы не доброта и не такт А. И. Зеленого, который умел понимать кадетские шалости, жалобы этого медоточивого старика вызывали бы более суровые наказания, чем добродушно-ворчливые выго-

воры добряка-инспектора и в крайнем случае наказание не ходить в субботу «за корпус», т. е. в отпуск.

Нечего и прибавлять, что кадеты, чувствуя лицемерие Василия Ивановича, не доверяли его обманчивому доброжелательству, о котором он любил распространяться, и не терпели учителя. Вдобавок, ни для кого не было секретом, как этот благообразный и с виду добренький старичок был жесток с своим сыном. Он его зверски колотил и беспощадно сек у себя дома из-за всякого малейшего проступка. И бедный мальчик трепетал от одного взгляда своего отца и грустный уходил по субботам в отчий дом. Эта жестокость принесла свои плоды: мальчик вырос образцовым тихоней, скромным, прилежным, вечно зубрившим уроки благонравным кадетом, никогда не шалившим, но в то же время скрытным и озлобленным.

V

Этот высокий и худой старик Иван Захарович, фигурой и лицом напоминавший цаплю, длинноногий, с близорукими, рассеянными глазами и длинным красным носом, рисуется

В моей памяти не иначе, как сидящим с высоко поднятой головой на кафедре и с некоторым торжественным пафосом восхваляющим Солона и Ликурга или Готфрида Бульонского. На средних веках, и то не окончивши их, мы, сколько помнится, расстались с учителем истории и более уже ее не слышали в морском корпусе, сохранив и о Солоне, и о Ликурге добрую память, нераздельную с памятью об Иване Захаровиче. Достаточно вспомнить мудрого Солона, чтобы вспомнить немедленно и этого доброго человека, несмотря на то, что он не особенно заботился о наших исторических знаниях и не особенно сердился, когда мы безбожно путали хронологию. Этого добряка Ивана Захаровича кадеты нисколько не боялись и потому во время его уроков занимались всем, чем угодно, но только не историей, довольствуясь приготовлением заданного по учебнику. Только несколько любителей слушали восторженные отзывы Ивана Захаровича о мудром законодателе, к которому учитель, по-видимому, питал особое пристрастие, так как возвращался к нему не раз... Римскую историю Иван Захарович, ка-

жется, меньше любил, и, вероятно, поэтому предоставлял нам знакомиться с ней самим и, слушая наши ответы, одобрительно покачивал головой, хотя подчас ученик и немилосердно перевирал факты. Как кажется, Иван Захарович, за старостью лет, и сам забывал факты, не имея перед глазами книги — да простит ему бог! Несмотря на возможность делать в классе все, что угодно, кадеты «берегли» Ивана Захаровича, то есть вели себя настолько прилично и тихо, насколько было необходимо, чтоб не накликать прихода начальства.

Иван Захарович был общительный человек и, случалось, вместо того, чтобы вызывать и спрашивать, он «лясничал» о предметах, вовсе не относящихся к древней истории, и тогда его слушали с большим интересом и все оживлялись, узнавая, как он провел лето в деревне и каких вылавливал окуней в озере. Он был завятой рыболов и о ловле окуней рассказывал с увлечением, едва ли не большим, чем о Готфриде Бульонском, который, надо думать, порядочно-таки надоел и ему самому.

Если во время таких разговоров неожиданно появлялся в классе инспектор, Иван Захарович, подмигивая лукаво глазом классу, как ни в чем не бывало, начинал:

— Итак, господа, мы только что узнали, какой мудрый законодатель был Солон... Теперь посмотрим...

Класс был в восторге от находчивости старика и, разумеется, никогда не выдавал его, и инспектор уходил, не подозревая, что Иван Захарович большую часть урока посвятил беседе о ловле окуней.

Иногда Ивана Захаровича, несмотря на самые дружеские к нему отношения, травили. Обыкновенно травля состояла в том, что какой-нибудь кадет с самым невинным видом обращался к Ивану Захаровичу:

— Иван Захарович! Позвольте вас спросить об одной вещи...

— Спрашивай, братец, спрашивай, — добродушно отвечал Иван Захарович, не подозревавший никакой каверзы.

— Отчего это у вас, Иван Захарыч, нос такой красный?

— А тебе какое дело до моего носа? Какое

тебе дело? — с сердцем замечал Иван Захарович. — Видно, хочешь из класса вон, а?

— Я так, Иван Захарыч, право, так, больше из любознательности. Я слышал, что красные носы бывают у тех, кто пьет одну воду. Правда это, Иван Захарыч?

— Дурак ты, и злой дурак — вот что правда! Ступай вон из класса!

— За что же, Иван Захарыч?

— За то, что ты свинтус и говоришь дерзости...

— И не думал, Иван Захарыч... Разве красный нос...

— Вон! — кричал окончательно осердившийся старик и, выпрямившись во весь свой рост, трагическим жестом руки указывал на двери.

— Иван Захарыч, милый, голубчик, простите, — начинал искусственно жалобным тоном молить кадет.

— Не стоишь... Ступай вон!

— Я, право, не хотел оскорбить вас, Иван Захарыч, ей-богу не хотел... Мы все так вас любим...

— Любим, любим! — подхватывал весь

класс. — Простите Егорова!

— Иван Захарыч! Позвольте остаться в классе... позвольте... Ведь меня не пустят за корпус, а у меня мать больна... Каково ей будет!

— Мать больна... И ты не врешь?

— Право, не вру, — не моргнувши глазом, врал школяр.

Добряк Иван Захарович, быстро отходивший, как все вспыльчивые люди, успокаивался, обыкновенно прощал и при этом говорил:

— Красные носы бывают у пьяниц... Ты это хотел знать?

При такой постановке вопроса повеселевший было кадет смущенно молчал.

— А у меня, братец, красный нос от природы, коли тебя смущает мой нос. И я не пьяница, и тебе не советую быть пьяницей... Но все же лучше быть пьяницей, чем злым человеком... Ну, садись на место и не будь никогда злюкой... А что захочешь спросить — спрашивай прямо, без хитростей... Бери пример с мудрого Солона.

— Добрый, славный вы, Иван Захарыч! — кричал класс. — А мы Егорова вздуем!

— Не надо, не дуйте! — заступался Иван Захарыч.

И, снова сделавшись добродушным, Иван Захарыч продолжал урок.

Иногда по неделям он не являлся — «болел», тщательно скрывая от кадет свою болезнь. После уж мы узнали, что этот старик, одинокий как перст, запивал.

VI

Ярким и блестящим метеором промелькнул перед нами, оставив по себе одно из самых светлых воспоминаний, учитель русского языка и словесности Дозе. К сожалению, он преподавал очень короткое время и так же неожиданно исчез, как и появился однажды у нас в классе вместо старого Василия Ивановича.

Словно вешняя душистая струя свежего воздуха ворвалась в класс, и чем-то новым, хорошим, возбуждающим пахнуло на огрубевших кадет, благодаря этому учителю, приглашенному начальством, вероятно, для оживления учительского персонала. С первого же своего появления он поразил нас. Ничто, решительно ничто не напоминало в этом невы-

соком, красивом молодом brunete, с большими, мягкими и вдумчивыми черными глазами и необыкновенно интеллигентным лицом, тех одеревенелых и грубых поденщиков-учителей, которых мы привыкли видеть. И его несколько застенчивые манеры, изящная вежливость и серьезность отношения к кадетам, и самый его штатский черный сюртук вместо засаленного форменного сюртука корпусных преподавателей — все это производило впечатление чего-то невиданного, диковинного и обаятельного...

На первом же уроке его хотели «испытать». И когда молодой учитель обратился к классу с вопросом, что мы проходили и что мы читали, один из «битков» нарочно стал громко разговаривать с соседом, а другой свистнул.

Дозе на минуту смолк и с мягкой улыбкой обратился к шумевшим:

— Надеюсь, господа, вы недолго будете нам мешать и позволите мне продолжать? Я ведь, кажется, буду преподавать юношам, а не маленьким детям, которых надо останавливать? Не правда ли?

Эти вежливые слова, эта милая улыбка, вместо обычных учительских окриков и высылков из класса, заставили опешить шумевших кадет, и они тотчас же смолкли. И на весь класс эта маленькая речь оказала сильное действие. Все точно выросли в своих собственных глазах, и всем было словно стыдно перед этим «штафиркой». В самом деле, не маленькие же они дети!

В первый же урок учитель познакомил нас с Гоголем, прочитавши «Шинель». Читал он мастерски, и большая часть класса замерла в восторженном внимании, слушая произведение великого писателя. И каким смешным показался Василий Иванович, отзывавшийся неодобрительно о Гоголе! Только три человека из самых «отчаянных», совсем отупевших кадет, оставались равнодушными. После чтения, молодой учитель кое-что рассказал о Гоголе и назвал «Ревизора» и «Мертвые души», отзываясь о них восторженно. В следующий урок он обещал объяснить нам значение прочитанной повести.

Уроки Дозе стали для нас какими-то праздниками. Благодаря ему, кадеты впервые услы-

хали горячее, живое слово об униженных и оскорбленных, о возвышающем значении литературы, об ее задачах и идеалах, и о громадной важности подготавливавшегося освобождения крестьян, на которое многие из нас смотрели, как на обиду помещикам. Он читал нам Пушкина, Лермонтова, Гоголя, познакомил с «Записками охотника» Тургенева и с «Бедными людьми» Достоевского. И все это объяснял, комментировал... В следующем году он имел намерение прочитать нам хотя краткий курс истории литературы и, удивляясь нашему невежеству по части русского языка, видимо желал приохотить нас к его изучению. Ученические сочинения, детски наивные и большею частью безграмотные, он поправлял с любовным самоотвержением и объяснял, как важно уметь излагать на бумаге свои мысли... Одним словом, этот человек пробудил юношей, заставив работать дремавший мозг, заронил добрые зерна и старался развить литературный вкус, приохочивая к хорошему чтению.

Прошло несколько месяцев, уж близки были экзамены, как в одно весеннее утро вместо

нашего милого, любимого Дозе в класс пришел опять Василий Иванович и занял место на кафедре, предварительно зарядив, по обыкновению, обе свои ноздри табаком.

Вероятно, на наших лицах слишком ярко отразилось неприятное изумление при его появлении. И хотя на лице Василия Ивановича и блуждала его обычная сладенькая улыбочка, но он видимо был раздражен нашим безмолвным изумлением, хотя и старался скрыть это.

— Вот, я опять со своими старыми друзьями, — заговорил он. — Я очень рад, а вы, господа, как будто не особенно довольны, что возвратился ваш старый учитель, а?

Класс угрюмо и напряженно молчал.

Кто-то осведомился о молодом учителе, и с разных сторон спрашивали:

— Он разве заболел?

— Он разве не придет?

— Не придет... Он больше не будет преподавать! — ответил Василий Иванович, и недобрая, злорадная усмешка перекосила его губы.

— Он ушел из корпуса?.

— Да-с, ушел...

— Отчего он ушел? — раздались голоса.

— Этого я вам объяснять не стану, — как-то загадочно усмехаясь, промолвил Василий Иванович. — Могу только сказать, что этот господин, который вам так понравился, больше не будет читать разных Некрасовых, Тургеневых и Достоевских и набивать ваши головы вредными бреднями... Довольно-с!

В этом тихом, скрипучем старческом голосе звучала злобная нотка.

— По-вашему ведь и Гоголь не великий писатель, а карикатурист, и тоже вредный? — с нескрываемой насмешкой обратился к старику один из неопитов яростный поклонник Гоголя и преданный ученик Дозе.

— По-моему, Васильев, ты должен молчать, если тебя не спрашивают! Вот что по-моему! — со злостью проскрипел старик и имел неосторожность прибавить, это господин Дозе тебя так просветил?

Фамильярно-грубое «ты», обращенное к пятнадцатилетнему юноше, ученику младшего гардемаринского класса, после изысканно-вежливого обращения Дозе, показалось

слишком оскорбительным, а злобные намеки на Дозе — гнусной клеветой. И юноша вдруг стал белее рубашки и крикнул старику:

— Прошу не говорить мне «ты»... Слышите?

Василий Иванович побагровел, но не сказал ни слова. Он только плотнее сжал свои тонкие губы и, кинув злобный взгляд на протестанта, развернул историю Карамзина.

— Ведь вот, хорошие учителя уходят, а такие остаются! — проговорил кто-то вполголоса, однако довольно громко для того, чтоб Василий Иванович мог слышать.

Весь класс с любопытством смотрел на Василия Ивановича, но он как будто ничего не слышал и начал читать. Только голос его слегка дрогнул, и по лицу пробежала судорога.

— Отец все слышал! — чуть слышно пролепетал его сын.

После класса Василий Иванович пошел к инспектору. Об этом тотчас же узнали и с нетерпением ожидали, чем разыграется вся эта история. Но никакой «истории», благодаря А. И. Зеленому, не вышло. Он только призывал к себе на квартиру Васильева и просил

рассказать, как было дело. О кадете, дурно отозвавшемся о преподавателях, Василий Иванович, как оказалось, не считал нужным докладывать инспектору, тем более, что и не мог указать виновного. Васильев рассказал, как было дело, и не получил выговора. Только отпуская его, Александр Ильич заметил:

— Вы бы могли сдержаннее ответить... А то: кричать на учителя... Нехорошо-с! Вот он вам теперь единицы будет ставить! — усмехнулся Александр Ильич и прибавил, — уж вы не раздражайте старика... смотрите... А я его, с своей стороны, попрошу, чтобы он... того, не говорил вам, господа, «ты»...

Кажется, этот инцидент послужил поводом к общему распоряжению обращаться к воспитанникам старших классов с местоимением «вы». По крайней мере, с этого времени Василий Иванович не говорил уже больше никому «ты» и вообще стал гораздо любезнее, и даже начинал заискивать популярности и уже не называл Гоголя карикатуристом... Старик как будто чувствовал близость конца своего педагогического поприща и, жадный до уроков, готов был идти на компромиссы.

И это лицемерие возбуждало в кадетах еще большее отвращение. Его уж даже и не боялись и начинали третировать...

Отстали от прежней привычки говорить на «ты» и остальные учителя и ротные командиры, и даже сам директор корпуса, престарелый и болезненный адмирал, и тот продолжал говорить «ты» только маленьким кадетам неранжированной роты. Между кадетами ходил слух, будто о более вежливом обращении с кадетами и о крайне осторожном употреблении телесных наказаний директо-ру было приказано высшим начальством.

Исчезновение любимого учителя, разумеется, интриговало нас всех. Неужели его выгнали за то, что он нам читал Гоголя и Тургенева? Подобное предположение падало само собой уже потому, что приглашенный вслед за уходом Дозе профессор М. И. Сухомлинов, преподававший в старшем классе, тоже пользовался большим уважением и любовью своих учеников и не отрицал Гоголя.

Только впоследствии мы узнали, что наш любимец-учитель, бывший членом какого-то кружка, принужден был уехать из Петербурга

на далекий Север.

VII

Преподаватели многочисленных предметов, относящихся к морскому делу, были по преимуществу ротные командиры и корпусные офицеры. По совести, нельзя сказать, чтобы и преподавание специальных предметов стояло на надлежащей высоте, и чтобы большинство господ наставников отличалось большим педагогическим умением и любовью к своему делу. Они были почти «несменяемы» и все почти из одной и той же маленькой «привилегированной» среды корпусных офицеров. Занятые и воспитанием, и обучением в одно и то же время, они обыкновенно дальше книжек, заученных в молодых годах, не шли и преподавали до старости с ремесленной аккуратностью и рутинной, без всякого «духа живого». Учительский персонал редко обновлялся. Нужна была чья-нибудь смерть или какое-нибудь перемещение, чтобы открылась вакансия, и свежие молодые силы могли получить доступ в этот храм, где все места были заняты своими авгурами. Известные профессора того времени Остроградский,

Савич, Буняковский, Сомов читали только в офицерских классах. Их и вообще более или менее известных преподавателей-специалистов со стороны не приглашали в морской корпус, довольствуясь для кадет, так сказать, доморощенными преподавателями из корпусных офицеров, которые таким образом получали дополнительный заработок к своему жалованью и были гораздо обеспеченнее настоящих, плававших моряков. Сами же они были моряками только по названию да по мундиру. Морской дух, благодаря которому были Лазаревы, Нахимовы и Корниловы, приобретался на корабле, а не в корпусе. Корпус, напротив, ничего не давал в этом смысле.

Такой постановкой учебного дела, — постановкой давно заведенной рутины, винить за которую нельзя было инспектора классов А. И. Зеленого, — и объяснялся тот факт, что окончившие курс многочисленных наук в морском корпусе его питомцы до того основательно позабывали науки, что, сделавшись потом капитанами и умея отлично управлять судном, в то же время бывали в руках своих штурманов и механиков, и без первых мно-

гие не сумели бы астрономически определить своего места и сделать вычислений, а без вторых знать и понимать машину своего судна. В старые времена редкий командир решился бы выйти из порта в море без штурмана, и если, бывало, штурман перед уходом загуливал на берегу, то посылали его разыскивать, и только когда штурмана доставляли на судно и вытрезвляли, — капитан выходил в море.

Не обновился учительский персонал и не улучшилось преподавание и после того, как А. И. Зеленой оставил место инспектора классов по случаю назначения директором штурманского училища в Кронштадте. Это было на третий год моего пребывания в корпусе, и я помню, какое общее и непритворное сожаление вызвал в кадетах уход этого доброго и гуманного человека. Вероятно, какие-нибудь иерархические соображения помешали назначить его директором морского корпуса после смерти старика-адмирала В. К. Давыдова, справедливого и доброго человека, кое-что сделавшего для корпуса и желавшего, быть может, сделать более того, что сделал, но бо-

лезненного, престарелого и не имевшего достаточной энергии, чтобы основательно вычистить эти воистину Авгиевы конюшни. На этом месте такой образованный и умный человек, как А. И. Зеленой, при новых веяниях в морском ведомстве, вероятно, многое бы изменил в порядках морского корпуса и добился бы значительного поднятия учебной части. Но вместо В. К. Давыдова назначен был его помощник, контр-адмирал С. С. Нахимов, брат известного героя, почти всю свою жизнь проведший в стенах корпуса на неответственных и незначительных должностях, человек очень мягкий и добрый, но, кажется, и сам никогда не мечтавший о таком важном poste, требующем больших и особенных способностей, не говоря уже о знаниях.

С. С. Нахимов пробыл, впрочем, недолго, и в год нашего выпуска директором корпуса был назначен Воин Андреевич Римский-Корсаков, составивший, кажется, записку о преобразовании этого заведения.

Это был человек не из корпусных заматрелых «крыс», а настоящий, много плававший моряк, превосходный капитан и потом

адмирал, образованный, с широкими взглядами, человек необычайно правдивый и проникнутый истинно морским духом и не зараженный плесенью предрассудков и рутины присяжных корпусных педагогов. Он горячо и круто принялся за «очистку» корпуса обновил персонал учителей и корпусных офицеров, призвал свежие силы, отменил всякие телесные наказания и вообще наказания, унижающие человеческую натуру, внес здоровый, живой дух в дело воспитания и не побоялся дать кадетам известные права на самостоятельность, завел кадетские артели с выборными артельщиками, которые дежурили на кухне, одним словом, не побоялся развивать в будущих офицерах самодеятельность и дух инициативы, то есть именно те качества, развития которых и требовала морская служба. Сам безупречный рыцарь чести и долга, гнушавшийся компромиссов, не боявшийся, «страха ради иудейска», защищать свои взгляды, такой же неустрашимый на «скользком» сухом пути, каким неустрашимым был в море, он неизменно учил кадет не бояться правды, не криводушничать, не заискивать в

начальстве, служить делу, а не лицам, и не поступаться убеждениями, хотя бы из-за них пришлось терпеть. При нем ни маменькины сынки, ни адмиральские дети не могли рассчитывать на протекцию. При нем, разумеется, не могло быть того, что, говорят, стало обычным явлением впоследствии: покровительства богатым и знатным, обращения особенного внимания на манеры, поощрения «похвальной откровенности» и ханжества. При нем, конечно, не устраивались балы на счет воспитанников старшего курса, которые, хочешь не хочешь, а по «совету» начальства должны вносить рублей по 40, по 50 с человека на такие балы. Что сказали бы наши отцы, прежние старики-адмиралы, если бы мы, тогдашние кадеты, вдруг объявили им, что необходимы такие деньги для устройства балов? Они бы только ахнули и, понятно, не дали бы ни копейки и, пожалуй, немедленно доложили бы кому следует о подобном «развороте». Впрочем, ничего подобного в те времена и не было. Обычные ежегодные балы морского корпуса были веселы, хотя и скромны, а об устройстве каких-нибудь особенных

балов на счет кадет — не могло даже и придти в голову ни одному из прежних директоров, да и ни одному из прежних кадет.

Но возвращаюсь к Римскому-Корсакову. При этом директоре справедливость была во всем и всегда, оказывая благотворное влияние на кадет. Он был строг при всем этом, но кадеты его обожали, и бывшие в его время в корпусе с особенным чувством вспоминают о Воине Андреевиче. Всегда доступный, он не изображал из себя «бонзы», как изображали многие директора, и кадеты всегда могли придти к нему с объяснениями и со всякими заявлениями. Высокий, сухощавый, несколько суровый с виду, он серьезно и внимательно выслушивал кадета и сообщал свое решение ясно, точно и коротко.

При В. А. Римском-Корсакове морской корпус, как кажется, переживал самое лучшее время своего существования после николаевского времени. Преобразовательное движение шестидесятых годов нашло в этом доблестном моряке лучшего выразителя и лучшего воспитателя будущих моряков. Но, к сожалению, плодотворная деятельность В. А.

Римского-Корсакова была недолга. Еще далеко не все задуманное им было совершено, и «очистка» корпуса далеко еще не была окончена, как смерть сразила этого человека, а вместе с человеком, — как это часто у нас бывает, — и те принципы, которые он проводил в деле воспитания.

Место его было занято одним из старых корпусных педагогов, совсем не разделявшим взглядов покойного директора.

VIII

Новый инспектор, назначенный вместо А. И. Зеленого, бывший ротный командир и преподаватель, давно служивший в корпусе, человек очень умный и подчас остроумный, не обладал той сердечной теплотой, которая так располагала кадет к А. И. Зеленому, и не умел, подобно своему предместнику, обращаться с кадетами. Его только боялись и не без основания чувствовали в нем себялюбивого холодного эгоиста и большого лицемера.

Он пользовался большим влиянием при таком благодушном директоре, каким был С. С. Нахимов, и не мог, разумеется, не знать, что готовится в близком будущем преобразо-

вание морского корпуса, и не видеть неудовлетворительности учебного персонала, — этих корпусных авгуров, едва ли имевших и время, и охоту, чтоб освежать и пополнять свои знания.

Но и при нем все оставалось по-старому: тот же «ремесленник-учитель», та же рутина.

Он был слишком осторожный человек, — недаром кадеты звали его «дипломатом», — чтобы начинать ломку за свой страх, хотя бы при данных обстоятельствах она и была возможна. Да и сам он был, так сказать, вполне корпусный «педагогический фрукт», заматерелый в рутине, и не желал заносить руку на своих сослуживцев-сотрудников, а ко всему этому, быть может, и не сочувствовал новым веяниям. Как бы то ни было, но преподавание при нем далеко не улучшилось, и новые силы, получившие доступ по случаю перемены инспектора, были далеко не из блестящих, и в выборе их, как кажется, более руководствовались соображениями, имеющими очень отдаленное отношение к педагогическим способностям.

По крайней мере, такой важный для буду-

щих моряков предмет, как астрономия, был поручен одному из очень небожких корпусных офицеров, едва ли обладавшему необходимыми для преподавателя сведениями, что, разумеется, не могло оставаться долго тайной для кадет. Скоро было замечено, что нового «астронома» нередко ставили в большое затруднение вопросы, предлагавшиеся способными и сообразительными учениками. Вначале несколько сконфуженный преподаватель обещал ответить на них в «следующий раз», т. е. когда сам справится с учебником, но частенько забывал свои обещания.

И новому «астроному», человеку, впрочем, весьма порядочному и доброму, вдобавок к прозвищу, «колбаса» пристегнули еще прилагательное; «астрономическая», и разъяснений уже не просили.

Немало было таких ремесленников, и в числе их был сам «дипломат».

Но среди этих ремесленников-педагогов было два-три человека, горячо любившие и знавшие свое дело, и к числу этих «приятных исключений» принадлежал И. П. Алымов, выдающийся, талантливый преподаватель и

необыкновенно светлая личность, память о которой, вероятно, чтится всеми бывшими его учениками.

Надо было видеть этого маленького, худощавого человека с большой головой и детски кротким взглядом рассеянных мечтательных глаз, когда, бывало, он читал свой предмет — теоретическую механику! С какой любовью и с каким мастерством он читал, увлекаясь за уроками, весь поглощенный желанием, чтобы все его понимали и чтобы все знали его предмет. И это увлечение невольно передавалось и слушателям. Кротко незлобивого, добросовестного и правдивого, его все любили, а известно, что нередко любовь к учителю заставляет любить и преподаваемый им предмет. И у него почти весь класс занимался хорошо. Сделавши какую-нибудь выкладку или изложив какой-нибудь закон, он обязательно требовал, чтобы непонявший заявил, если чего не понял, и с каким страстным усердием он разъяснял непонятое, и только тогда продолжал урок, когда убеждался, что все поняли. Он был многосторонне образованный математик и много работал, отдавая большую

часть времени любимой им науке. Рассеянный, он нередко в классе, вместо платка, вытирал лицо губкой, а доску, вместо губки, платком, и детски удивленно щурил глаза, когда в классе раздавался смех, и наконец сам хохотал, как ребенок, убеждаясь в своей рассеянности.

Это был совсем не от мира сего человек и доброты редкой. Кадеты обращались к нему со всевозможными просьбами и нередко занимали у него даже деньги. Во время своих дежурств, как корпусного офицера, он обыкновенно читал или занимался какими-нибудь вычислениями. А то ходил, не обращая ни на что внимания, по зале и сам с собой словно разговаривал, повторяя математические термины. Это он думал вслух. А случилось, что термины вдруг заменялись каким-нибудь духовным гимном, который он напевал. Но эти странности не удивляли кадет. Все знали, что И. П. Алымов очень религиозный человек и ведет, как говорили, самую аскетическую жизнь. Но он никогда не говорил об этом, и его религиозное чувство, доходившее иногда до экзальтации, когда он

по нескольким неделям постился и вообще умерщвлял свою плоть, — нисколько не сделало его суровым и не мешало ему относиться к кадетам с самой трогательной терпимостью. И кадеты положительно боготворили его и во время его дежурств берегли своего любимца, не позволяя себе каких-нибудь особенных шалостей.

Зато надоедали ему бесконечно, не стесняясь отрывать его от занятий... То кто-нибудь попросит его объяснить задачу по астрономии или помочь из физики, то подойдет к нему просто затем, чтоб «полясничать».

И кроткий добряк, со своим бледным лицом, напоминавшим лицо мучеников, никого не прогонял, ни на кого не сердился. Он охотно объяснял задачу и «лясничал» с кадетами, причем всегда как-то сводил разговор на рассказ о любимом им Лавуазье и на любимую им теорию «наименьшего сопротивления воды», которой он тогда занимался.

Говорил он всегда с какою-то увлекательной восторженностью и всегда далекий от пошлых житейских дразг, которые, казалось, ему были совсем и чужды. Ни о карьере, ни о

чинах, ни о прочих благах жизни никогда не заводил он речи, а любил поговорить о деятелях науки и об их самоотвержении. Вспоминая теперь этого чудного человека, освободившего, как я слышал, своих крестьян еще до освобождения, можно только удивляться, каким образом сохранил свою свежесть этот человек среди окружающей его среды. Разумеется, его спасла наука, в которой он искал и нашел спасенье. Не испортили его даже и эти маленькие разбойники-кадеты, которые нередко добрых доводили до раздражения и под конец делали этих добрых обыкновенными «корпусными крысами».

Нечего и прибавлять, разумеется, что совсем ребенок в жизни, не понимавший, что значит интрига и пролазничество, И. П. Алымов не умел приспособляться к среде и не особенно преуспевал. Карьера этого талантливо-го математика и благороднейшего человека была не из особенно блестящих и жизнь неустанным, плохо вознаграждаемым трудом, пока болезнь не свела его в могилу далеко еще не в старых годах.

Он умер инспектором классов в штурман-

ском училище в Кронштадте и, тяжело больной, почти умирающий, собирал к себе на квартиру учеников и читал им лекции в постели еще за неделю до смерти.

IX

— А ты, свет, коли что смекаешь, смекай про себя. Если тебе кажется, что на песце нельзя возвести строения, не смущай тех, которые сие считают вполне возможным. Пусть их!

Так, бывало, говорил своим тихим и мягким, слегка певучим голосом наш корпусный батюшка, шутливо грозя своим высохшим костлявым пальцем. При этом его умное старческое лицо, изрытое морщинами, светилось выразительной, тонкой улыбкой, которая, казалось, досказывала не вполне высказанную мысль...

Таким языком говорил он с немногими, которых отличал и иногда звал к себе на квартиру, где угащивал чаем с вареньем и вел оживленные, полные ума и юмора беседы, покуривая хорошие гаванские сигары.

Этот батюшка пользовался большим авторитетом, и его побаивалось корпусное на-

чальство, так как в случае какой-нибудь вопиющей несправедливости он являлся заступником и предстателем обиженных кадет. И когда случался какой-либо чрезвычайный казус с кадетом, он всегда шел искать последней защиты у батюшки, который-таки часто вызволял от наказания. Особенно боялся его преподаватель физики, совсем лысый капитан I ранга, очень умный и хороший преподаватель, но развращенный циник, ставивший хорошие баллы кадетам не столько по степени их знания, сколько за смазливость их физиономий. Этого эстетика особенно недолюбливал батюшка, как и «физик», в свою очередь, терпеть не мог «старого иезуита», как честил он за глаза батюшку за то, что тот любил и почитать светские книги, и пофилософствовать, и выкурить хорошую сигару, а между тем вид, как выражался физик, имел «самый постный».

Преподавал батюшка терпимо и не был особенно требователен.

— Не в попы тебе, свет, идти, а в морские офицеры, — снисходительно говорил он, замечая нетвердость в текстах. — Будешь в мо-

ре, господа бога и без текста вспомнишь и помолишься. А не помолишься, тебе же хуже, ибо тяжко, свет мой, жить совсем без веры... Да хранит тебя господь от такого несчастья!

И батюшка самым последним ученикам не ставил менее восьми баллов.

Словоохотливый старик любил иногда в классе рассказать что-нибудь из своего, богатого воспоминаниями, прошлого и обыкновенно начинал свой рассказ словами: «Это было, друзья мои, не так давно, лет тридцати тому назад», вызывая улыбку на лицах юных слушателей. Говорил батюшка красноречиво и не без юмора, и мы, бывало, с удовольствием слушали его рассказы, иногда даже во втором и третьем издании. С восторженным умилением говорил он об освобождении крестьян и нередко советовал нам, будущим офицерам, «не ожесточаться в служебном гневе» и всегда помнить, что сила в правде и любви, которую и подневольный матрос чувствует. И, случалось, рассказывал по этому поводу какую-нибудь историю.

Я пользовался расположением батюшки и изредка получал от него приглашения зайти

к нему.

Обратил он на меня свое внимание по следующему случаю:

Однажды во время его урока в среднем гардемаринском классе я читал, держа книгу на парте, — «Современник», принесенный мною в корпус от одних знакомых. Должно быть, я очень увлекся чтением, потому что не заметил, как в классе наступила тишина. Толчок в бок товарища заставил меня поднять голову и увидеть возле себя батюшку.

— Что это, свет мой, ты такое читаешь? Видно, очень интересно, что своего батюшку не слушаешь? Я подал батюшке книгу.

— А!.. «Современник»! — не без изумления проговорил он, пристально взглядывая на меня. — Критическая статья? А я думал, ты каким-нибудь романом зачитываешься и только воображение нудишь...

Батюшка стал машинально перелистывать книгу и заметил там исписанный листок моих виршей, в которых я с усердием обличал корпусное начальство.

Он пробежал их и, возвращая книгу и стихи, промолвил с улыбкой:

— Статья, конечно, поучительная. Отчего не почитать, но только лучше бы, свет мой, не в классе, а то другой наставник, пожалуй, и взыщет... А стишки ты бы подальше припрятал, — береженого и бог бережет! Неровен час, попадут стишки в другие, более цепкие руки, что тогда?. Стихотворца не похвалят за острословие. А перо есть, есть, братец. Тем паче не похвалят! — усмехнувшись, заметил батюшка.

И, понизив голос, прибавил:

— А ты будь спокоен. Я тебя не выдам! Я ничего не читал!

После класса батюшка остановил меня в коридоре и спросил:

— Любишь чай с вареньем?

— Люблю, батюшка.

— Так ты, стихотворец, зайди ужо вечером ко мне. Чайку напьемся и побеседуем.

Батюшка занимал казенную квартиру в здании корпуса, недалеко от церкви. Эту квартиру хорошо знали проштрафившиеся кадеты, искавшие у батюшки защиты или ходатайства, и среди кадет ходило много рассказов о том, как он избавлял, бывало, многих

от нещадной порки или же просил об уменьшении числа розог.

Он был вдовец и жил с двумя взрослыми сыновьями. Никто из них не был священнослужителем, как отец. Старший, окончивший университет, служил чиновником, а младший — моряк — кончал офицерские классы.

Я застал батюшку одного в небольшом кабинете, уставленном шкапами с книгами, за письменным столом.

Он был в подряснике и скуфейке, прикрывавшей его большую лысину, и читал, с очками на глазах, какую-то книгу. Как теперь помню, меня поразило и обилие книг, и то, что они были все светского содержания, и многие на иностранных языках, и гравюры, и портреты, среди которых не видно было ни одного портрета духовного лица. И вообще вся обстановка, мало напоминавшая о сани хозяина, меня удивила тогда.

Я несколько минут простоял на пороге, оглядывая и комнату, и письменный стол, на котором, между прочим, стояло большое серебряное распятие, и цветы на окнах, и самого батюшку, который здесь, в своем кабинете,

как будто казался не таким, каким бывал на уроках, в широкой рясе с наперсным крестом на груди.

Наконец, я догадался кашлянуть. Батюшка повернул ко мне свое старое, дышавшее умом, лицо и радушно и ласково приветствовал меня.

Когда я, приблизившись к батюшке, хотел поцеловать его желтую, сухощавую руку, он отдернул ее и, потрепав меня по плечу, весело проговорил:

— Ну, садись, садись... Рад тебя видеть. Детей дома нет, и я один... Сейчас будем чай пить. Вот, видишь ли, и я почитываю книжки, да только не в классе, — улыбнулся ласково старик, отодвигая какую-то французскую книгу. — А стишки припрятал?

— Припрятал, батюшка.

— То-то, оно и лучше. Да и совсем бы их держать в корпусе не следовало... лучше домой снеси. Чего, свет, гусей дразнить. Скоро ведь в офицеры выйдешь... А метко, братец, метко... Любишь, значит, бумагу марать?

— Люблю, батюшка.

— Что ж, марай, марай, бог даст, что-ни-

будь и выйдет... кто знает? Вот, посмотри, тоже бумагу марали. Великие писатели были... Вот это — Шекспир... Вот Гёте, — перечислял батюшка, указывая на портреты. — Может, слышал?

— Кое-что и читал, батюшка, — поспешил я похвастать.

— И это, свет, Спиноза. Большой философ был... И его когда-нибудь прочтешь... Читать, братец, полезно... Умнее станешь, как с умными-то людьми беседуешь в книге... И скуки не будешь знать. И в море не одуреешь. Вас-то здесь к чтению не приохочивают, а ты, видно, охоч, даже у батюшки в классе читаешь... Ну, ну, ведь я шучу... А ежели ты уж такой любитель, я тебе книгами одолжать буду, если ты аккуратен... Вот, на первый раз «Мертвые души» тебе дам... Великая это книга, друг мой...

Скоро мы пошли пить чай. Батюшка мне наложил целую тарелочку варенья и вообще был внимателен и добр без конца. После чаю он закурил сигарку, и мы вернулись в кабинет.

Нечего и говорить, что я вернулся от батюшки очарованный, с «Мертвыми душами»

в руках и с твердым намерением прочитать как можно более книг.

С той поры батюшка иногда звал меня к себе, угощал чаем и с снисходительным терпением слушал мои рассуждения о прочитанных книгах.

Х

Кадетская жизнь в морском корпусе проходила однообразно, с обычными внешними порядками закрытых учебных заведений. Время было точно распределено. За этим внешним порядком, главным образом, и следили. До внутренней нашей жизни, до того, как мы проводим свободное время, разумеется, никому не было ни малейшего дела, и едва ли корпусные педагоги действительно знали кого-нибудь из своих питомцев. В психологические тонкости тогда не входили, да, может быть, и к лучшему, принимая во внимание эту обоюдоострую психологию педагогов новейшего времени.

Кадеты вставали в 6 часов утра. Унтер-офицеры в ротях позволяли себе проспать лишние полчаса. Это же делал и старший курс, т. е. старшие гардемарины, пользовавшиеся,

по традиции, некоторыми особенными правами и, между прочим, правом притеснять своих младших товарищей: средних и младших гардемарин. На нашем курсе отразилось, впрочем, влияние шестидесятых годов, и мы, старшие гардемарины, в значительном большинстве, добровольно отказались от прав гегемонии, и таким образом притеснения значительно смягчились.

Большинство кадет нанимали дневальных, которые чистили платье, сапоги и наводили блеск на медные пуговицы курток и мундиров и содержали в порядке амуницию. Меньшинство все это делало само. К семи часам, после шумного мытья в большой «умывалке», все были готовы и шли фронтом в громадный зал морского корпуса. После обычной молитвы, пропетой хором пятисот человек, садились за столы и выпивали по кружке чая и съедали по свежей булке.

Эти вкусные, горячие булки являлись иногда большим соблазном для унтер-офицеров, особенно в младших ротах. Желание съесть вместо своей, одной законной, еще и другую, а то и третью булку влияло на чувство спра-

ведливости обжор и влекло за собой поистине варварское наказание: «остаться без булки» и выпить чай пустой. Этого наказания кадеты боялись пуще всего и ненавидели унтер-офицеров, выискивающих предлоги, чтобы съесть чужую булку.

В восемь часов мы были в классах, где оставались до одиннадцати, после двух полуторачасовых уроков. В начале двенадцатого, ощущая уже аппетит, возвращались в роту и там получали по два тонких ломтя черного хлеба, чтобы заморить червяка перед обедом. Счастливицы, имевшие деньги или пользовавшиеся кредитом в мелочной лавочке, обыкновенно в это время уписывали за обе щеки булку или пеклеванник с сыром, колбасой или вареньем, заблаговременно заказанный дневальному. За пять копеек (три копейки пеклеванник, а на две начинка) получался весьма удовлетворительный для невзыскательного кадетского желудка завтрак, и шершавая колбаса и подозрительный сыр из мелочной лавочки не возбуждали никаких брезгливых сомнений. В понедельник и вообще послепраздничные дни завтраки были

и обильнее, и роскошнее, и кадеты «кантовали» на широкую ногу, уничтожая принесенные из дома яства и делясь с друзьями, ибо, по кадетским правилам, с другом обязательно следовало делиться всем поровну.

Время до часу обыкновенно проходило в обязательных занятиях фронтовым ученьем, гимнастикой или танцами, или в пригонке разных вещей. Если ожидали какого-нибудь почетного посетителя — суета шла отчаянная, и все принимало, разумеется, блестящий вид. Мы облекались в новые куртки, одеяла стлались новые, на парадной лестнице появлялся новый ковер, ротный командир озабоченно бегал по роте, оглядывая, все ли чисто, все ли в порядке, и щи в такие дни бывали жирней, «говядина» как будто сочнее, и эконом, жирный и полный корпусный офицер с маленькими заплывшими глазками, как будто озабоченнее и напряженнее. Случалось, что подобное ожидание длилось по нескольку дней, держа нервы начальства в напряженном состоянии, а его самого в подначальном трепете. Кадеты, разумеется, видали все эти сцены ожидания и приема, привыкали

считать их необходимым явлением и сами потом, сделавшись начальством, пускали пыль в глаза и так же трепетали... Уроки не пропадали даром.

Эта показная суматоха, к сожалению, обычная в учебных заведениях и которая так развращающе действует на детей, приучая их к лицемерию и обману, была, как я слышал, уничтожена в морском корпусе при директоре В. А. Корсакове. При нем, кого бы ни ожидали, ничего не менялось, и почетные посетители могли видеть учебное заведение в его обычном, будничном виде и кадет — в их старых куртках, а не в виде прилизанных, приодетых благонаправленных мальчиков, обожаемых попечительным начальством и обожающих своих наставников. Но это «новшество» умного адмирала не привилось, как не привились и другие его благотворные педагогические идеи. С его смертью, снова, в ожидании приезда морского министра, появлялись новые ковры, новые куртки, словом, показная комедия, и чуть ли не устраивались целые балетные представления.

Обедали мы в час. Обед состоял из трех

блюдо по раз составленному расписанию: супа, щей с кашей или гороха, жареной говядины или котлет и слоеных пирогов с мясом, капустой и вареньем. По праздникам прибавлялось четвертое блюдо. Черный хлеб и превосходный квас, который мы пили из двух серебряных старинных стоп, стоявших на каждом столе для двадцати человек, были a discretion. [17]

Не принимая даже в соображение кулинарной неприхотливости кадет и их постоянного аппетита, надо сказать, что кормили нас в морском корпусе вообще недурно (а при Римском-Корсакове, говорят, и отлично), и при мне, сколько помнится, из-за пищи не было ни одного серьезного недоразумения. Так называемые беспорядки или, как в старину называли, «бунты» происходили в корпусах единственно по этому поводу, и опытные экономы отлично знали меру долготерпения кадетских утиных желудков. При мне ходила легенда об одном из таких «бунтов» в морском корпусе, начавшемся из-за отвратительной каши и кончившемся не особенно приятно для эконома, на голову которого была вы-

лита миска щей, и еще неприятнее для многих кадет, нещадно выпоротых, и для двух, «записанных», как тогда выражались, в матросы.

Эти легенды о «бунтах», традиционно передававшиеся из поколения в поколение, держали, так сказать, на известной высоте гражданские требования кадет от эконома и, в свою очередь, не забывались и экономами, как внушительные уроки прошлого.

Небольшие недоразумения — в виде окурка в пироге или чересчур большого обилия жил в котлетке — разрешались обыкновенно тихо и мирно, к обоюдному удовольствию. Эконом приказывал подать новые пироги или новые котлетки на стол протестантов, и тем дело кончалось. Вообще эконом наш был очень любезный, обязательный на соглашения человек, что, впрочем, не избавляло его — уже по своему званию эконома, кадетами не очень уважавшемуся — от предания «анафеме» во время ежегодного традиционного празднования старшим курсом дня «равноденствия», когда голый Нептун, в сопровождении наяд и тритонов, прочитывает па-

раграф из астрономии и затем предаёт анафеме по очереди все начальство, за исключением некоторых избранных. Впрочем, об этом характерном праздновании равноденствия в морском корпусе будет рассказано подробно впереди.

До трех часов после обеда время было свободное, и можно было располагать им по усмотрению. Прилежные готовили уроки или делали задачи, немногие читали; большинство бродило по коридорам, по ротной зале и собирались курить в ватерклозете, предварительно поставив часового. Близкие приятели и друзья ходили попарно и «лясничали», хотя самое обычное время для этого был вечер. В эти же часы обыкновенно приходили навещать родственники, и кадеты навещали своих больных приятелей в лазарете. Собственно говоря, настоящих больных было мало, и большинство находящихся в лазарете «огурялось». На жаргоне кадет «огурнуться» значила избавиться от уроков, почему-либо неприятных и обещающих единицу, из-за которой можно в субботу не попасть «за корпус», то есть домой.

Маленькие кадеты перед тем, чтоб «огурнуться», обыкновенно усердно натирали себе глаза, набивали ударом локтя по столу пульс, отчаянно мотали головой и являлись на прием с самыми постными рожами. Врачи большей частью их принимали в лазарет в качестве больных, а старший доктор, старик-немец, при осмотре добросовестно осматривал язык и щупал пульс.

Но случалось — особенно, если в лазарете было довольно больных, — что огурнуться нельзя было, несмотря на все ухищрения. Особенно один врач из молодых любил устраивать кадетам каверзы. Бывало, придет кадетик как будто больной, проделав все манипуляции, и, видя ласковое на вид лицо доктора, преисполненный надежды, что его примут, с особенно жалобным видом начнет распространяться, как у него голова болит.

— А еще что? — спрашивает, по-видимому, вполне сочувствуя, доктор.

— Ломит всего...

— А правый бок болит? — продолжает с тою же серьезностью каверзный человек.

— Болит.

— И левый глаз покалывает?

— Покалывает.

— И правая нога как будто болит?

— Болит, — добросовестно поддакивает не подозревающий подвоха кадетик.

— Так ступайте вон! Вы все врете! — вдруг меняет тон доктор, и опешивший «больной» уныло возвращается в класс.

Воспитанники старших классов прямо-таки просились отдохнуть, и, если места были, их принимали в лазарет на день, на другой, и на досках у их кроватей писалось обычное «febris catharalis»[18].

После вечерних классов, продолжавшихся от трех до шести, кадеты должны были готовить до ужина уроки и сидеть в ротном зале у своих конторок. Занимайся или нет, но сиди! Это принудительное сиденье, разумеется, не по нутру было кадетам, и они то и дело перебежали один к другому, или уходили в умывалку поболтать или покурить в своем излюбленном месте — в этом кадетском клубе, где всегда топился камин и всегда шли оживленные беседы. Если дежурный офицер был из «любимых», не ловил в курении, не приди-

рался, то и ему было покойно, но если на дежурстве был «злой» — положение его было далеко не из приятных. Кадеты выдумывали самые разнообразные штуки, чтобы только насолить «корпусной крысе». Среди тишины вдруг раздавалось мяуканье или собачий лай, и только что бросится «крыса» в одну сторону, как на противоположной стороне раздается петушиный крик, и офицер мечется, как ошпаренный кот, пока не догадается уйти в дежурную комнату, поставив наугад несколько человек «под часы». Но тогда начинались пререкания. Наказанные утверждают, что они не успеют приготовить уроков и принуждены будут объяснить инспектору причину. А то вдруг к дежурному офицеру, заведомо не знающему никаких наук, начинают являться с просьбами разъяснить задачу или объяснить из аналитики. Являются кадеты один за другим и все говорят с самым невинным видом:

— Адольф Карлыч, покажите... Адольф Карлыч, не можете ли объяснить?

Адольф Карлович, старая корпусная крыса из остзейских немцев, долговязый, сухопа-

рый и жесткий человек, озлобленный против кадет, действительно отравлявших ему жизнь, как, в свою очередь, отравлял и он кадетам, обыкновенно сперва выдерживал хладнокровно первые нападения. Сохраняя свой обычный, несколько величественный вид, он говорил со своим немецким акцентом, что не его дело показывать, что он не желает показывать и не будет показывать, ибо порядочные ученики сами должны понимать все без помощи, а дураков все равно не научишь. Но, видя насмешливые лица, которые недоверчиво улыбались, и замечая, что вместо ушедших кадет являлись новые и все с теми же просьбами: «показать» и «объяснить», долговязый Адольф Карлович, наконец, терял самообладание. Весь красный, трясясь от злобы, он бешено кричал: «в карцер, в карцер!» и, вцепившись в руку кадета, на котором изливался его гнев, сам тащил его в карцер — маленький, темный закуток, позади цейхгауза.

А во время этого спектакля сзади раздавались голоса:

— Ревельский болван!

— Неуч! Ничего не смыслит!

— А туда же: «Не хочу объяснять»!

И дьявольский гогот сопровождал эти любезные замечания.

Подобные «истории» бывали почти постоянно во время дежурства «ревельского болвана», который действительно был величественно ограничен и, главное, зол. И он, в свою очередь, мстил кадетам и, считая их своими врагами, с особенным удовольствием излавливал их, ставил под часы, сажал в карцер, жаловался ротному командиру и злорадствовал, когда кадета наказывали.

Но он давно служил в корпусе, и его держали, пока не назначен был директором корпуса Римский-Корсаков и не произвел чистки. Да и многих держали подобных же наставников, место которых было где угодно, но только не около живых маленьких людей.

В гардемаринской роте, где были большей частью юноши и молодые люди, уже брившие усы, отношения между дежурными офицерами и гардемаринами являлись, так сказать, в виде вооруженного нейтралитета. Обе стороны соблюдали свое достоинство и не

особенно придирались друг к другу. Офицеры делали вид, что не замечают курящих гардемарин, снисходительно относились к опаздываниям из отпуска и даже иногда к чересчур веселому виду возвратившегося гардемарина, а гардемарин, с своей стороны, не устраивали офицерам скандалов и делали их жизнь на дежурствах более или менее спокойной.

В восемь часов ужинали (суп и макароны или какая-нибудь каша) и в десять часов ложились спать. Это время после ужина и до отхода ко сну было самым любимым временем для разговоров и интимных бесед будущих моряков.

Нельзя сказать, чтоб эти беседы отличались отвлеченным характером и имели в виду решение каких-нибудь общих вопросов, волновавших в то время общество. Как я уже упоминал, развитие кадет того времени было довольно слабое, чтение было не в особенном фаворе, да и домашняя среда, в которой вращались кадеты по праздникам, едва ли могла дать богатый материал для этого. Среда эта, по большей части, были моряки николаевско-

го времени, суровые деспоты, смотревшие на свои квартиры, как на корабли, а на домочадцев, как на подчиненных, обязанных трепетать. И, разумеется, все эти реформы, вводимые тогда в морском ведомстве, все эти слухи об уничтожении телесных наказаний не могли вызывать сочувствия у старых моряков, привыкших к линьку и розге. Очень малочисленный кружок, который читал и интересовался кое-чем, не пользовался никаким авторитетом, а на двух из нас, писавших стихи, смотрели с снисходительным сожалением, как на людей, занимающихся совсем пустым делом. И только стихотворения, обличавшие начальство, имели еще некоторый успех.

Но тем не менее разговоры и споры, которые велись, имели, в большинстве случаев, предметом: молодечество, удадь, самоотвержение. Многие закаливали себя: ходили по ночам на Голодай и на Смоленское поле. В разговорах молодых людей того времени не слышно было той доминирующей нотки, которая слышится у теперешних морских юнцов. Правда, спорили и очень часто спорили о том, следует ли повесить двух-трех матросов,

если взбунтуется команда, или следует их просто-напросто отодрать, как Сидоровых коз; спорили: прилично ли настоящему моряку влюбиться, или нет, рассуждали об открытии Северного полюса, но никто не говорил о карьере, о выгодных местах, никто не смотрел на плавание, как на возможность получить лишнюю копейку, и никто не смел даже и заикнуться о достижении успехов по протекции. Многие, конечно, все это потом и проделывали, но тогда, на заре своей жизни, все-таки имели возвышенные идеалы, хотя и ограниченные в тесной служебной рамке...

И хотя бы за это одно можно помянуть добром дух прежнего морского корпуса.

Пока в роте, сидя на своих кроватях, гарде-марины лясничали, несколько смельчаков были в «бегах» из корпуса.

Побеги эти обыкновенно совершались во время ужина. Оставшись в роте, доставали пальто, на пуговицы надевали чехольчики, на белые погоны нашивали черный коленкор, или просто их выворачивали, на голову нахлобучивали припасенную штатскую шапку и, давши дневальному двугривенный, ай-

да из дверей и, разумеется, не на главный подъезд, а во двор, а там по дворам в одни из многочисленных ворот на улицу и — на свободе...

Я сам два или три раза «бегал» таким образом из корпуса к знакомым студентам и, признаюсь, всегда испытывал какое-то радостное и вместе с тем жуткое чувство, когда, пробираясь к воротам, на каждом шагу рисковал опасностью неожиданной встречи с кем-нибудь из корпусного начальства. То же чувство не оставляло, пока, бывало, не минуешь морского корпуса и не очутишься наконец на Николаевском мосту. Однажды, уже успокоившись, я встретился лицом к лицу с директором корпуса. Он, казалось мне, пристально взглянул на меня, но прошел мимо, далекий, вероятно, от мысли, что мог встретить перодедотого кадета.

Возвращение было относительно безопаснее. Осторожность требовала возвращаться поздно, часу в первом и, пробравшись в роту, спрятать чехольчики и шапку и идти спать...

Эти «побеги» так и прошли незамеченными, да хранит бог бдительность начальства

морского корпуса! А сколько они доставили наслаждения!

XI

Экзамены окончены. Мы — старшие гарде-
маринны и через год покинем корпус, а пока
собираемся в летнее плавание на одном из
кораблей. Я в числе других товарищей попал
в этом году на 84-х-пушечный корабль
«Орел», которым командовал заслуженный
севастопольский герой и хороший моряк Ф. В.
Керн.

Эти недолгие плавания должны были при-
учать будущих моряков к морской жизни, и
каждое лето кадеты расписывались по судам
флота после того, как прежняя кадетская эс-
кадра была упразднена.

В плавание назначались только три стар-
шие класса, примерно сто восемьдесят чело-
век, считая по тридцати воспитанников в
каждом из двух отделений класса. Остальные
воспитанники, не разъехавшиеся по домам,
переезжали на лето в «Баракы», дачу морско-
го корпуса, верстах в шести-семи от Ораниен-
баума, по Нарвской дороге.

Таким образом, кадеты до младшего гарде-

маринского класса, случилось, и не видали ни моря, ни военного корабля и познакомились с вооружением судна и с парусами по бригу, стоявшему в громадной зале морского корпуса. Парусные учения на этом бриге, производившиеся под наблюдением корпусных офицеров, моряков лишь по мундиру, были, разумеется, одной забавой, не имеющей ничего общего с учением в море. В течение шестилетнего или семилетнего пребывания в корпусе будущие моряки находились в плавании — да и то в Финском заливе всего месяцев шесть-семь — время, конечно, весьма недостаточное для подготовки мальчика к тяжелому морскому ремеслу, требующему и особого призвания, и известной закалки, и наконец физической выносливости. При такой системе берегового воспитания моряков, да еще педагогами, никогда не плававшими, неудивительно, что, по выходе из корпуса, многие тотчас же бросали службу, как только познакомились с ее тяжелыми условиями, совершенно напрасно потратив время на приготовление себя в моряки, и все вообще выходили из корпуса очень мало подготовленные

к морскому делу. Молодые офицеры, обязанные, по своему положению, учить матросов, сами должны были учиться азбуке морского дела в плавании.

Тогда еще были моряки, воспитанные в школе Лазарева, Нахимова и Корнилова, и молодым офицерам была возможность действительно научиться морскому делу, особенно если они попадали в дальнее плавание к хорошему капитану или в эскадру адмирала, заботившегося о действительной морской выучке и о развитии тех качеств, без которых немислим дельный моряк: находчивости, хладнокровия в опасности и умения внушить к себе доверие подчиненных.

Таким морским учителем в то время был хорошо известный во флоте, теперь уже маститый адмирал, а тогда еще молодой контр-адмирал Андрей Александрович Попов, бывший черноморец и севастопольский герой, командовавший несколько раз маленькими эскадрами кругосветного плавания, с которыми он ходил по океанам, показывая русский военный флаг в разных уголках земного шара.

Морская молодежь шестидесятых годов (да и капитаны того времени), конечно, хорошо помнят этого «разносителя», грозу офицеров, вспыльчивого до бешенства и в то же время необыкновенно доброго человека, любимого матросами, деятельного, энергичного и страстно преданного своему делу моряка, который, бывало, в океане переводил с судна на судно офицеров, или входил под парусами на рейд по ночам, сам стоя на баке. С шестидесятых годов это был едва ли не единственный выдающийся адмирал, который действительно образовывал моряков и создал школу. По крайней мере, по словам заслуживающих доверия почтенных моряков, лучшие командиры судов в настоящее время почти все — ученики А. А. Попова, плававшие с ним юными офицерами.

Здесь не место подробно говорить об этом крайне своеобразном и интересном типе, каким был А. А. Попов и о котором среди моряков и до сих пор ходит немало рассказов. Эта оригинальная личность, сделавшая для образования моряков более чем кто-либо из адмиралов, заслуживает более обстоятельного и

подробного описания. Замечу только, что молодые гардемарины и мичмана, плававшие с А. А. Поповым, обязаны не только тем, что стали хорошими моряками, но и тем, что, благодаря ему, многие пополнили крайне скудное образование, полученное в морском корпусе, изучили иностранные языки и вообще приучились к занятиям.

А. А. Попов, бывало, по вечерам требовал к себе всех гардемарин в адмиральскую каюту, читал им лучшие произведения русской литературы и после беседовал о прочитанном, а то даст что-нибудь переводить или вручит какую-нибудь иностранную книгу и попросит рассказать потом содержание волей-неволей приходилось заниматься. А когда судно приходило в порт, адмирал вместе с молодежью съезжал на берег и ходил, осматривая все достопримечательное, ходил по докам, по заводам, осматривал суда, укрепления, предпринимал экскурсии и требовал затем подробного письменного описания. Таким образом, благодаря адмиралу, молодые моряки действительно познакомились с посещенными городами, а не с одними только ре-

сторонами и увеселительными заведениями.

И бранили же тогда его, и как бранили! Но зато с какою сердечной благодарностью вспоминали потом те же моряки своего назойливого и подчас бешеного морского учителя, этого «неутомонного адмирала», так заботившегося о своих младших товарищах.

Пора, однако, возвратиться к прерванному рассказу.

После недельного отпуска перед плаванием, два казенные портовые парохода доставили всех нас, назначенных в кампанию, в первых числах июня, из Петербурга на большой Кронштадтский рейд и развезли по кораблям стоявшей на рейде практической эскадры под вице-адмиральским флагом на флагманском корабле.

Наше отделение старшего гардемаринского класса, в числе двадцати шести человек, было высажено на восьмидесятичетырехпущечный паровой корабль «Орел», поражавший, как и все суда, своим безукоризненно вытянутым такелажем, выправленными на диво реями и тою умопомрачительной чистотой, какою вообще отличаются военные суда.

Корпусный офицер, бывший при нас в качестве воспитателя, совсем безличный и ограниченный человек, показывавшийся ежедневно в нашем помещении только для проформы и все плавание проскучавший в качестве «пассажира» на корабле, поставил нас на шканцах во фронт и представил старшему офицеру, высокому капитан-лейтенанту, видимо оторванному от какого-то дела.

Наше прибытие не доставило, кажется, старшему офицеру большого удовольствия, и этот чем-то озабоченный моряк с маленькими, щурившимися глазами не особенно радушно принял своих новых подчиненных, прибавлявших ему, и без того по горло занятому, лишнюю заботу. Он однако был «рад познакомиться», объявил, что завтра распишет нас по вахтам, внушительно попросил нас «не загадить констапельской» (нашего помещения) и исчез, объявив, что сейчас выйдет капитан.

Через минуту из капитанской каюты вышел, направляясь к нам неторопливой, мерной походкой, низенький, сутуловатый и кряжистый пожилой человек с Георгием 3-й сте-

пени за храбрость на своей короткой шее, с красным загорелым лицом, обрамленным густыми подстриженными бакенбардами. Опущенная его голова совсем уходила в плечи.

Это был капитан 1 ранга Ф. С. Керн, известный своей храбростью сева­стопольский ге­рой, описанный Толстым в его сева­стопольских рассказах.

Он глядел исподлобья и на вид казался сердитым этот наш капитан, оказавшийся потом очень добрым и мягким человеком, несмотря на свою суровую внешность медведя. Говорил он, словно лаялся, отрывисто, лаконическими фразами. Короткое приветствие, обращенное к нам, закончило представление, и мы спустились в свое помещение — в «констапельскую», довольно обширную каюту в нижней жилой палубе, под кают-компанией.

На следующий день мы снялись с якоря.

XII

Наша «служба» на корабле была очень легкая. Расписанные по вахтам, мы исполняли при вахтенных офицерах роль посыльных к капитану и передатчиков приказаний, стояли у компаса, следя за правильностью курса,

ездили при шлюпках, но большую часть времени проводили в бездельничестве в своей констапельской. Состоявший при нас корпусный офицер был сам совсем невежественный человек, чтобы занять нас какими-нибудь полезными для будущего офицера занятиями, и таким образом, пребывание на корабле имело только ту хорошую сторону, что мы могли «присматриваться» к строгому порядку судовой жизни и к управлению кораблем. При съездах на берег мы вместе с офицерами посещали рестораны и, случалось, вместе с ними и кутили. А на нашем корабле офицеры были большие любители выпить. Особенно первый лейтенант Д* и начальник 2-й вахты, князь М., оба лихие парусные моряки, были такие завязтые пьяницы, что редко их можно было видеть трезвыми. И на вахту они выходили, зарядившись, что не мешало однако им быть исправными вахтенными начальниками. На берегу они гуляли вовсю, и ряд скандалов ознаменовал их пребывание во всех портах, начиная от Ревеля и кончая Балтийским портом. Возвращались оба эти приятеля с берега иногда в таком виде, что их должны бы-

ли под руки поднимать по трапу на палубу и вести в каюты, что, с точки зрения морской дисциплины, представляло явный соблазн. Капитан, суровый моряк черноморской школы, конечно, знал это и косо поглядывал на этих офицеров, но он был слишком добрый человек, чтобы, как выражаются на морском жаргоне, «протестовать их», т. е. списать с корабля и сообщить по начальству о причинах, и они, таким образом, проплавали все лето в непрерывно пьяном состоянии. Впрочем, репутация этих двух старых лейтенантов, типичных представителей кронштадтских забушенных головушек дореформенного времени, тех пьяниц-моряков, о которых слагались целые легенды и которые давали вообще всем морякам славу пьяниц, — репутация их и без того была слишком хорошо известна всем, и оба они, вскоре после плавания, были уволены в резерв, а затем и в отставку. В те времена «очищали» флот.

Приходилось нам, юнцам, «присматриваться» и к обращению с матросами и видеть вопиющую жестокость по отношению к людям. Сам капитан не прибегал к кулачной

расправе и, сколько помнится, ни разу не приказывал наказывать матросов линьками, а только ругался в минуты гнева или служебного возбуждения. Но старший офицер положительно был жесток, и притом жесток с какою-то холодной, бесстрастной выдержкой. Ни одного «аврала» или учения не проходило без того, чтобы не было окровавленных им лиц; нередко случалось слышать раздирающие стоны, раздающиеся с бака, где происходили экзекуции. Нам, гонцам, невольно приходилось быть свидетелями этих отвратительных сцен, потому что старший офицер, вероятно, для нашей «морской закалки», приказывал иногда кому-нибудь из нас присутствовать при наказании. Я никогда не забуду этой обнаженной человеческой спины, покрытой красными подтеками от линьков, этих коротких, отрывистых стонов и вскрикиваний, этих озверелых боцманов, наносящих размеренные удары, и этого улыбающегося лица старшего офицера, присутствовавшего при наказании.

Когда матрос, наказанный за самую пустую вину, получив пятьдесят ударов линь-

ков (линек — толстая веревка с узлом на конце), осторожно надевал рубаху на свою поси-невшую спину, старший офицер взглянул на меня и, удивленный, вероятно, моим взволнованным видом, проговорил с насмешкой:

— Что, молодой человек, взволновались? Вы не баба-с. Надо приучаться к службе!

По счастью, если бы и была охота «приучаться к службе», столь своеобразно ото-жествляемой с жестокостью, нашему поколе-нию приучаться не приходилось. Русский флот был накануне отмены телесных наказаний, и «жестокость» начинала выходить из моды.

Нечего и прибавлять, что у нас на корабле дрались почти все офицеры, дрались, конечно, боцмана и унтер-офицеры; а самая невозможная и отборная ругань, свидетельствующая о виртуозной изобретательности моряков по этой части, стоном стояла во время учений и авралов.

Вся эта отрицательная сторона морской службы тогдашнего времени на некоторых из нас, уже несколько охваченных просветительным веянием шестидесятых годов, дей-

ствовала удручающим образом. Двое товарищей решительно собирались, по окончании курса, выйти в отставку. Большинство, впрочем, «закаливало» свои нервы...

Само собою разумеется, что все мы восхищались капитаном, который в наших глазах являлся идеалом лихого и бесстрашного моряка. Нам, молодым морякам, и весело, и жутко было глядеть, как однажды «Орел» под всеми парусами влетел в узкие ворота револьской купеческой гавани, управляемый зорким глазом старого «парусника» капитана. И сам он, сдержанный, молчаливый, изредка отдающий резкие повелительные приказания, и вся его крепкая фигура морского волка — все это, разумеется, пленяло и вызывало на подражание, так что многие стали ходить сторбившись, как и капитан, и говорить так же отрывисто и резко.

Но особенные восторги возбудил он в нас после весьма критического случая, бывшего с нами в это плавание и, конечно, памятного всем, пережившим несколько ужасных минут, незабываемых во всю остальную жизнь. Пример хладнокровного бесстрашия и муже-

ства нашего капитана в эти минуты был одним из ценных морских уроков для будущих моряков.

Как теперь помню, мы шли под всеми парусами с ровным ветром, проходя мрачный и вечно туманный остров Гогланд, около которого, в 1857 году, так трагически, в две-три минуты, пошел ко дну во время поворота, на глазах всей эскадры, корабль «Лефорт» с восьмьюстами человеками экипажа и тремястами уволенных матросов с их женами и детьми, которых перевозили из Ревеля в Кронштадт. Предполагали тогда, что корабль погиб вследствие неправильной нагрузки, имея слишком высоко центр тяжести, или что, быть может, худо закрепленные орудия перекатились во время поворота на подветренную сторону на накренившийся борт. Как бы то ни было, но ни одна живая душа не могла ничего объяснить — ни один человек не спасся. Катастрофа случилась в пятом часу утра.

Память об этом трагическом событии еще была жива среди моряков, и, проходя Гогланд, мы все жадно слушали в констапель-

ской рассказ одного старика-матроса, бывшего сигнальщиком на одном из кораблей эскадры и видевшего гибель злосчастного «Лефорта».

Только что кончил рассказ свой старик-матрос, как все мы почувствовали, что вдруг наш «Орел» положило совсем набок, и услышали зычный голос боцмана, призывавшего всех наверх.

Охваченные паникой, мы бросилась наверх.

Наверху ревел набежавший шквал, и наш «Орел» с убранными парусами стремительно летел, поваленный шквалом, кренясь все более и более. На юте, где я должен был находиться по расписанию, стоял капитан, серьезный и молчаливый. Ют представлял собою совершенно наклонную плоскость... Корабль все больше и больше ложился набок. Невольно в голове пронеслась мысль о «Лефорте». Команда в каком-то боязливом смятении столпилась на палубе, многие крестились. Выбежавшие офицеры были бледны, как смерть. Раздалась команда старшего офицера — закрепить трепыхавшиеся паруса, но

матросы не двигались с места.

Корабль кренило больше и больше.

Капитан стоял по-прежнему бесстрашный и тихо отдал приказание старшему офицеру готовить топоры, чтобы рубить мачты. Старший офицер бросился вниз. Прошло еще несколько томительных секунд...

— Готово! — крикнул старший офицер, показываясь в люке.

— Есть! — спокойно отвечал капитан.

И ни черточки страха, ни одной дрогнувшей нотки в его голосе!

Шквал пронесся далее. «Орел» стал медленно, словно с усилием, подниматься, и наконец поднялся. Радостное чувство озарило все лица. И необыкновенно серьезное и напряженное лицо капитана прояснилось.

Снова поставили паруса, и капитан спустился к себе в каюту с таким, по-видимому, спокойным видом, точно ничего особенного не случилось. Только теперь, казалось мне, он как-то нервнее подергивал, по своему обыкновению, плечами. Мы, молодежь, впервые испытавшие страшные минуты в море, глядели на капитана с восторженным удивлением,

и долго еще в констапельской он был предметом нескончаемых разговоров.

Тогда рассказывали, что этот критический случай произошел от недостаточности балласта, бывшего на корабле, и обвиняли портовое начальство. Как бы то ни было, но по приходе в Ревель мы прибавили балласту.

Вспоминается мне еще один эпизод, рисующий этого почтенного моряка.

Это было на Кронштадтском рейде. Часу в пятом после обеда старший офицер послал одного из товарищей с четверкой (небольшая шлюпка с четырьмя гребцами) — отвезти больного матроса на берег и сдать в госпиталь. Ветер был противный, и шлюпка отправилась под веслами.

К вечеру ветер стал свежеть, разводя большое волнение. Шлюпка не возвращалась. Капитан то и дело выходил наверх и спрашивал: «не видать ли четверки?» Получая ответ, что не видать, он беспокойно двигал плечами, сердито крякал и, приказав сигнальщику не сводить глаз с рейда, нервно ходил по палубе, заложив руки за спину. Беспокойство его видимо росло с каждой минутой, с каж-

дым усиливающимся порывом ветра. Он сделал выговор старшему офицеру, что тот послал маленькую шлюпку на берег вместо того, чтобы послать катер.

— Теперь, видите-с... свежо... Им не выгрести... Они, разумеется, пойдут под парусами...

Старший офицер старался успокоить капитана предположением, что посланный со шлюпкой гардемарин Ф. не решится возвращаться при таком ветре на корабль и благо- разумно переночует у пристани.

— Вы думаете-с? А я так думаю-с, что Ф. именно и пойдет-с и, конечно, поставит паруса... Молодость отважна-с...

И капитан сам взял бинокль и стал глядеть в заволакивавшийся мглой горизонт.

Начинало темнеть. Ветер усиливался. Шлюпка не показывалась.

Капитан не сходил с юта. Он то хватался за бинокль, то беспокойно ходил взад и вперед, словно зверь в клетке, то снова останавливался и вглядывался в подернутое белыми зайчи- ками волнующееся море.

— Четверка наверное осталась на бере- гу, — снова заметил старший офицер, сам ви-

димо обеспокоенный.

— Не думаю-с! — резко ответил капитан.

И как бы в подтверждение его психологического понимания, сигнальщик весело крикнул:

— Четверка идет!

Капитан стремительно спустился с юта и бросился к трапу.

В полумраке, едва освещаемом слабым светом луны, совсем близко летела к кораблю, накренившись и ныряя в волнах, маленькая четверка под парусами.

— Видите-с! — радостно промолвил капитан, обращаясь к старшему офицеру.

И его, обыкновенно суровое лицо, освещенное светом фонарей, которые держали выбежавшие фалгребные, озарилось хорошей, светлой улыбкой.

Через минуты две-три шлюпка, наполовину залитая водой, пристала к борту. Гардемарин Ф., юноша лет шестнадцати, поднялся на палубу весь мокрый. Возбужденный, с покрасневшимся от волнения лицом, он доложил старшему офицеру, что больной матрос сдан в госпиталь, и вручил квитанцию.

— А зачем вы не остались на берегу? Разве вы не видели, что свежий ветер, а? — строго спросил капитан.

— Я полагал, что он не настолько свеж, чтобы не идти, — ответил Ф.

— То-то полагали-с... А он свеж... Надеюсь, рифы были взяты?.

— На ходу взял-с.

— Ну, ступайте-с, переоденьтесь... Ишь мокрый совсем... Да потом ко мне милости просим чай пить-с. А вы молодец-с! И я на вашем месте тоже пошел бы... да-с! — неожиданно прибавил капитан и крепко пожал руку молодому человеку.

И, уходя в каюту, приказал гребцам дать по чарке водки.

После двухмесячной кампании, во время которой мы побывали в Ревеле, Гельсингфорсе и Балтийском порте и хорошо познакомились там с кюмелем, шведским пуншем и финляндской «сексой», мы с эскадрой вернулись в Кронштадт, хотя и присмотревшиеся к морскому делу, но все-таки очень мало в нем понимавшие и даже ни разу за все время не бравшие в руки секстана. И так было на всех

кораблях. Корпусные офицеры, посылавшиеся с кадетами, и сами не умели обращаться с секстаном, так уж куда показывать другим. Да и вообще эти господа в большинстве были люди далеко несведущие, и посылка их с кадетами имела характер лишь полицейского надзора.

Через день или два по приходе в Кронштадт, за нами пришел из Петербурга пароход, и мы распростились с «Орлом», чтобы больше никогда его не видеть. И он, и другие деревянные корабли через два-три года мирно стояли в гавани и вскоре, когда на смену им явились броненосцы, были проданы на слом.

Не пришлось более видеть и той варварской дрессировки матросов с порками, какую мы видели на «Орле». Доброму «старому времени» со всеми его ужасами пели отходную. Во флоте, как и везде, повеяло новым духом. И флот «не пропал», как предвещали тогда многие старики-моряки, втайне недовольные реформами, вводимыми великим князем Константином Николаевичем, и в особенности — отменой телесных наказаний. Оказа-

лось, что могла существовать и дисциплина, могли быть и хорошие матросы и без варварств прежнего времени.

XIII

К 15-му августа мы все собрались в классы, и снова пошла обычная корпусная жизнь, для нас, впрочем, выпускных несколько более свободная.

В начале сентября начали готовиться к традиционному празднованию старшим курсом дня равноденствия. По обыкновению, сборы к этому празднованию держались в секрете от начальства, хотя начальство, разумеется, хорошо знало, что и в этом году, как и ранее, во все предыдущие года, этот традиционный обычай повторится и что помеха ему может только вызвать еще больший скандал. С каждого человека собирали по два, по три рубля для шитья костюмов в предстоящей процессии. Вопрос о костюмах вызывал горячие дебаты.

Но в нашем курсе явились и протестанты против этого обычая, находившие, что тратить деньги на такое шутовство нелепо. Таких протестантов набралось нас пять чело-

век. Мы выпустили «прокламацию», в которой убеждали остальных товарищей не устраивать шутовского маскарада и деньги, предназначенные для этой цели, употребить на выписку нескольких журналов и газет.

Несмотря на горячий тон и, казалось нам, неопровержимую убедительность «прокламации», она не имела никакого успеха и дала нам лишь одного нового приверженца. Огромное большинство крепко стояло за сохранение «обычая» и к предложению выписать журналы отнеслось без малейшего сочувствия. Всех нас, протестантов, не без ядовитой иронии называли «литераторами». Мы, в свою очередь, называли представителей большинства «шутами гороховыми».

Несколько вечеров подряд происходили совещания для выработки программы распределения ролей и для решения существенного вопроса: кого из начальствующих лиц следует на предстоящем празднестве предать анафеме и кому провозгласить многие лета. Совещания эти были очень оживлены, и вопрос об анафематствовании, надо признаться, не возбуждал больших разногласий. Решено бы-

ло предать проклятию почти все корпусное начальство, за весьма немногими исключениями. Но так как предание проклятию столь значительного числа педагогов и учителей, каждого в отдельности, заняло бы слишком много времени и могло вызвать нежелательное вмешательство начальства, то постановлено было: провозгласить анафему лишь более выдающимся лицам, а остальных проклясть в общем перечислении фамилий.

Накануне дня равноденствия все костюмы были доставлены в корпус и припрятаны в надежных местах распорядителями. Ночью происходила примерка костюмов и кое-какие поправки. Все это делалось в величайшем секрете.

Следующий день прошел как обыкновенно. Казалось, ничто не предвещало традиционного празднества, и корпусное начальство, боящееся этого дня, казалось не особенно возбужденным. Однако ротный командир несколько раз в этот день показывался в роте, видимо желая узнать настроение. Но «настроение» было, по-видимому, самое спокойное.

Наконец вернулись от ужина, и тотчас же

в роту стали собираться все однокурсники, бывшие унтер-офицерами в других ротах... Дежурный офицер благоразумно исчез, чтобы ничего не видеть и не знать, так как хорошо понимал, что всякая его попытка помешать манифестации вызвала бы крупный скандал. Такие скандалы, при бестактности начальства, бывали и оканчивались не особенно приятно для обеих сторон. Не показывались в этот вечер ни ротный командир, ни дежурный по корпусу, ни директор. Узнавши, что празднество будет, они сидели по своим квартирам и ждали, чтобы манифестация прошла только скорей и спокойнее, не осложнившись какими-нибудь серьезными беспорядками.

Тем временем участвовавшие в процессии — весь старший курс, за исключением шести протестантов, — торопливо одевались в спальней в свои костюмы, приклеивали бороды, красили лица и т. п.

В соседних залах роты уже нетерпеливо ждут процессии зрители: кадеты среднего и младшего гардемаринских классов и прибывавшие тайком воспитанники других рот. Дневальные, в ожидании хорошей подачи,

зорко сторожат за дверями, готовые предупредить, лишь только завидят начальство.

Все готово. Процессия в стройном порядке, при торжественном пении гимна равноденствию, двинулась из спальни.

Среди двигавшихся тихим шагом различных морских божеств мифологии, среди тритонов, nereид, русалок, наяд, — одетых или, вернее, полуодетых в более или менее подходящие костюмы подводного царства, блестевших фольгой и бусами, с венками на головах и с зажженными свечами, — среди разных морских чудовищ рыб и черепах, — высоко над головами остальных восседал на троне, несомый шестью полуголыми подводными придворными, Нептун с длинной седой бородой и в большой блестящей короне. Костюм его ограничивался поясом из зеленой изрезанной бумаги, заменявшей морскую траву. В одной руке у него был трезубец, а в другой — учебник астрономии Зеленого. Вид у Нептуна был торжественно-серьезный.

«Астрономия» была в золотом переплете. Эта в некотором роде «священная книга», с которой много поколений праздновали рав-

ноденствия, хранилась всегда в старшем выпуске.

В 1861 г. старшие гардемарины, под влиянием новых веяний, книгу эту сожгли, и с тех пор, кажется, в морском корпусе не празднуется более равноденствие.

Процессия обошла обе залы и направилась, сопровождаемая зрителями, в спальню среднего гардемаринского курса. Там она остановилась. Пение прекратилось.

Тогда, среди мертвой тишины, был прочитан из учебника астрономии параграф, определяющий равноденствие и начинающийся, если мне не изменяет память, словами: «Когда солнце годовым своим движением приходит в одну из точек В или С» и т. д.

По окончании чтения этого параграфа, Нептун спустился с трона. Выйдя вперед, на середину спальни, между раздвинутыми кроватями, он проговорил:

— Слушайте, братия!

И затем торжественно-мрачным голосом, стараясь брать своим басом низкие ноты, провозгласил:

— Директору морского корпуса, что в горо-

де Санкт-Петербурге на Васильевском острове, контр-адмиралу «Сережке» такому-то анафема!

— Анафема! — загремели в ответ десятки голосов, подхваченные и зрителями.

Нептун стукнул трезубцем об пол и продолжал:

— Инспектору классов того же корпуса, капитану 1-го ранга такому-то... анафема!

— Анафема! — снова повторили все.

— Дивен в подлостях своих. Он свинья! Он подлец!

И все пропели церковным напевом это прибавление к проклятию особенно нелюбимого инспектора.

— Батальонному командиру, капитану 1-го ранга, «Павлушке» такому-то, по прозвищу «Копчик», — анафема!

— Анафема!

Нептун по очереди продолжал провозглашать имена эконома, нескольких ротных командиров, дежурных офицеров и двух особенно нелюбимых преподавателей, и после каждого провозглашения раздавалось протяжное и мрачное: «анафема».

Остальные затем были перечислены вместе и преданы были проклятию en masse.[19]

После паузы Нептун провозгласил уже в мажорном тоне:

— Мудрому и славному нашему дежурному офицеру и преподавателю, преславнейшему и преблагороднейшему Илье Павловичу Алымову многая лета!

— Многая лета! — весело загремели голоса.

Провозглашение многолетия заняло, впрочем, весьма немного времени, так как удостоившихся этой чести лиц было мало — всего, сколько помнится, три или четыре человека.

Затем Нептун снова взобрался на трон, и процессия тем же порядком, с пением, возвратилась в спальню. Участвовавшие быстро переоделись, и после недолгих бесед все улеглись спать. Все было окончено.

Явился и дежурный офицер и мирно зашагал по своей дежурной комнате.

Оставить однако совсем без внимания бывшую манифестацию начальство морского корпуса считало ниже своего достоинства, и потому на другой день, после классов, нашу роту выстроили во фронт, объявив, что идет

директор корпуса. Семена ножками и стараясь казаться сердитым, к нам подошел, сопровождаемый батальонным командиром, инспектором и ротным, директор, довольно неказистый на вид старик, добродушный, незлобивый и очень простенький человек, которого вчера предавали анафеме, надо думать, более для соблюдения традиционного обычая, чем по заслугам. Никакого проклятия он не заслуживал, и все очень хорошо знали, что почтенный старик никого не обижал, никого не преследовал и управлял корпусом номинально, находясь под влиянием инспектора классов. Кроме того, ходили слухи, что он на время лишь назначен директором, и его, по правде говоря, не ставили ни в грош и совсем не боялись.

Выпучив свои глаза, директор поздоровался с нами и, краснея более от неумения говорить, чем от негодования, несколько секунд стоял в безмолвии, видимо затрудняясь, с чего начать, и беспомощно озираясь на почти-тельно стоявшего сзади «дипломата» — инспектора классов.

— Э... э... э... это как же?. — начал наконец

директор, сознавая, что надо же что-нибудь сказать. — Вчера... э... э... э... шум, беспорядок... Это срам-с... И я не потерплю, понимаете, не потерплю-с... Меня трудно рассердить, но если я рассержусь... выгоню из корпуса... Да-с... Выгоню... Выгоню-с!

Добряк клепал на себя безбожным образом. Он и теперь не сердился, а исполнял свою «роль», вероятно, подсказанную инспектором.

— И кто это выдумал вчера эти беспорядки-с?. Кто зачинщики-с?. Выходите вперед... Никто, разумеется, не выходил.

— Значит, все-с? Ну, я со всех и взыщу-с... Со всех... и строго взыщу-с... Непременно взыщу-с... э-э-э... Будете помнить-с...

Вероятно, дело ограничилось бы этим обещанием, и добряк ушел бы, убежденный, что напугал всех нас, как взгляд его случайно упал на маленького Г., который, слушая несвязную речь директора, лукаво улыбался своими смеющимися глазами.

Это уж было слишком!

— Э-э-э... вы еще смеяться... Директор говорит, а он смеется... Вы, значит, зачинщик и

есть... Под арест его! — вдруг крякнул визгливым тенорком почтенный старик, внезапно закипая при виде этого насмешливого взгляда. — На неделю... На хлеб... на воду! Он всегда во всем коновод... Я знаю... Я все знаю-с...

Директор, конечно, и не догадывался, что он сажал под арест «протестанта», не принимавшего участия во вчерашней прецессии и не бывшего никогда коноводом, и, еще раз пригрозив, что он строго взыщет, ушел, сопровождаемый свитой.

Г. со смехом собирался идти в «главную арестантскую» (главный карцер) и только просил, чтоб товарищи не забыли ему принести съестного. Товарищи предлагали идти к директору и сказать, что он не принимал никакого участия в праздновании равноденствия, но Г. не согласился. «Не все ли равно? Ведь он не за участие меня посадил, а за улыбку!» — говорил, продолжая смеяться, маленький Г. Он, впрочем, просидел всего два дня. После двух дней директор позвал его к себе и самым добродушным образом простил, проговорив на прощанье:

— А вы, молодой человек, вперед помните-

С... э-э-э... что, когда говорит начальник, надо слушать, а не смеяться... А то что будет-с, если все будут смеяться над начальниками?. Как вы думаете-с?

И так как Г. затруднялся отвечать, то добряк и поспешил объяснить ему:

— Будет-с всеобщий кавардак... Вот что будет-с!

— Дешево отделались, почтенный, — ядовито заметил инспектор классов, обращаясь на другой день к Г. в классе. — Начальство надо почитать, а не улыбаться, когда оно говорит. Вот тоже и этот почтенный, — указал инспектор классов на меня, — стишки пописывает про начальство и думает, что это очень либерально... Как бы за это серьезно не заплатить... Как вы полагаете, почтенный? — обратился ко мне инспектор классов, прочитавший переписанное товарищем стихотворение, в котором героем был он. — Ведь это вы занимаетесь стихоплетством? — презрительно добавил он.

— Занимаюсь по временам, — отвечал я.

— Я так и думал... Смотрите, почтенный, как бы, вместо выпуска из корпуса, не остатъ-

ся еще на год... Держите ухо востро... Начальство терпеливо и попечительно, но и оно иногда теряет терпение... и особенно не любит строптивых... Видно, журналов нынешних начитались... разные глупости нравятся?

Несмотря на предостережение инспектора, мне не пришлось «держатъ ухо востро». Через месяц совершенно неожиданно я оставил корпус. По просьбе отца я был назначен в трехлетнее кругосветное плавание и в начале октября, простившись с товарищами, уехал в Кронштадт, чтобы явиться на корвет.

Экзамен мне пришлось держать в Печелйском заливе, на эскадре, перед экзаменной комиссией моряков, а не перед сонмом корпусных педагогов.

Ужасный день

I

Весь черный, с блестящей золотой полоской вокруг, необыкновенно стройный, изящный и красивый со своими чуть-чуть наклоненными назад тремя высокими мачтами военный четырехпушечный клипер «Ястреб» в это хмурое, тоскливое и холодное утро пятнадцатого ноября 186* года одиноко стоял на двух якорях в пустынной Дуйской бухте неприветного острова Сахалина. Благодаря зыби клипер тихо и равномерно покачивался, то поклевывая острым носом и купая штаги в воде, то опускаясь подзором своей круглой кормы.

«Ястреб», находившийся уже второй год в кругосветном плавании, после посещения наших, почти безлюдных в то время портов Приморской области зашел на Сахалин, чтобы заpastись даровым углем, добытым ссыльно-каторжными, недавно переведенными в Дуйский пост из острогов Сибири, и идти затем в Нагасаки, а оттуда — в Сан-Франциско, на соединение с эскадрой Тихого океана.

В этот памятный день погода стояла сырая, с каким-то пронизывающим холодом, заставившим вахтенных матросов ежиться в своих коротких буршлатах и дождевиках, а подвахтенных — чаще подбегать к камбузу погреться. Шел мелкий, частый дождик, и серая мгла заволакивала берег. Оттуда доносился только однообразный характерный гул бурунов, перекатывающихся через отмели и гряды подводных камней в глубине бухты. Ветер, не особенно свежий, дул прямо с моря, и на совершенно открытом рейде ходила порядочная зыбь, мешавшая, к общему неудовольствию, быстрой выгрузке угля из двух больших, неуклюжих допотопных лодок, которые трепались и подпрыгивали, привязанные у борта клипера, пугая «крупу», как называли матросы линейных солдатиков, приехавших с берега на лодках.

С обычной на военных судах торжественностью, на «Ястребе» только что подняли флаг и гюйс, и с восьми часов на клипере начался судовый день. Все офицеры, выходявшие к подъему флага наверх, спустились в кают-компанию пить чай. На мостике только

оставались, закутанные в дождевики, капитан, старший офицер и вахтенный начальник, вступивший на вахту.

— Позвольте отпустить вторую вахту в баню? — спросил старший офицер, подходя к капитану. — Первая вахта вчера ездил... Второй будет обидно... Я уж обещал... Матросам баня — праздник.

— Что ж, отпустите. Только пусть скорее возвращаются назад. После нагрузки мы снимем с якоря. Надеюсь, сегодня кончим?

— К четырем часам надо кончить.

— В четыре часа я, во всяком случае, уйду, — спокойно и в то же время уверенно и властно проговорил капитан. — И то мы промешкались в этой дыре! — прибавил он недовольным тоном, указывая своей белой, выхоленной маленькой рукой по направлению к берегу.

Он откинул капишон дождевика с головы, открыв молодое и красивое лицо, полное энергии и выражения спокойной уверенности стойкого и отважного человека, и, слегка прищурив свои серые, лучистые и мягкие глаза, с напряженным вниманием всматривался

вперед, в туманную даль открытого моря, где белели седые гребни волн. Ветер трепал его светло-русые бакенбарды, и дождь хлестал прямо в лицо. Несколько секунд не спускал он глаз с моря, точно стараясь угадать: не собирается ли оно разбушеваться, и, казалось, успокоенный, поднял глаза на нависшие тучи и потом прислушался к гулу бурунов, шумевших за кормой.

— За якорным канатом хорошенько следите. Здесь подлый грунт, каменистый, — сказал он вахтенному начальнику.

— Есть! — коротко и весело отрезал молодой лейтенант Чирков, прикладывая руку к полям зюйдвестки и, видимо, щеголяя и служебной аффектацией хорошего подчиненного, и своим красивым баритоном, и своим внешним видом заправского моряка.

— Сколько вытравлено цепи?

— Десять сажен каждого якоря.

Капитан двинулся было с мостика, но остановился и еще раз повторил, обращаясь к плотной и приземистой фигуре старшего офицера:

— Так уж пожалуйста, Николай Николаич,

чтобы баркас вернулся как можно скорей... Барометр пока хорошо стоит, но, того и гляди, может засвежить. Ветер прямо в лоб, баркасу и не выгрести.

— К одиннадцати часам баркас вернется, Алексей Петрович.

— Кто поедет с командой?

— Мичман Нырков.

— Скажите ему, чтоб немедленно возвращался на клипер, если начнет свежить.

С этими словами капитан сошел с мостика и спустился в свою большую, комфортабельную капитанскую каюту. Проворный вестовой принял у входа дождевик, и капитан присел у круглого стола, на котором уж был подан кофе и стояли свежие булки и масло.

Старший офицер, ближайший помощник капитана, так сказать «хозяйский глаз» судна и верховный жрец культа порядка и чистоты, по обыкновению поднявшись вместе с матросами, с пяти часов утра носился по клиперу во время обычной его утренней уборки и торопился теперь выпить поскорее стакан-другой горячего чаю, чтобы затем снова выбежать наверх и поторапливать выгрузкой уг-

ля. Отдавши вахтенному офицеру приказание собрать вторую вахту на берег, приготовить баркас и дать ему знать, когда люди будут готовы, он торопливо сбежал с мостика и спустился в кают-компанию.

Тем временем к мостику подбежал вызванный боцман Никитин, или Егор Митрич, как почтительно звали его матросы. Приложив растопыренные засмоленные пальцы своей здоровенной мозолистой и шершавой руки к сбитой на затылок намокшей шапке, он внимательно выслушивал приказание вахтенного офицера.

Это был коренастый и крепкий, небольшого роста, сутуловатый пожилой человек самого свирепого вида: с заросшим волосами некрасивым рябым лицом, с коротко подстриженными щетинистыми, колючими усами и с выкаченными, как у рака, глазами, над которыми торчали черные взъерошенные ключья. Перешибленный еще давно марса-фалом нос напоминал темно-красную сливу. В правом ухе у боцмана блестела медная сережка.

Несмотря, однако, на такую свирепую на-

ружность и на самое отчаянное сквернословие, которым боцман приправлял и свои обращения к матросам, и свои монологи под пьяную руку на берегу, Егор Митрич был простодушнейшим и кротким существом с золотым сердцем и притом лихим, знающим свое дело до тонкости боцманом. Он никогда не обижал матросов — ни он, ни матросы не считали, конечно, обидой его ругательных импровизаций. Сам прежде выученный битьем, он, однако, не дрался и всегда был предстателем и защитником матросов. Нечего и прибавлять, что простой и незаносчивый Егор Митрич пользовался среди команды уважением и любовью.

«Правильный человек Егор Митрич», — говорили про него матросы.

Выслушав приказание вахтенного лейтенанта, боцман вприпрыжку понесся на бак и, вынув из кармана штанов висевшую на длинной медной цепочке такую же дудку, засвистал в нее соловьем. Свист был энергичный и веселый и словно бы предупреждал о радостном известии. Отсвистав и проделав трели с мастерством заправского боцмана, свистав-

шего в дудку половину своей долгой морской службы, он нагнулся над люком в жилую палубу и, расставив фертон свои цепкие, слегка кривые, короткие ноги, весело зыкнул во всю силу своего могучего голоса, несколько осипшего и от береговых попоек, и от ругани:

— Вторая вахта в баню! Баркасные на баркас!

Вслед за громовым окриком боцман бежал по трапу вниз и обходил жилую палубу и кубрик, повторяя команду и рассыпая направо и налево подбадрывающие энергические словечки самым веселым и добродушным тоном:

— Живо, сучьи дети!.. Поворачивайтесь по-матросски, черти!.. Не копайся, идолы! Небось долго париться не дадут... К одиннадцати чтобы беспременно на клипер... В один секунд собирайся, ребята!

Заметив молодого матросика, который и после свистка не трогался с места, Егор Митрич крикнул, стараясь придать своему голосу сердитый тон:

— А ты, Конопаткин, что расселся, ровно собачья мамзель, а? Ай в баню не хочешь, песья твоя душа?

— Иду, Егор Митрич, — проговорил, улыбаясь, матросик.

— То-то иду. Собирай свои потроха... Да не ползи, как вошь по мокрому месту! — рассыпал Егор Митрич перлы своего остроумия при общем одобрительном смехе.

— А скоро уходим отсюда, Егор Митрич? — остановил боцмана писарь.

— Надо быть, сегодня...

— Скорей бы уйти. Как есть подлое место. Никаких развлечений...

— Собачье место... Недаром здесь несчастные люди живут!.. Вали, вали, братцы! — продолжал покрикивать боцман, сдабривая свои окрики самыми неожиданными импровизациями.

Веселые и довольные, что придется попариться в бане, в которой не были уже полтора года, матросы и без понуканий своего любимца, Егора Митрича, торопливо доставали из своих парусинных мешков по смене чистого белья, запасались мылом и кусками наципанной пеньки, обмениваясь замечаниями насчет предстоящего удовольствия.

— По крайности матушку-Расею вспом-

ним, братцы. С самого Кронштадта не парились.

— То-то в загранице нет нигде бань, одни ванныи. Кажется, и башковатые люди в загранице живут, а поди ж ты! — не без чувства сожаления к иностранцам заметил пожилой баковый матрос.

— Так-таки и нигде? — спросил молодой чернявый матросик.

— Нигде. Без бань живут, чудные. Везде у них ванныи.

— Эти ванныи, чтоб им пусто было! — вставил один из матросов. — Я ходил в Бресте в эту самую ванную. Одна слава что мытье, а форменного мытья нету.

— А хороша здесь, братцы, баня?

— Хорошая, — отвечал матрос, бывший вчера на берегу. — Настоящая жаркая баня. Линейные солдатики строили; тоже, значит, российские люди. Им да вот этим самым несчастным, что роют уголь, только и утеха одна что баня...

— Да, вовсе здесь тяжкое житье...

— И командер ихней, сказывали, зверь.

— Одно слово — каторжное место... И ни

тебе кабака, ни тебе бабы!

— Одна завалящая варначка какая-то есть старая... Наши видели...

— Увидишь и ты, не бойсь! — проговорил, смеясь, подошедший Егор Митрич. — Не с лица воду пить! Живо, живо... Выползай, кто готов... Нечего-то лясы точить, чтоб вас!

Матросы выходили один за другим наверх с узелками под буршлатами и выстраивались на шканцах. Вышел старший офицер и, снова повторив мичману Ныркову приказание быть к одиннадцати часам на клипере, велел сажать людей на баркас, который уже покачивался у левого борта с поставленными мачтами.

Матросы весело спускались по веревочному трапу, прыгали в шлюпку и рассаживались по банкам. Старший офицер наблюдал за посадкой.

Минут через пять баркас, полный людьми, с поставленными парусами, отвалил от борта с мичманом Нырковым на руле, понесся стрелой с попутным ветром и скоро скрылся в туманной мгле, все еще окутывавшей берег.

В кают-компании все были в сборе за большим столом, покрытым белоснежной скатертью. Две горки свежих булок, изделия офицерского кока (повара), масло, лимоны, графинчик с коньяком и даже сливки красовались на столе, свидетельствуя о хозяйственных талантах и заправности содержателя кают-компании молодого доктора Платона Васильевича, выбранного на эту хлопотливую должность во второй раз. Только что истопленная железная печка позволяла всем сидеть без пальто. Пили чай и болтали, поругивая главным образом проклятый Сахалин, куда судьба занесла клипер. Ругали и открытый рейд с его зыбью, и собачью погоду, и местность, и холод, и медленную грузку угля. Всем, начиная со старшего офицера и кончая самым юным членом кают-компании, только что произведенным в мичмана, румяным и свежим, как яблочко, Арефьевым, эта стоянка в Дуэ была очень неприятна. Подобный берег не манил к себе моряков. Да и что могло манить?. Неприветен был этот несчастный поселок на оголенном юру бухты, с унылым лесом сзади без конца, с несколькими казармами

мрачного вида, в которых жили пятьдесят человек ссыльно-каторжных, выходивших с утра на добычу угля в устроенную вблизи шахту, да полурота солдат линейного сибирского батальона.

Когда старший офицер объявил в кают-компании, что сегодня «Ястреб» непременно уйдет в четыре часа, хотя бы и не весь уголь был принят, все по этому случаю выражали свою радость. Молодые офицеры вновь замечтали вслух о Сан-Франциско и о том, как они там «протрут денежки». Деньги, слава богу, были! В эти полтора месяца плавания с заходами в разные дыры нашего побережья на Дальнем Востоке при всем желании некуда было истратить денег, а впереди еще недели три-четыре до Сан-Франциско — смотришь, и можно спустить все трехмесячное содержание, а при случае и прихватить вперед... После адской скуки всех этих «собачьих дыр» морякам хотелось настоящего берега. Мечтали о хорошем порте со всеми его удовольствиями, только, разумеется, не вслух, и такие солидные люди, как старший офицер, Николай Николаевич, вообще редко съезжав-

ший на берег, а если и съезжавший, то на самое короткое время, чтоб «освежиться», как говорил он, и доктор, и старший артиллерист, и старший механик, и даже отец Спиридоний. Все они с видимым вниманием слушали, когда Сниткин, полный лейтенант с сочными, пухлыми губами и маленькими глазками, всегда веселый и добродушный, немножко враль и балагур, рассказывал о прелестях Сан-Франциско, в котором он был в первое свое кругосветное плавание, и с неумеренною восторженностью, свойственною, кажется, одним морякам, восхвалял красоту и прелесть американок.

— Уж разве так хороши? — спросил кто-то.

— Прелесть! — ответил Сниткин и в доказательство поцеловал даже свои толстые пальцы.

— Помните, Василий Васильич, вы и малаек нам нахваливали. Говорили, что очень недурны собой, — заметил один из мичманов.

— Ну и что же? Они в своем роде недурны, эти черномазые дамы, — со смехом отвечал лейтенант Сниткин, не особенно разборчивый, по-видимому, к цвету кожи прекрасного

пола. — Все, батюшка, зависит от точки зрения и обстоятельств, в которых находится злополучный моряк... Ха-ха-ха!

— При всяких обстоятельствах ваши хваленые малайки — мерзость!

— Ишь какой эстетик, скажите пожалуйста! И, однако, несмотря на всю свою эстетику, в Камчатке вы влюбились в заседательшу и все спрашивали ее, как маринуют бруснику и морошку... А ведь этой даме все сорок, и главное — она форменный сапог... Хуже всякой малайки...

— Ну, положим, — сконфуженно пролепетал мичман.

— Да уж как там ни полагайте, голубчик, а — сапог... Одна бородавка на носу чего стоит... И тем не менее вы ей романсы пели... Значит, такая точка зрения была...

— Вовсе не пел, — защищался юный мичман.

— А помните, господа, как все мы тогда из Камчатки с вареньем ушли? — воскликнул кто-то из мичманов.

Раздался общий взрыв веселого смеха. Снова вспомнили, как после трехдневной стоян-

ки «Ястреба» в Петропавловске, в Камчатке, — стоянки, взбудоражившей всех шесть дам местной интеллигенции и заставившей их на время примириться, забыв вражду, чтобы устроить бал для редких гостей, — каждый из молодых офицеров клипера вечером, в день ухода из Камчатки, вносил в кают-компанию по банке варенья и ставил ее на стол с скромно торжествующей улыбкой. И то-то было сперва изумления и потом смеха, когда выяснилось, что все эти восемь банок варенья, преимущественно морошки, были подарком одной и той же тридцатилетней дамы, считавшейся первой красавицей среди шести камчатских дам. А между тем каждый, получивший «на память» по банке варенья, считал себя единственным счастливецом, удостоившимся такого особенного внимания.

— Всех обморочила лукавая бабенка! — восклицал Сниткин. — «Вам, говорит, одному варенье на память!» И руки жала, и... ха-ха-ха... Ловко! По крайней мере, никому не обидно!

После нескольких стаканов чая и многих выкуренных папирос старшему офицеру, ви-

димом, не хотелось расставаться со своим почетным местом на мягком диване в теплой и уютной кают-компании, особенно в виду оживленных рассказов о Сан-Франциско, напомнимших Николаю Николаевичу, этому мученику своих тяжелых обязанностей старшего офицера, что и ему ничто человеческое не чуждо. Но, раб долга и педант, как и большая часть старших офицеров, любивший вдобавок напустить на себя вид человека, которому нет ни минуты покоя и который — полюбуйтесь! — за всем должен присмотреть и за все отвечать, он хоть и сделал кислую гримасу, вспомнив, какая наверху пакость, тем не менее решительно поднялся с дивана и крикнул вестовому:

— Пальто и дождевик!

— Куда вы, Николай Николаич? — спросил доктор.

— Странный вопрос, доктор, — отвечал как будто даже обиженно старший офицер. — Точно вы не знаете, что уголь грузят...

И старший офицер пошел наверх «присматривать» и мокнуть, хотя и без его присутствия выгрузка шла своим порядком. Но Ни-

колай Николаич все-таки торчал наверху и мок, словно бы в пику кому-то и в доказательство, сколь он претерпевает.

Это был сухощавый, среднего роста человек лет пятидесяти, с открытым, располагающим, еще свежим лицом, добросовестный и педантичный до щепетильности служака, давно уж примирившийся со своим, вечно подневольным, положением штурмана и скромной карьерой и не злобствовавший, по обычаю штурманов, на флотских. Поседевший на море, на котором провел большую часть своей одинокой, холостой жизни, он приобрел на нем вместе с богатым опытом, закалкой характера и ревматизмом еще и то несколько суеверное, почтительно-осторожное отношение к хорошо знакомому ему морю, которое делало Лаврентия Ивановича весьма недоверчивым и подозрительным к коварной стихии, показывавшей ему во время долгих плаваний всякие виды.

Видимо, чем-то озабоченный, он то и дело выходил из кают-компания наверх, поднимался на мостик и долгим, недоверчивым взглядом своих маленьких, зорких, как у кор-

шуна, глаз глядел на море и озирался вокруг. Туманная мгла, закрывавшая берег, рассеялась, и можно было ясно видеть седые буруны, грохотающие в нескольких местах бухты, в значительном отдалении от клипера. Поглядывал старый штурман и на надувшийся вымпел, не изменявший своего направления, указывающего, что ветер прямо, как говорят моряки, «в лоб», и на небо, на свинцовом фоне которого начинали прорезываться голубые кружки...

— Дождь-то, слава богу, перестает, Лаврентий Иваныч, — весело заметил вахтенный лейтенант Чирков.

— Да, перестает.

В мягком, приятном баске старого штурмана не слышно было довольной нотки. Напротив, то обстоятельство, что дождь перестает, казалось, не особенно нравилось Лаврентию Ивановичу. И словно бы не доверяя своим зорким глазам, он снял с поручней большой морской бинокль и снова впился в почерневшую даль. Несколько минут разглядывал он мрачные, нависшие над краем моря тучи и, положив на место бинокль, потянул носом,

точно собака, воздух и покачал раздумчиво головой.

— Что это вы, Лаврентий Иванович, все по-сматриваете?. Мы, кажется, не проходим опасных мест? — шутливо спросил Чирков, подходя к штурману.

— Не нравится мне горизонт-с! — отрезал старый штурман.

— А что?

— Как бы в скорости не засвежело.

— Эка беда, если и засвежеет! — хвастливо проговорил молодой человек.

— Очень даже беда-с!! — внушительно и серьезно заметил старший штурман. — Этот свирепый норд-вест коли заревет вовсю, то надолго, и уж тогда не выпустит нас отсюда... А я предпочел бы штормовать в открытом море, чем здесь, на этом подлеце-рейде. Да-с!

— Чего нам бояться? У нас — машина. Разведем пары, в помощь якорям, и шутя отстоимся! — самоуверенно воскликнул Чирков.

Лаврентий Иванович посмотрел на молодого человека с снисходительной улыбкой старого, бывалого человека, слушающего хвастливого ребенка.

— Вы думаете «шутя»? — протянул он, усмехнувшись. — Напрасно! Вы, батенька, не знаете, что это за подлый норд-вест, а я его знаю. Лет десять тому назад я стоял здесь на шкуне... Слава богу, вовремя убрались, а то бы...

Он не закончил фразы, боясь, как все суеверные люди, даже упоминать о возможности несчастья, и, помолчав, заметил:

— Положим, машина, а все бы лучше подобру-поздорову в море! Ну его к черту, уголь! В Нагасаки можем добрать. Эта хитрая каналья норд-вест сразу набрасывается, как бешеный. А уж как он расвирепееет до шторма, тогда уходить поздно.

— Уж вы всегда, Лаврентий Иваныч, везде страхи видите.

— В ваши годы и я их не видал... Все, мол, трын-трава... На все наплевать, ничего не боялся... Ну, а как побывал в переделках, составившись в море, так и вижу... Знаете ли поговорку: «Береженого и бог бережет».

— Что ж вы капитану не скажете?

— Что мне ему говорить? Он и сам должен знать, каково здесь отстаиваться в свежую

погоду! — не без раздражения ответил старый штурман.

Лаврентий Иванович, однако, скрыл, что еще вчера, как только задул норд-вест, он доложил капитану о «подлости» этого ветра и крайне осторожно выразил мнение, что лучше бы уходить отсюда. Но молодой, самолюбивый и ревнивый к власти капитан, которого еще тешили первые годы командирства и который не любил ничьих советов, пропустил, казалось, мимо ушей замечание старшего штурмана и ни слова ему не ответил.

«И без тебя, мол, знаю!» — говорило, по-видимому, самоуверенное и красивое лицо капитана.

Старый штурман вышел из капитанской каюты, несколько обиженный таким «обрывом», и за дверями каюты проворчал себе под нос:

— Молода, в Саксонии не была!

— А все-таки, Лаврентий Иваныч, вы бы доложили капитану! — проговорил лейтенант Чирков, несколько смущенный словами старого штурмана, хотя и старавшийся скрыть это смущение в равнодушном тоне го-

лоса.

— Что мне соваться с докладами? Он сам видит, какая здесь мерзость! — с сердцем ответил Лаврентий Иванович.

В эту минуту на мостик поднялся капитан и стал оглядывать горизонт, весь покрытый зловещими черными тучами. Они, казалось, все росли и росли, охватывая все большее пространство, и, разрываясь, с поразительной быстротой поднимались по небосклону. Дождь перестал. Кругом, у берегов, прояснялось.

— Баркас еще не отвалил? — спросил капитан вахтенного.

— Нет.

— Поднять позывные!

В спокойном обыкновенно голосе капитана едва слышна была тревожная нотка.

«Небось теперь тревожишься, а вчера и слушать меня не хотел!» — подумал старший штурман, искоса взглядывая на капитана, стоявшего на другой стороне мостика.

— То-то молодца, в Саксонии не была! — прошептал Лаврентий Иванович любимую свою присказку.

— Баркас отваливает! — крикнул сигнальщик, все время смотревший на берег в подзорную трубу.

Сильный шквалистый порыв ветра внезапно ворвался в бухту, пронесся по ней, срывая гребешки волн, и прогудел в снастях. «Ястреб», стоявший против ветра, шутя выдержал этот порыв и только слегка дрогнул на своих туго натянутых якорных канатах.

— Прикажете разводить пары, да чтобы поскорей! — сказал капитан.

Вахтенный офицер дернул ручку машинного телеграфа и крикнул в переговорную трубку. Из машины ответили: «Есть, разводим!»

— Отправьте угольные лодки на берег! Чтоб все было готово к съемке с якоря! — продолжал отдавать приказания капитан повелительным, отрывистым и слегка возбужденным голосом, сохраняя на лице своем обычное выражение спокойной уверенности.

Он заходил, заложив руки в карманы своего теплого пальто, по мостику, но поминутно останавливался: то вглядывался озабоченным взором в свинцовую даль рокотавшего

моря, то оборачивался назад и в бинокль следил за баркасом, который медленно подвигался вперед против встречной зыби и ветра.

— А ведь вы были правы, Лаврентий Иванович, и я жалею, что не послушал вас и не снялся сегодня с рассветом с якоря! — проговорил вдруг капитан громко и, казалось, нарочно громко, чтоб слышал и Чирков, и старший офицер, поспешивший вбежать на мостик, как только узнал о съемке с якоря.

Сознание в своей неправоте такого уверенного в себе и страшно самолюбивого человека, каким был этот образованный, блестящий и действительно лихой капитан, обнаруживавший не раз во время плавания и отвагу, и хладнокровие, и находчивость настоящего моряка, совсем смягчило сердце скромного Лаврентия Ивановича. И он вдруг смутился и, словно в чем-то оправдываясь и желая в то же время оправдать капитана, промолвил:

— Я, Алексей Петрович, потому позволил себе доложить, что сам испытал, каков здесь норд-вест... А в лоции ничего не говорится...

— А, кажется, собирается засвежеть не на шутку! — продолжал капитан, понижая го-

лос... — Взгляните! — прибавил он, взмахнув головой на далекие тучи.

— Штормом попахивает, Алексей Петрович... Уж мне и в ногу стреляет-с, — шутливо промолвил старый штурман.

— Ну, пока он разыграется, мы успеем выйти в море... Пусть себе там нас треплет...

Опять, словно предупреждающий вестник, пронесся порыв, и снова клипер, точно конь на привязи, дернулся на цепях...

Капитан велел спустить брам-стенъги.

— Да живее пары! — крикнул он в машину.

Брам-стенъги были быстро спущены лихой командой клипера, и старший офицер, командовавший авралом, довольно улыбался, как они «сторели». Скоро из трубы повалил дым. Баркас с людьми выгребал дружно и споро и приближался к клиперу. Все гребные судна были подняты.

Старый штурман все тревожнее и тревожнее посматривал на грозные тучи, облегавшие горизонт. В серьезном, несколько возбужденном лице капитана, в его походке, жестах, голосе заметно было нетерпение. Он то

и дело звонил в машину и спрашивал: «Как пары?» — видимо, торопясь уходить из этой усеянной подводными камнями бухты, вдобавок еще плохо описанной в лоции.

А ветер заметно свежел. Приходилось потравливать якорные цепи, натягивавшиеся при сильных порывах в струну. Клипер при этом подавался назад, по направлению к берегу. Зыбь усиливалась, играя «зайчиками», и «Ястреб» стремительней «клевал» носом.

— Ну, слава богу, через час уйдем из этой дыры! — радостно говорили мичмана в кают-компании.

— И чтоб в нее никогда не заглядывать больше!

К старшему штурману, спустившемуся в кают-компанию выкурить манилку и погреться, кто-то обратился с вопросом:

— Лаврентий Иваныч! Когда мы придем в Сан-Франциско, как вы думаете? Недельки через четыре увидим американок, а?

— Нечего-то загадывать вперед... Мы ведь в море, а не на берегу...

— Ну, однако, приблизительно, Лаврентий Иваныч?. Если все будет благополучно?.

— Да что вы пристали: когда да когда?.
Прежде отсюда надо убраться! — ворчливо промолвил штурман.

— А что, разве так свежо?

— Подите наверх — увидите!

— У нас, Лаврентий Иванович, машина сильная. Выползем.

Лаврентий Иванович, почти не сомневавшийся, что клипер до шторма уйти не успеет и что ему придется отстаиваться на рейде, ничего не ответил и быстрыми, нервными затяжками торопливо докуривал свою манилку, озабоченный и мрачный, полный самых невеселых дум о положении клипера, если штормяга будет, как он выражался, «форменный».

В эту минуту в кают-компанию влетел весь мокрый, с красным от холода лицом молодой мичман Нырков и возбужденно и весело воскликнул:

— Ну, господа, и анафема, я вам скажу, ветер... Так засвежел на половине дороги, что я думал: нам и не выгрести... Насилу добрались. И волна подлая... все мы вымокли... так и хлестало... И что за холод... Совсем замерз.

Эй, вестовые! Скорей горячего чаю и коньяку! — крикнул он и пошел в свою каюту переодеваться, счастливый, что благополучно добрался и что в точности выполнил приказание и вернулся к одиннадцати часам. Он, еще совсем молодой моряк, первый раз попавший в дальнее плавание, конечно, стыдился сказать в кают-компании, как ему было жутко на баркасе, захлестываемом волной, как страшно и за себя, и за матросов, и как он, сам трусивший, с небрежным ухарским видом подбадривал усталых, вспотевших гребцов «навалиться», обещая им по три чарки на человека.

«Ах, как приятно, что все это прошло!» — проносилось в голове у молодого мичмана, когда он быстро облачался в сухое белье, предвкушая удовольствие согреться горячим чаем с коньяком.

— Ну, теперь нам нечего ждать... Скорей бы пары, и айда к американочкам... Не правда ли, Лаврентий Иваныч? — проговорил со смехом веселый лейтенант Сниткин.

Но Лаврентий Иванович только пожал плечами, надел свою походную старенькую

фуражку и пошел наверх.



Опасения старого штурмана оправдались.

Только что подняли баркас в ростры и принайтовили (привязали) его, как после трех, последовательно налетевших жестоких шквалов заревел шторм, один из тех штормов, которые смущают даже и старых, опытных моряков.

Картина озверевшей стихии была действительно страшная.

По небу, с едва пробивающимися на свинцовом фоне голубыми кусочками, бешено и, казалось, низко неслись черные клочковатые облака и покрывали весь небосклон. Несмотря на утро, кругом стоял полусвет, точно в сумерки. Море, что называется, кипело. Громадные волны шумно и яростно нагоняли одна другую, сталкивались и рассыпались в своих верхушках алмазной пылью, которую подхватывал вихрь и нес дальше. Страшный рев бушующего моря сливался с ревом дьявольского ветра. Встречая в клипере препятствие, он то сердито выл, то проносился каким-то жалобным стоном в такелаже и мачтах, в люках

и дулах орудий, гнул стеньги, потрясал поднятые на боканцах шлюпки, срывал непринаитовленные предметы и сердито трепал бесчисленные снасти.

Словно обезумевший, освирепевший зверь, бросался он на маленький клипер, как будто грозя его уничтожить со всеми его обитателями. И «Ястреб», встретивший грудь врага, то и дело вздрагивал на своих вытравленных канатах, и, казалось, вот-вот сорвется с натянувшихся, гудевших цепей. Его дергало на них все больше и больше, и он, бедный, точно от боли, скрипел всеми своими членами и стремительно качался, уходя бугшпри-том в воду и отряхиваясь при подъеме, точно великан-птица, от воды.

Нахлобучив на лоб фуражку, чтоб ее не сорвало ветром, стоял капитан на мостике, цепко держась одной рукой за поручни. В другой у него был рупор. Ледяной ветер дул ему прямо в лицо, пронизывая его всего холодом, но капитан, не покидавший мостика уже около часа, казалось, не чувствовал ветра, весь сосредоточенный, страшно серьезный и, по-видимому, совершенно спокойный. Однако это

спокойствие, стоившее ему усилия, было лишь наружным спокойствием моряка, умеющего владеть собой в серьезные минуты. В душе у этого самолюбивого, отважного человека была мучительная тревога, и все его существо было в том нервном напряжении, которое при частых повторениях нередко преждевременно старит моряков и в нестарые еще годы делает их седыми. Он хорошо понимал опасность положения клипера и вверенных ему людей и, ввиду страшной нравственной ответственности, испытывал жгучие упреки совести. Его самонадеянная уверенность — виною всего... Зачем он не послушал вчера совета старого, много плававшего штурмана? Зачем он не ушел? И вот теперь...

— Пары! Когда же пары?! — крикнул он, дергая порывисто ручку машинного телеграфа.

Из машины ответили, что пары будут готовы через десять минут...

Десять минут в такой анафемский шторм, грозивший в каждое мгновение сорвать с якорей клипер, ведь это — целая вечность! Работая машиной, в помощь якорям, еще возмож-

но удержаться и отстаиваться...

И капитан, обыкновенно сдержанный и не бранившийся, хорошо зная, что пары не могли быть раньше подняты, тем не менее крикнул в машину через переговорную трубку резкое, грубое слово, заставившее бедного старшего механика, и без того надрывавшегося, побледнеть как полотно и судорожно сжать кулаки.

Теперь уже капитан не вглядывался, как раньше, вперед, в даль моря, на просторе которого ему бы так хотелось быть в настоящую минуту, штормуя с крепким и добрым своим «Ястребом» под штормовыми парусами, задраивши люки и носясь по волнам, как закупоренный бочонок, пока шторм не пройдет. Он часто оборачивался и тревожно посматривал по направлению к берегу — туда, где среди беснующегося моря выделялась широкой извивающейся белой лентой сплошная седая пена бурунов на длинной каменистой гряде, чуть-чуть влево от поселка. Эта гряда, беспокойшая капитана, несмотря на свою отдаленность, лежала как раз против моря, в глубине открытого для норд-веста рейда. По

двум другим его сторонам тянулись прямые обрывистые берега, вблизи которых там и сям тоже грохотали буруны. И только направо был маленький заливчик, омывающий устье небольшой лощины, свободный, по-видимому, от подводных камней.

— Готов ли запасный якорь? — спрашивал капитан старшего офицера, после того как тот доложил, что палубы и трюм им осмотрены и что все в исправности: орудия наглухо закреплены и все задраено.

— Готов.

— Цепи все вытравлены?

— Все. В струну вытягиваются, Алексей Петрович, — как бы, не дай бог, не лопнули и мы не потеряли бы якорей, — с сокрушением проговорил старший офицер.

И без того капитана мучило это обстоятельство, а тут еще старший офицер напоминает! И капитан, видимо сдерживая себя, нетерпеливо проговорил:

— Лопнут, тогда и будем об этом сокрушаться, Николай Николаич, а теперь рано еще! — и прибавил: — Помпы чтоб были в исправности!

— Есть! — ответил старший офицер и, несколько обиженный, считавший, что капитан недостаточно ценит его постоянную «капторжную» работу, сошел с мостика, чтобы осмотреть лично помпы, и почти не думая в своем заботливом служебном усердии, для чего они могут понадобиться.

Старший штурман, обыкновенно тревожившийся перед опасностью, теперь, когда опасность уже наступила, с каким-то фаталистическим спокойствием стоял у компаса, заложив руки в карманы своего куцега пальто на заячьем меху и удерживаясь на стремительно качающемся мостике своими врозь расставленными, привычными к качке «морскими» ногами. По-видимому, «форменный» штормяга с его возможными последствиями не очень пугал Лаврентья Ивановича, который не раз на своем веку бывал лицом к лицу со смертью.

«Что будет, то будет!» — говорила, казалось, и его поза, говорило и его решительно-покойное лицо, говорил и серьезно-вдумчивый, твердый взгляд его небольших серых глаз, посматривавших на буруны.

Лейтенант Чирков, несмотря на ухарски небрежный вид лихого моряка, который ничего не боится, видимо, трусил и, бледный, при каждом вздрагивании клипера тихонько крестился и взволнованным голосом кричал:

— На баке! За канатом смотреть!

Почти все офицеры вышли из теплой кают-компании наверх и с вытянутыми лицами посматривали вокруг на разыгравшуюся «анафему». О выходе в море нечего было и думать, а сколько времени будет реветь проклятый шторм, кто его знает?

— Ах, если бы меня с баркасом захватил этот шторм! Погибли бы мы все! — говорил, ища сочувствия, мичман Нырков и чувствовал себя бесконечно счастливым, что он не захватил его.

Прошло пять, необыкновенно долгих для капитана, минут. Сейчас пары будут готовы, и мучительное беспокойство пройдет. «Ястреб», несмотря на усиливающийся шторм, пока держался на якорях и не дрейфовал.

Но в ту же секунду, как капитан об этом подумал, клипер необыкновенно сильно вздрогнул, рванувшись назад, с бака донесся

какой-то резкий, отрывистый лязг, и в то же мгновение боцман Егор Митрич стремглав подбежал к шканцам и прокричал громовым голосом:

— Цепи лопнули!

Точно обрадовавшись, что избавился от цепей, «Ястреб» метнулся в сторону, по ветру, и его понесло назад.

Брошенный немедленно запасный якорь на минуту задержал клипер. Он помотался и снова почувствовал свободу. Словно срезанная ножом, лопнула и эта цепь.

— Полный ход вперед! Лево на борт! — громким, твердым голосом скомандовал внезапно побледневший капитан.

Слава богу! Машина застучала, и винт забурлил за кормой. Клипер был остановлен в его опасном беге и поставлен против ветра.

Серьезное лицо капитана прояснилось. Но ненадолго.

Несмотря на усиленную работу машины, клипер едва удерживался на месте против жестокого ветра. Шторм крепчал, и «Ястреб» стал заметно дрейфовать назад.

— Самый полный ход вперед!.

Еще чаще стала машина отбивать такты, но мог ли «Ястреб» устоять против этого адского урагана?

«Ах, если б шторм ослабел!»

Вдруг корма дрогнула, словно коснувшись какого-то препятствия. Винт перестал бурить воду, сломанный в тот момент, когда «Ястреб» прочертил кормой, вероятно, у камня.

Теперь, совсем беспомощный, без винта, без якорей, не слушая более руля, став лагом поперек волнения, клипер стремительно несся на длинную гряду камней, к седой пене бурунов, грохотающих в недалеком расстоянии.

Машина, теперь бесполезная, застопорила.

IV

Крик ужаса вырвался из сотни человеческих грудей и застыл на искажившихся лицах и в широко раскрытых глазах, устремленных с каким-то бессмысленным вниманием на белеющую вдали, точно вздутую, ленту. Все сразу поняли и почувствовали неминуемость гибели и то, что всего какой-нибудь десяток минут отделяет их от верной смерти. Не могло быть никакого сомнения в том, что на этой

длинной гряде камней, к которой шторм нес клипер с ужасающей быстротой, он разобьется вдребезги, и нет никакой надежды спастись среди водяных громад беснующегося моря. При этой мысли отчаяние и тоска охватывали души, отражаясь на судорожно подергивающихся, смертельно бледных лицах, на неподвижных зрачках и вырывающихся вздохах отчаяния.

Казалось, сама смерть уже глядела с бесстрастной жестокостью на эту горсть моряков из этих рокочущих, веющих ледяным холодом, высоких свинцовых волн, которые бешено скачут вокруг, треплют бедный клипер, бросая его с бока на бок, как щепку, и вкатываются своими верхушками на палубу, обдавая ледяными брызгами.

Матросы снимали фуражки, крестились и побелевшими устами шептали молитвы. По некоторым лицам текли слезы. На других, напротив, стояло выражение необыкновенно суровой серьезности. Один, совсем молодой матрос, Опарков, добродушный, веселый парень, попавший прямо от сохи в «дальнюю» и страшно боявшийся моря, вдруг громко ах-

нул, захохотал безумным смехом и, размахивая как-то наотмашь руками, подбежал к борту, вскочил на сетки и с тем же бессмысленным хохотом прыгнул в море и тотчас же исчез в волнах.

Еще другой, такой же молодой, обезумевший от отчаяния матрос хотел последовать примеру товарища и с диким воплем бросился было к борту, но боцман Егор Митрич схватил его за шиворот и угостил самой отборной руганью. Эта ругань привела матросика в сознание. Он виновато отошел от борта, широко крестясь и рыдая, как малый ребенок.

— Так-то лучше! — ласково проговорил Егор Митрич дрогнувшим голосом, чувствуя бесконечную жалость к этому матросику. — Бога вспомни, а не то, чтобы самому жизни решаться, глупая твоя башка, так твою так! А ты, матросик, не плачь, господь, может, еще и вызовет, — прибавил, утешая, старый боцман, сам не имевший никакой надежды на спасенье и готовый, казалось, безропотно покориться воле божией, посылавшей смерть.

Несколько старых матросов, соблюдая традиции, спустились на кубрик, спешно одели

чистые рубахи и, подойдя к большому образу Николая-чудотворца, что находился в жилой палубе, прикладывались к нему, молились и уходили наверх, чтоб гибнуть на людях.

Несмотря на весь ужас положения, среди команды не было той паники, которая охватывает обыкновенно людей в подобные минуты. Привычка к строгой морской дисциплине, присутствие на мостике капитана, старшего офицера, вахтенного начальника и старого штурмана, которые не покидали своих мест, точно клипер не стремился к гибели, сдерживали матросов. И они, словно испуганные бараны, жались друг к другу, сбившись в толпу у грот-мачты, и с трогательной покорностью отчаяния переводили взгляды с моря на капитана.

На шканцах и под мостиком стояли офицеры с бледными, искаженными ужасом лицами. Еще недавно веселый, смеющийся толстый лейтенант Сниткин вздрагивал всем своим рыхлым телом, точно в лихорадке, едва удерживаясь на ногах от охватившего его страха. Он торопливо крестился, как-то жалобно и растерянно глядел на других и, слов-

но стыдясь своего малодушия, пробовал улыбаться, но вместо улыбки выходила какая-то страдальческая гримаса. Доктор Платон Васильевич то и дело жмурился, точно у него вдруг заболели глаза, и затем с какой-то жадной внимательностью впивался глазами в море и снова жмурился. Бесконечно скорбное выражение светилось на его умном, симпатичном лице. В голове его проносилась мысль о горячо любимой им молодой жене и позднее раскаяние, что он ушел в плавание, вместо того чтоб выйти в отставку. И он, сам не замечая, громко повторял: «Зачем?. Зачем?. Зачем?» — и опять жмурил глаза. Нырок, только что радовавшийся, что избавился от опасности потонуть на баркасе, старался скрыть свой ужас и страх перед надвигающейся несомненной смертью. Стыд показаться перед бесстрашным, казалось ему, капитаном, офицерами и матросами заставлял этого доброго, славного молодого мичмана делать невероятные усилия, чтоб казаться спокойным, готовым умереть, «как следует доблестному моряку». А между тем он чувствовал, что сердце его замирает в жгучей тоске и хо-

лодные струйки пробегают по спине. «Стыдно, стыдно!» — думает он, с безнадежной, безмолвной мольбой поднимая свои бархатные темные глаза на небо, по которому несутся черные, мрачные тучи. Но в них он видит все ту же смерть, которая, казалось, витает над клипером. Совсем юный мичман Арефьев, почти мальчик, не хотел верить, что приходится умирать... За что же? Он так молод, так полон жизни... «Только что произвели в мичмана, и вдруг умирать? Нет, это невозможно!» — думает он, вспоминая в это мгновение и мать-старушку, и сестру Сою, и гимназиста брата Костю, и эту маленькую столовую с кукушкой на стене, в которой так уютно и славно и где все его так любят, и чувствуя, как произвольно текут по его лицу слезы. Он отворачивается, чтобы другие не видели этих слез, и напрасно старается удержать их. Старший артиллерист и старший механик, оба пожилые люди, выбежав наверх и увидав положение клипера, бросились в свои каюты и стали прятать в карманы деньги и ценные вещи. У обоих у них семьи в Кронштадте... Оба они отказывали себе во всем, редко съезжали

на берег, чтобы не тратиться и кое-что скопить в плаванье для близких. Наполнив карманы и как будто сделав самое главное дело, они вернулись наверх и только тогда, казалось, сознали, что не спасти им ни скопленных денег, ни ценных вещей и что семьи их осиротеют. И они с каким-то диким ужасом в глазах озирались вокруг, машинально в то же время ощупывая карманы. Отец Спиридоний, жирный, круглый и гладкий, словно кот, откормившийся после постной монашеской трапезы на обильном кают-компанейском столе, с развевающейся рясой и клобуком на голове, уцепившись за одну из стоек, поддерживающих мостик, громко и, казалось, бессмысленно произносил молитвы, вздрагивая челюстями и вытаращив в диком страхе свои большие круглые глаза.

И офицеры, сбившиеся в кучу на шканцах, и матросы, толпившиеся у грот-мачты, то и дело взглядывали на капитана.

И взгляды эти точно говорили:
«Спаси нас!»

V

— Паруса ставить! Марсовые к вантам!..

Живо! Каждая секунда дорога, молодцы! — прибавил он.

Этот уверенный голос пробудил во всех какую-то смутную надежду, хотя никто и не понимал пока, к чему ставятся паруса.

Только старый штурман, уже приготовившийся к смерти и по-прежнему спокойно стоявший у компаса, весь встрепенулся и с восторженным удивлением взглянул на капитана.

«Молодчага! Выручил!» — подумал он, любясь, как старый морской волк, находчивостью капитана и догадавшись, в чем дело.

И штурман снова оживился и стал смотреть в бинокль на этот самый заливчик, почти закрытый возвышенными берегами.

— Я выбрасываюсь на берег! — отрывисто, резко и радостно проговорил капитан, обращаясь к старшему офицеру и к старшему штурману. — Кажется, там чисто... Камней нет? — прибавил он, указывая заостреннейшей рукой, красной, как говядина, на заливчик, омывающий лоцзинку.

— Не должно быть! — отвечал старый штурман.

— А как глубина у берега?

— По карте двадцать фут.

— И отлично... В полветра мигом долетим...

— Как бы в эдакий шторм не сломало мачт! — вставил старший офицер.

— Есть о чем говорить теперь, — небрежно кинул капитан и, подняв голову, крикнул в рупор: — Живо, живо, молодцы!

Но «молодцы», стремительно качавшиеся на реях и цепко держась ногами на пертах, и без подбадривания, в надежде на спасение, торопились отвязывать марсея и вязать рифы, несмотря на адский ветер, грозивший каждое мгновение сорвать их с рей в море или на палубу. Одной рукой держась за рею и прижавшись к ней, другой, свободной рукой каждый марсовой делал свое адски трудное дело на страшной высоте, при ледяном вихре. Приходилось цепляться зубами за мякоть паруса и рвать до крови ногти.

Наконец минут через восемь, во время которых клипер приблизился к бурунам настолько близко, что можно было видеть простым глазом черневшие по временам высо-

кие камни, паруса были поставлены, и «Ястреб», с марселями в четыре рифа и под стакселем, снова, как послушный конь на доброй узде, бросился к ветру и, накренившись, почти чертя воду бортом, понесся теперь к берегу, оставив влево за собой страшную пенящуюся ленту бурунов.

Все перекрестились. Надежда на спасение засветилась на всех лицах, и боцман Егор Митрич уж ругался с прежним одушевлением за невытянутый шкот у стакселя и с заботливой тревогой посматривал наверх, на гнувшиеся мачты.

— Спасайте-ка свои хронометры, Лаврентий Иваныч, — сказал капитан, когда клипер был уже близко от берега, — удар будет сильный, когда мы врежемся.

Старый штурман пошел спасать хронометры и инструменты.

Клипер, словно чайка, летел с попутным штормом прямо на берег. Мертвое молчание царило на палубе.

— Держись, ребята, крепче! — весело крикнул капитан, сам вцепившись в поручни... — Марса-фалы отдай! Стаксель долой!

Паруса затрепыхались, и «Ястреб» со всего разбега выскочил носом в устье лощины, глубоко врезавшись всем своим корпусом в мягкий песчаный грунт.

Все, как один человек, невольно обнажили головы.

VI

— Спасибо, ребята, молодцами работали! — говорил капитан, обходя команду.

— Рады стараться, вашескородие! — радостно отвечали матросы.

— За вас вечно будем бога молить! — слышались голоса.

Капитан приказал выдать людям по две чарки водки и скорей варить им горячую пищу. Вслед за тем он вместе с старшим офицером спустился вниз осматривать повреждения клипера. Повреждений оказалось не особенно много, и воды в трюме почти не было. Только при ударе тронуло машину да своротило камбуз.

— А молодец «Ястреб», крепкое судно, Николай Николаич.

— Доброе судно! — любовно отвечал старший офицер.

— Сегодня пусть отдохнет команда, да и здесь стоять нам хорошо... шторм нас не беспокоит, — продолжал капитан, — а с завтрашнего утра станем помаленьку выгружать тяжести и провизию и еще вытянем подальше клипер, чтобы спокойнее зимовать и не бояться ледохода...

— Есть, — проговорил старший офицер.

— Провизии у нас ведь довольно до весны?

— На шесть месяцев...

— И, значит, отлично прозимуем в этой дыре, — заметил капитан, поднимаясь из машины.

Радостные, счастливые, иззябшие и страшно голодные, спустились офицеры в кают-компанию и торопили вестовых подать водки и чего-нибудь закусить да скорей затопить печку. Об обеде пока нечего было и думать. Все заготовленное с утра пропало в свороченном на сторону камбузе.

— Вот тебе и Сан-Франциско! — проговорил после нескольких минут взволнованного молчания лейтенант Сниткин, оправившийся от страха и несколько сконфуженный, что видели его отчаянное малодушие.

— Молите бога, что вас не едят теперь рыбы! — серьезно заметил Лаврентий Иванович и с видимым наслаждением опрокинул себе в рот объемистую рюмку рома и закусил честером. — Если бы не наш умница капитан, были бы мы в настоящую минуту на дне морском. Он нас вызволил... Гениальная находчивость... Лихой моряк!

И старый штурман «дернул» другую.

Все в один голос соглашались с Лаврентием Ивановичем, а мичман Нырков восторженно воскликнул:

— Я просто влюбился в него после сегодняшнего дня!.. И какое дьявольское присутствие духа...

В эту минуту двери отворились. Все смолкли. Вошел капитан вместе со старшим офицером.

— Ну, господа, — проговорил он, снимая фуражку, — вместо Сан-Франциско будем зимовать здесь, в этой трущобе... Что делать?! Не послушал я вчера нашего уважаемого Лаврентия Иваныча... Не ушел. А теперь раньше весны отсюда не уйдем... При первой возможности я дам знать начальнику эскадры, и он

пришлет за нами одно из судов. Оно отведет нас в док, мы починимся и снова будем плавать на «Ястребе»... Да что это вы, господа, на меня так странно смотрите? — вдруг прибавил капитан, заметив общие удивленные взгляды, устремленные на его голову.

— Вы поседели, Алексей Петрович, — тихо, с каким-то любовным почтением проговорил старый штурман.

Действительно, его белокурая красивая голова была почти седа.

— Поседел?!.. Ну, это еще небольшая беда, — промолвил капитан. — Могла быть беда несравненно большая... А что, господа, не позволите ли у вас закусить? — прибавил он. — Страшно есть хочется.

Все радостно усадили его на диван.

* * *

Весной за клипером пришел сам «беспокойный адмирал» на корвете «Резвый» и отдал в приказе благодарность капитану за его находчивость и мужество, «с какими он спас в критические минуты экипаж и вверенное ему судно». Через несколько дней «Ястреб» был приведен на буксире в Гонконг и, почи-

нившись в доке, через месяц, по-прежнему стройный, красивый и изящный, плыл к берегам Австралии.

Примечания

Такие монахи на судах бывали в прежние, отдаленные времена. Теперь, говорят, на суда дальнего плавания назначаются образованные монахи, из кончивших духовную академию. (Прим. автора.)

[^^^]

2

В матросы обыкновенно берут малорослых людей. (Прим. автора.)

[^^^]

Уменьшительное Варсонофия. (Прим. автора.)

[^^^]

4

браслет без застежки (франц.).

[^^^]

5

Дорога от Ниццы до Генуи (франц.)

[^^^]

6

браслет без застежки (франц.)

[^^^]

Панер — значит: якорь отделился от дна
(Прим. автора.)

[^^^]

8

Здесь: не по любви (франц.).

[^^^]

Войдите! (франц.).

[^^^]

10

Свидание, разговор наедине (франц.).

[^^^]

Здесь: лицо, пользующееся расположением
(лат.).

[^^^]

Об этой аудиенции Грейга у императора Николая рассказывали потом следующее:

Когда адъютант князя Меншикова явился, прямо с телеги, в кабинет государя и, смущенный и испуганный, пролепетал: «войска вашего величества бежали!!», то государь крикнул на него громовым голосом:

— Врешь, мерзавец!

И будто бы в гневе дернул его за сюртук. И только успокоившись, ободрил совсем перепуганного адъютанта и приказал продолжать доклад, проговоривши:

— Так Меншиков отступил... Рассказывай дальше. (Прим. автора.)

[^^^]

Всех классов было семь: подготовительный или «точка», три кадетских и три гардемаринских, младшие, средние и старшие. (Прим. автора.)

[^^^]

Тише, господа, тише (франц.).

[^^^]

Уважаемые господа! (франц.).

[^^^]

Вы понимаете! (франц.).

[^^^]

в неограниченном количестве (франц.).

[^^^]

простуда (буквально: лихорадка катаральная — лат.).

[^^^]

Здесь: все вместе (франц.).

[^^^]